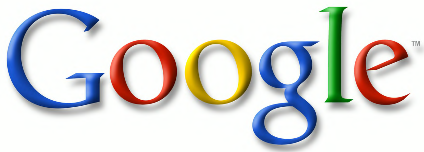


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

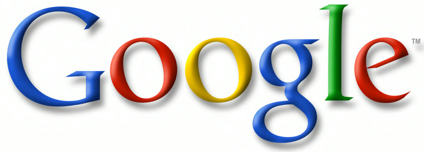
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

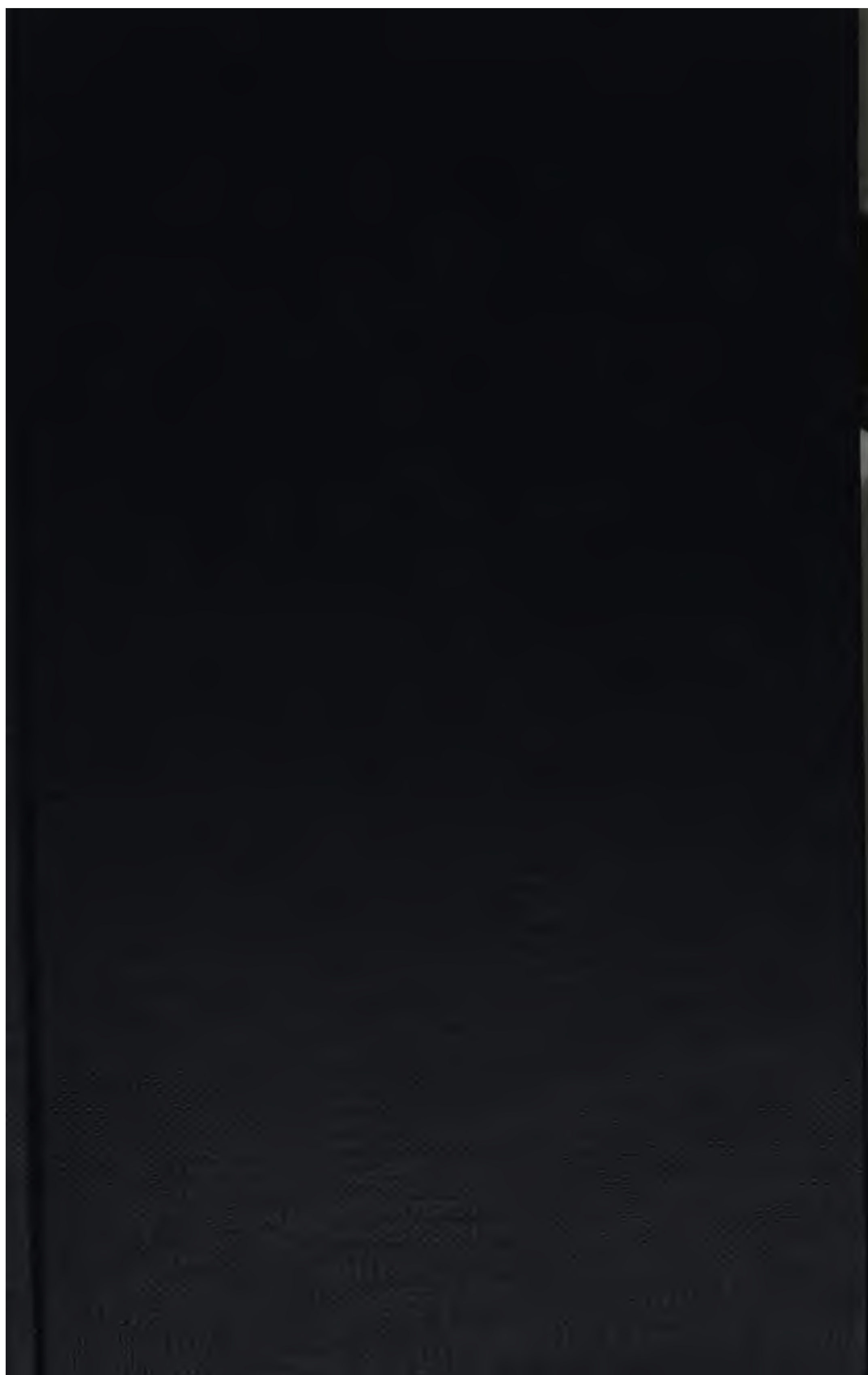
Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/




LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

This "O-P Book" is an Authorized Reprint of the
Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography
by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1967



Zelinskii, V. A.

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

„Униженные и Оскорбленные". — „Записки изъ Мертваго Дома". — „Преступленіе и Наказаніе".

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

JPK

МОСКВА.

Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.

1901.

PG3328
Z6Z4
1901a
v.2

безъ посторонней помощи можетъ провѣрить себя, насколько онъ грамотно или неграмотно пишетъ; 7) имѣя въ рукахъ это руководство, каждый отецъ, мать, репетиторъ, гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой орѳографіи, такъ и методики ея преподаванія,—съ успѣхомъ могутъ руководить и контролировать дѣтей въ занятіяхъ по орѳографіи; 8) почему-либо отставшіе въ школѣ отъ товарищей и вообще неуспѣвающіе въ орѳографіи ученики, съ помощью этого руководства, посредствомъ самодѣятельности, легко и скоро пріобрѣтаютъ орѳографическія знанія и прочный навыкъ правильно писать; 9) эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно готовящихся къ какимъ-либо экзаменамъ, а еще болѣе—для самоучекъ; 10) въ школахъ, гдѣ учителю приходится заниматься одновременно съ двумя—тремя группами, по этой книгѣ весьма удобно назначать той или другой группѣ самостоятельныя классныя занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія орѳографіи по этому руководству, провѣрка ученическихъ тетрадокъ идетъ во много разъ легче и скорѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ диктовки; 12) эта книга совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три способа обученія правописанію, а именно: списываніе съ книги, диктовку и писаніе заученнаго наизусть.

8. **Зрительный диктантъ.** Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 6-е. М. 1900 г. Ц. 40 к.

9. **Справочный словарь буквы Ѣ.** Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ Ѣ. Изд. 4-е. М. 1901 г. Ц. 25 к.

10. **Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора.** № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголъ. Цѣна каждой таблицы—2 к. (Распроданы).

11. **Хрестоматія для объяснительнаго чтенія.** Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію". М. 1892 г. Ц. 25 к.

12. **Объяснительный словарь** болѣе употребительныхъ въ русской литературѣ и рѣчи иностранныхъ словъ. Составленъ примѣнительно къ правописанію. М. 1901 г. Ц. 50 к. (Содержаніе этой книги то же, что и 4-го выпуска „Справочника по русскому правописанію").

13. **Краткій алфавитный справочникъ** по русскому правописанію. Опытъ группировки орѳографическихъ правилъ въ порядкѣ русскаго алфавита. М. 1901 г. Ц. 25 к.

II. Руководства по преподаванію русскаго языка.

(Методическая хрестоматія для обученія русскому языку):

14. а) **Обученіе грамотѣ по звуковому способу.** Сборникъ методическихъ разъясненій, указаній, пріемовъ и примѣрныхъ уроковъ по обученію грамотѣ, разраб. извѣстными педагогами. Изд. 2-е. М. 1898 г. Ц. 1 р.

15. б) **Методическія указанія и примѣрные уроки** по объяснительному чтенію, разработанные извѣстными русскими педагогами. Изд. 3-е. М. 1901 г. Цѣна 1 р.

16. в) **Методическія указанія и примѣрные уроки** по преподаванію русской элементарной грамматики. Сводъ методическихъ разъясненій и примѣрныхъ грамматическихъ уроковъ, разработанныхъ извѣстными русскими педагогами. Изд. 2-е. М. 1899 г. Ц. 1 р.

III. Пособія по исторіи русской литературы:

17. **Собраніе критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева.** Выпускъ I. Изд. 3-е. М. 1899 г. Ц. 2 р.—Выпускъ II. Изд. 3-е. Состоитъ изъ двухъ частей. М. 1899 г. Ц. 1-й части 2 р., а 2-й—1 р.

18. **Критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго.**

Сборникъ критическихъ статей. Три части и прибавленіе. Изд. 3-е. М. 1901 г. Ц. 3 р. 50 к.

19. Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Три части Ц. 3 р. (1-я часть вышла 2-мъ изданіемъ).

20. Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

21. Русская критическая литература о произведеніяхъ Л. Н. Толстого. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Семь частей. Цѣна 7 р. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

22. Русская критическая литература о произведеніяхъ Н. В. Гоголя. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Три части. Цѣна по 1 р. за часть. (1-я и 2-я части вышли 2-мъ изданіемъ).

23. Критическіе разборы романа Тургенева: „Отцы и Дѣти". Ц. 35 к.

24. Критическіе разборы романа Достоевскаго: „Братья Карамазовы". Цѣна 50 к.

25. Критическіе комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго. Хронологическій сборникъ критико-библіографическихъ статей. Пять частей. Цѣна по 1 р. за часть.

26. Критическіе разборы „Дворянскаго гнѣзда" и „Наканунѣ"— Тургенева. Перепечатано безъ измѣненій изъ „Собранія критическихъ матеріаловъ для изученія произведеній И. С. Тургенева". М. 1895 г. Ц. 70 к.

27. Сборникъ критическихъ статей о сочиненіяхъ М. Ю. Лермонтова. 2 части. (Каждая часть по 1 р.).

28. А. С. Пушкинъ въ разборѣ В. Г. Бѣлинскаго. Отдѣльный оттискъ изъ „Русской критической литературы о произведеніяхъ А. С. Пушкина". Ц. 2 р.

29. Н. В. Гоголь въ разборѣ **В. Г. Бѣлинскаго** (печатается).

IV. Серія разныхъ книжекъ:

30. Китайскія сказки. Переводъ съ французскаго, подъ редакціей В. Зелинскаго. Ц. 10 к.

31. Храмъ Христа Спасителя въ Москвѣ. Изд. 2-е. Ц. 10 к.

32. Bibliothèque d'enfants. Сборникъ историческихъ разсказовъ на французскомъ языкѣ, съ подстрочнымъ словаремъ, для внѣкласснаго упражненія дѣтей во французскомъ языкѣ. № 1 (Louis XVII, Prascovie, Jeanne D'Arc). Ц. 10 к.

33. Мурадъ-Неудачникъ. Переводъ съ англійскаго. Повѣсть изъ Восточной жизни для дѣтей старшаго возраста. Ц. 10 к.

34. Леди Бетти и ея друзья. Переводъ съ англійскаго. Разсказъ для дѣтей. Цѣна 10 к.

35. Генезисъ, анализъ и методъ естественнаго пѣнія. Сост. К. Михайловъ-Стоянъ. Цѣна 25 к.

Складъ изданій В. ЗЕЛИНСКАГО: Москва, Патріаршіе пруды, д. Мозжухина.

Выписывающіе изъ склада прилагаютъ на пересылку 15 к. на каждый рубль стоимости книгъ. За наложенный платежъ 10 к. Небольшія суммы можно высылать почтовыми марками въ заказныхъ письмахъ.

Черезъ *посредство склада изданій* **В. Зелинскаго можно выписывать всякія книг**

КРИТИЧЕСКІЙ КОММЕНТАРІЙ

К СОЧИНЕНІЯМ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

СБОРНИКЪ КРИТИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

„Униженные и Оскорбленные“. — „Записки изъ Мертваго Дома“. — „Преступленіе и Наказаніе“.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

МОСКВА.

Типографія И. А. Баландина, Волхонка, домъ Михалкова.

1901.

КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЯ И ИЗДАННЫЯ

Василіемъ Аполлоновичемъ Зелинскимъ,

БЫВШИМЪ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМЪ МЕТОДИКИ РУССКАГО ЯЗЫКА.

I. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ ороографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква Ѣ. Составленъ по „Руководству" Академіи Наукъ. Выпускъ I. Изд: 9-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Примѣчаніе. Эта книга, выдержавшая въ короткое время девять изданій, содержитъ въ себѣ всѣ случаи правописанія словъ. Она состоитъ изъ ороографическихъ правилъ, ороографическаго словаря и списка *всѣхъ* словъ съ буквою ѣ. Изложеніе ея алфавитное,—почему она полезна даже незнакомымъ съ грамматикой. Справляться по ней очень просто: при помощи приложеннаго „Указателя" открывается страница на буквѣ, которая служитъ предметомъ затрудненія въ какомъ-либо словѣ, и тутъ въ указанномъ § читается отвѣтъ. Легкость и быстрота справки упрощается еще тѣмъ, что справляться можно и подъ буквами, которыя слѣдуетъ писать въ данномъ случаѣ, и подъ буквами, которыя только предполагаются въ томъ же случаѣ, а равно и под буквой, начинающей данное слово. Какъ, напр., написать: извозчикъ, извосчикъ, извозщикъ, извосщикъ или извощикъ? Справляйтесь подъ любой изъ сомнительныхъ буквъ: з, с, ч, щ, а также и въ ороографическомъ словарѣ подъ буквой и—вездѣ получится отвѣтъ. По отзывамъ преподавателей русскаго языка, эта книга весьма полезна учащимся при исполненіи ими письменныхъ работъ не только дома, но и въ классѣ, такъ какъ при небольшомъ навыкѣ, пріобрѣтающемся менѣе чѣмъ въ час, справка по ней дѣлается весьма быстро.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 2-е. М. 1895 г. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 2-е. М. 1896 г. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописаніе, этимологическое происхожденіе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. М. 1898 г. Ц. 50 к. (Всѣ четыре выпуска въ одномъ красивомъ коленкоровомъ переплетѣ, съ разноцвѣтной окраской обрѣза, 2 р. 50 к., съ пересылкой 3 р.).

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 4-е. М. 1898 г. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ ороографическихъ упражненій (печатается).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія. Часть первая. Изд. 11-е. М. 1901 г. Ц. 50 к.

Задачи и цѣли „Зрительнаго диктанта". Удовлетворяя всѣмъ требованіямъ, какія обыкновенно предъявляются къ сборникамъ для систематическихъ диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, имѣетъ еще слѣдующія особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно-соединенную практику ороографіи съ ея теоріей; 2) кромѣ послѣдовательнаго изученія ороографіи, тутъ еще попутно указываются въ каждомъ словѣ диктанта сомнительные случаи правописанія съ соотвѣтственными разъясненіями; 3) особеннымъ способомъ печати развиваетъ ороографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правильнаго письма; 4) система руководства, будучи основана на новѣйшей методикѣ, предупреждаетъ ошибки, а не заставляетъ учениковъ прежде дѣлать ихъ, а потомъ *уже исправлять*; 5) даетъ значительную возможность изучать *правописаніе самодѣятельно*, безъ помощи учителя; 6) по этой книгѣ каждый

Оглавленіе второй части

„Критическаго комментарія къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго".

стр.

Указатель страницъ,

на которыхъ упоминаются имена и предметы, относящіеся къ литературѣ.

„УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ".

(1861 г.) *)

Добролюбовъ на страницахъ „Современника" въ своей замѣчательной статьѣ „Забитые Люди" встрѣтилъ романъ „Униженные и Оскорбленные" слѣдующимъ разборомъ:

**) „Романъ г. Достоевскаго очень недуренъ, до того недуренъ, что едва ли не его только и читали съ удовольствіемъ, чуть-ли о немъ только и говорили съ полною похвалою... Явился было ему соперникъ въ „Чужомъ Имени" г. Ахшарумова, но со второй же части, говорятъ, обнаружилась въ этомъ романѣ такая неблаговидная пошлость, во вкусѣ романовъ Полевого, что читатели бросили романъ недочитаннымъ. „Бѣдные Дворяне" г. Потѣхина тоже, говорятъ, остались далеко позади „Униженныхъ и Оскорбленныхъ". Словомъ сказать, романъ г. Достоевскаго до

---

*) Первоначально напечатанъ въ журналѣ „Время" 1861 г., кн. 1—7, и отдѣльно. С.-Пб. 1861 г.. Два тома.

Болѣе основательные и достойные вниманія критическіе разборы „Униженныхъ и Оскорбленныхъ", этого не совсѣмъ удавшагося въ художественномъ смыслѣ произведенія Достоевскаго, относятся ко времени появленія въ нашей литературѣ самого романа. Новѣйшіе критики Достоевскаго, какъ бы считая выраженный прежними критиками единогласный взглядъ на этотъ романъ выясненнымъ и установившимся, не находятъ, повидимому, нужнымъ подробно останавливаться на немъ; они въ своихъ разборахъ или обходятъ его или говорятъ о немъ вскользь, мимоходомъ, и притомъ большею частію повторяютъ старое, уже высказанное о немъ. Поэтому, считая главной основой разбора „Униженныхъ и Оскорбленныхъ" критики 1861 и 1862 гг., мы преимущественно на нихъ и останавливаемся, хотя и помѣщаемъ ихъ только три. Такимъ малымъ количествомъ критическихъ разборовъ того времени заставило насъ ограничиться то обстоятельство, что разсматриваемый романъ въ существенныхъ своихъ чертахъ почти одинаково разбирается не только въ критическихъ статьяхъ, не вошедшихъ въ настоящій сборникъ, но даже и въ этихъ трехъ, заимствованныхъ нами изъ выдающихся органовъ нашей печати начала шестидесятыхъ годовъ.

**) „Современникъ" 1861 г., № 9 и Сочиненія Добролюбова.

Примѣч. В. Зелинскаго.

сихъ поръ представляетъ лучшее литературное явленіе нынѣшняго года. А попробуйте примѣнить къ нему правила строго-художественной критики!

Большая часть нашихъ читателей, конечно, знаетъ содержаніе „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“. Поэтому постараюсь изложить главныя черты романа въ самыхъ короткихъ словахъ.

Разсказъ веденъ отъ лица Ивана Петровича, „не удавшагося литератора“. Герой романа—князь Валковскій. Иванъ Петровичъ воспитанъ у помѣщика Ихменева, который вмѣстѣ съ тѣмъ управляетъ и сосѣднимъ имѣніемъ князя Валковскаго. Валковскій очень довѣряетъ Ихменеву и даже посылаетъ къ нему подъ надзоръ въ деревню 19 лѣтняго сына своего Алешу, накутившаго что-то въ Петербургѣ. Но черезъ годъ князь пріѣхалъ въ имѣніе, поссорился съ Ихменевымъ,—по наговорамъ, будто тотъ интриговалъ, чтобы женить Алешу на своей 17 лѣтней дочери, Наташѣ,—отнялъ у него управленіе имѣньемъ, сдѣлалъ на него начетъ и завелъ процессъ. Для „хожденія по дѣлу“ Ихменевъ переѣхалъ въ Петербургъ. Вотъ завязка романа.

Въ Петербургѣ, конечно, Ихменевы встрѣтили Ивана Петровича; онъ страстно влюбился въ Наташу, она въ него, они объяснились между собою и съ родителями, получили радостное согласіе и совѣтъ—подождать годикъ, пока Иванъ Петровичъ заработаетъ себѣ что-нибудь побольше теперешняго. Но между тѣмъ Алеша тоже началъ бывать у Ихменевыхъ, тайкомъ отъ отца; старики его принимали ласково, потому что онъ и въ 21 годъ былъ милымъ и незлобнымъ ребенкомъ. Онъ влюбился въ Наташу, а Наташа въ него,—да такъ, что въ одинъ прекрасный вечеръ бѣжала къ нему изъ дома родительскаго. Иванъ Петровичъ все это зналъ, всему помогалъ, переносилъ вѣсти отъ дочери къ родителямъ, отъ родителей къ дочери и пр. Но вскорѣ дѣятельность его раздвоятся: онъ поселился въ квартирѣ одного старика, умершаго на его рукахъ; къ старику ходила внучка, дѣвочка лѣтъ 13, Нелли, явилась она и къ Ивану Петровичу, но, не нашедъ дѣдушки, тотчасъ убѣжала. Иванъ Петровичъ успѣлъ ее выслѣдить, и спасъ ее отъ развратной женщины, которая уже продала было ее какому-то кутилѣ, и поселилъ у себя. Съ этихъ поръ Иванъ Петровичъ мечется безпрестанно

отъ Нелли къ Наташѣ, и отъ Наташи къ Нелли. Между тѣмъ князь Валковскій, видя, что сынъ не отстаетъ отъ Наташи, выдумалъ остроумное средство: пріѣхалъ къ Наташѣ и при немъ же попросилъ ея согласія на замужество съ его сыномъ. Всѣ были очень рады такому обороту дѣла, но вѣтреный Алеша, въ которомъ только препятствія еще и поддерживали любовь, совсѣмъ теперь успокоился на счетъ Наташи, сталъ пропадать по нѣскольку дней, ѣздить по баламъ и уже безъ всякаго принужденія знакомиться и сходиться съ невѣстой, которую приготовилъ ему отецъ. Черезъ нѣсколько дней онъ, разумѣется, влюбился въ нее такъ же страстно, какъ и въ Наташу, а еще черезъ нѣсколько дней убѣдился, что онъ ее любитъ больше Наташи. Разсчетъ князя-отца оказался вѣренъ; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, какъ по писанному, все высказала князю. Князь обидѣлся и за то черезъ нѣсколько дней весьма цинически и съ приправою разныхъ оскорбленій высказалъ то же самое, то есть признался во всѣхъ своихъ расчетахъ, Ивану Петровичу. Между прочимъ, пріѣхавъ къ нему въ квартиру, князь увидалъ Нелли, и она была имъ страшно испугана и сдѣлалась больна. Иванъ Петровичъ опять въ хлопотахъ: тутъ больная, тамъ идетъ къ развязкѣ, отецъ Алеши хочетъ женить его, невѣста его Катя, хочетъ познакомиться съ Наташей, чтобы попросить у нея прощенія и согласія, отецъ Наташи горячится изъ-за дочери и—то ее проклинаетъ, то хочетъ вызывать князя на дуэль, мать рвется къ дочери, сама Наташа еле на ногахъ держится. Наконецъ, все устраивается: Алеша уѣзжаетъ въ деревню, вмѣстѣ съ Катей и ея семействомъ; Наташа рѣшается идти къ родителямъ. Чтобы смягчить отца и приготовить его къ прощенію, употребляютъ орудіемъ маленькую Нелли, заставляя ее разсказывать ему свою исторію, или, лучше сказать, исторію ея матери. Дѣло состоитъ въ томъ, что мать Нелли была обольщена однимъ господиномъ, бѣжала отъ отца, была имъ проклята, потомъ ограблена и брошена своимъ любовникомъ, и умерла въ сыромъ углу, отъ чахотки и голода, напрасно вымаливая прощенія у отца. Разсказъ, точно, производитъ сильное впечатлѣніе, такъ что Ихменевъ рѣшается идти къ Наташѣ. Но это оказывается рѣшительно ненужно: Наташа сама прибѣжала къ родителямъ и, разумѣется, встрѣчена

была съ распростертыми объятіями. Вслѣдъ затѣмъ, при посредствѣ пріятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли—дочь князя Валковскаго, что обольститель ея матери былъ именно онъ, и что—мало того—онъ былъ женатъ на матери Нелли законнымъ образомъ. Но уликъ законныхъ противъ князя не было, и нельзя было предпринять противъ него никакихъ мѣръ. Алеша, разумѣется, женился на Катѣ. Униженные и оскорбленные такъ и остались не отомщенными. Нелли скоро затѣмъ умерла; а Наташа съ родителями отправилась въ провинцію, гдѣ старикъ Ихменевъ выхлопоталъ себѣ какое-то мѣсто, проигравъ окончательно свой процессъ съ княземъ и лишившись своей послѣдней деревеньки, Ихменевки.

Въ романѣ очень много живыхъ, хорошо отдѣланныхъ частностей. Герой романа хоть и мѣтитъ въ мелодраму, но по мѣстамъ выходитъ недуренъ; характеръ маленькой Нелли обрисованъ положительно хорошо; очень живо и натурально очеркнутъ также и характеръ старика Ихменева. Все это дастъ право роману на вниманіе публики, при общей бѣдности хорошихъ повѣстей въ настоящее время. Но все это еще не возвышаетъ его на столько, чтобы примѣнять общія художественныя требованія ко всѣмъ его частностямъ и сдѣлать его предметомъ подробнаго эстетическаго разбора.

Возьмите, напримѣръ, хоть самый пріемъ автора: исторію любви и страданій Наташи съ Алешей разсказываетъ намъ человѣкъ, самъ страстно въ нее влюбленный и рѣшившійся пожертвовать собою для ея счастья. Я признаюсь,—всѣ эти господа, доводящіе свое душевное величіе до того, чтобы зазнамо цѣловаться съ любовникомъ своей невѣсты и быть у него на побѣгушкахъ, мнѣ вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только, и выдумать ихъ въ литературѣ могли только творцы, болѣе знакомые съ головною, нежели съ сердечною любовью. Если же эти романическіе самоотверженцы точно любили, то какія же у нихъ должны быть тряпичныя сердца, какія курачьи чувства! А этихъ людей показывали еще намъ, какъ идеалъ чего-то! Первый, сколько помнится, устроилъ подобную комбинацію любовнаго самоотверженія г. Тургеневъ и недавно повторилъ ее въ „Наканунѣ“, имѣя впрочемъ на этотъ разъ осторожность дать понять читателю, что Берсеневъ еще самъ

не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ къ Еленѣ, когда понадобилось его содѣйствіе Инсарову. Г. Достоевскій тоже не въ первый разъ беретъ такого героя: его ужъ мы видѣли въ мечтателѣ „Бѣлыхъ Ночей". Но то была шутка въ сравненіи съ нынѣшнимъ его романомъ. Теперь мы видимъ умнаго и развитого человѣка, который тоже попалъ въ такую комбинацію и собирается намъ разсказать объ этомъ. Какъ бы мы ни смотрѣли на нравственное достоинство его подвига, но намъ любопытно слѣдить за нимъ въ его разсказѣ. Изъ всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ въ романѣ—онъ униженъ и оскорбленъ едва ли не болѣе всѣхъ; представить, какъ въ его душѣ отражались эти оскорбленія, что онъ выстрадалъ, смотря на погибающую любовь свою, съ какими мыслями и чувствами принимался онъ помогать мальчишкѣ-обольстителю своей невѣсты, какія безконечныя варіаціи любви, ревности, гордости, состраданія, отвращенія, ненависти разыгрывались въ его сердцѣ, что чувствовалъ онъ, когда видѣлъ приближеніе разрыва между своей невѣстой и ея любовникомъ,—представить все это въ живомъ, подлинномъ разсказѣ самого оскорбленнаго человѣка,—это задача смѣлая, требующая огромнаго таланта для ея удовлетворительнаго исполненія. Одной неудачной попыткой на разъясненіе одной частицы такой задачи Эрнестъ Федо сразу пріобрѣлъ себѣ европейскую извѣстность и массу поклонниковъ. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое рѣшеніе *всей* задачи! Кромѣ того, что у насъ было художественное цѣлое, намъ разъяснился бы цѣлый разрядъ характеровъ, цѣлый рядъ нравственныхъ явленій; мы знали бы, какъ намъ судить объ этихъ кроткосердыхъ герояхъ и какую цѣну приписывать ихъ гуманному обезличенію себя, такъ какъ мы знаемъ теперь, напримѣръ, послѣ комедій Островскаго, какъ намъ смотрѣть на патріархальную размашистость русской натуры.

Г. Достоевскій извѣстенъ любовью къ рисованію психологическихъ тонкостей. Мнѣніе о его, кажется, „Двойникѣ", что это „собственно не повѣсть, а психологическое развитіе", подало даже поводъ къ одному очень извѣстному анекдоту. Потому можно было надѣяться, что г. Достоевскій именно попадетъ на ту идею, о которой я говорилъ. Тогда бы, разумѣется, могъ быть толкъ и о художественности исполненія.

Но на самомъ дѣлѣ вы въ романѣ не только слабаго изображенія внутренняго состоянія Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малѣйшаго намека на то, чтобы авторъ объ этомъ заботился. Напротивъ, онъ избѣгаетъ всего, гдѣ бы могла раскрыться душа человѣка любящаго, ревнующаго, страдающаго. Пять мѣсяцевъ, въ которые Алеша успѣлъ прельстить Наташу и увлекъ ее за собою,—не удостоены и пяти строчекъ. Первые полгода жизни Алеши съ Наташею пропущены почти безъ всякихъ объясненій. Дѣйствіе романа продолжается какой-нибудь мѣсяцъ, и тутъ Иванъ Петровичъ безпрерывно на побѣгушкахъ, такъ что ему, наконецъ, раза два дѣлается дурно, и онъ чуть не схватываетъ горячку. Но вотъ и все: что именно у него на душѣ, мы этого не знаемъ, хотя и видимъ, что ему нехорошо. Словомъ, передъ нами не страстно-влюбленный, до самопожертвованія любящій человѣкъ, разсказывающій о заблужденіяхъ и страданіяхъ своей милой, объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ его сердцу, о поруганіи его святыни; передъ нами просто авторъ неловко взявшій извѣстную форму разсказа, не подумавъ о томъ, какія она на него налагаетъ обязанности. Оттого тонъ разсказа рѣшительно фальшивый, сочиненный, и самъ разсказчикъ, который по сущности дѣла долженъ бы быть дѣйствующимъ лицомъ, является намъ чѣмъ-то въ родѣ наперсника старинныхъ трагедій. Къ нему приходитъ отецъ Наташи—сообщить о своихъ намѣреніяхъ, за нимъ присылаетъ ея мать—разспросить о Наташѣ, его зоветъ къ себѣ Наташа, чтобы излить передъ нимъ свое сердце, къ нему обращается Алеша—высказать свою любовь, вѣтреность и раскаяніе, съ нимъ знакомится Катя, невѣста Алеши, чтобы поговорить съ нимъ о любви Алеши къ Наташѣ, ему попадается Нелли, чтобы выказать свой характеръ, и Маслобоевъ, чтобы разузнать и разсказать объ отношеніяхъ Нелли къ князю, наконецъ, самъ князь везетъ его къ Борелю и даже напивается тамъ, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иванъ Петровичъ все слушаетъ и все записываетъ. Вотъ и все его участіе въ романѣ.

Если уже таково отношеніе къ дѣлу даже того самаго лица, которое берется разсказывать намъ о своемъ кровномъ дѣлѣ, то нельзя ожидать, чтобъ авторъ сумѣлъ очень глубоко ввести насъ въ сердечную жизнь другихъ дѣйствующихъ лицъ.

И точно—романъ представляетъ намъ калейдоскопъ происшествій, которыхъ случайными свидѣтелями можемъ мы сдѣлаться на улицѣ, въ гостиной или на иномъ чердакѣ, и при этомъ представленіи стоитъ нѣкто, изъясняющій, что означаютъ и почему выходятъ такія то и такія то вещи. Завязка романа, напримѣръ, основывается на любви Наташи къ Алешѣ. Наташа представлена дѣвушкою умною, серьезною, съ хорошо развитымъ нравственнымъ чувствомъ, безъ особенныхъ и даже безъ всякихъ чувственныхъ поползновеній. Алеша—мальчишка, уже въ 21 годъ вѣтреный, циническій, лишенный всякой нравственной основы въ характерѣ до того, что онъ не конфузится никакой своей пакости, а напротивъ—тотчасъ же самъ о ней разсказываетъ, прибавляя, что знаетъ, какъ это дурно, и вслѣдъ за тѣмъ опять повторяетъ ту же пакость. Думая похвалить его невинность, разсказчикъ говоритъ, между прочимъ: „онъ не могъ бы солгать, а еслибъ и солгалъ, то вовсе не подозрѣвая въ этомъ дурного“. Видите, это былъ наивный, милый ребенокъ, не вѣдающій разницы добра и зла, хотя и достигшій 21 года, воспитанный въ свѣтскомъ петербургскомъ обществѣ, испытавшій въ немъ кое-что и притомъ бывшій сынкомъ такого отца, какъ князь Валковскій. Идеализируя характеръ Алеши (какъ и слѣдуетъ по правиламъ рыцарскаго великодушія, говоря о соперникѣ), разсказчикъ замѣчаетъ, что онъ „могъ бы сдѣлать и дурной поступокъ, принужденный чьимъ-нибудь сильнымъ вліяніемъ, но, сознавъ послѣдствія такого поступка, умеръ бы отъ раскаянія“. А черезъ двѣ страницы происходитъ сцена встрѣчи Алеши съ убѣжавшей изъ дому Наташей. Иванъ Петровичъ пробуетъ напомнить ему: что, говоритъ, вы дѣлаете,—какой страшный ударъ наносите ея отцу и матери, и пр. Алеша отвѣчаетъ: „Да, это ужасно... Я это и прежде говорилъ... Но что же дѣлать? измѣнить нельзя...“ А тутъ еще и измѣнять-то было нечего. И Алеша, вырвавши дочь изъ семейства, не умеръ отъ раскаянія, да и потомъ, бросивъ Наташу и женившись на Катѣ, тоже не умеръ... Словомъ сказать, по описанію, это обаятельный, милый ребенокъ, только очень вѣтреный, а по ходу дѣла—это рано развращенный, эгоистическій и пустой мальчишка, не имѣющій никакого направленія, никакого убѣжденія, поддающійся на минуту всякому постороннему вліянію, но постоянно вѣрный только влече-

ніямъ своихъ капризовъ и чувственности, которыхъ онъ не умѣетъ даже стыдиться. Трудно сказать, въ чемъ заключается его обаятельность, чѣмъ онъ могъ подѣйствовать на умную и серьезную дѣвушку, какъ Наташа. Она краснѣетъ за него, когда онъ начинаетъ врать Ивану Петровичу разную чепуху въ тотъ самый моментъ, какъ онъ встрѣтилъ Наташу, чтобы увезти ее къ себѣ; она умоляетъ Ивана Петровича взглядомъ—не судить его строго... Ну, скажите, какое же увлеченіе, какая любовь при такихъ отношеніяхъ?

Но мало ли бываетъ аномалій, а г. Достоевскій имѣетъ, такъ сказать, привилегію на ихъ изображеніе. Отъ г. Голядкина до Ѳомы Ѳомича въ „Селѣ Степанчиковѣ“ онъ изобразилъ на своемъ вѣку много болѣзненныхъ ненормальныхъ явленій. Могъ взяться и за изображеніе исключительной, ненатуральной любви Наташи къ дряннѣйшему фату, который, по всѣмъ ожиданіямъ здраваго смысла, не могъ не казаться ей противнымъ. Положимъ даже, что самая ненормальность-то, странность подобныхъ отношеній и поразила художника, и заставила его заняться ихъ воспроизведеніемъ. Но вѣдь мы знаемъ, что художникъ—не пластинка для фотографіи, отражающая только настоящій моментъ: тогда бы въ художественныхъ произведеніяхъ и жизни не было и смысла не было. Художникъ дополняетъ отрывочность схваченнаго момента своимъ творческимъ чувствомъ, обобщаетъ въ душѣ своей частныя явленія, создаетъ одно стройное цѣлое изъ разрозненныхъ чертъ, находитъ живую связь и послѣдовательность въ безсвязныхъ, повидимому, явленіяхъ, сливаетъ и перерабатываетъ въ общности своего міросозерцанія разнообразныя и противорѣчивыя стороны живой дѣйствительности. Оттого истинный художникъ, совершая свое созданіе, имѣетъ его въ душѣ своей цѣлымъ и полнымъ, съ началомъ и концомъ его, съ его сокровенными пружинами и тайными послѣдствіями, непонятными часто для логическаго мышленія, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художникъ представляетъ свои созданія и для другихъ; они для всѣхъ дѣлаются просты, понятны, законны. Вещи самыя чуждыя для насъ въ нашей привычной жизни кажутся намъ близкими въ созданіи художника: намъ знакомы какъ будто родственныя и мучительныя исканія Фауста, и сумасшествіе Лира, и ожесточеніе Чайдъ Гарольда; читая ихъ,

мы до того подчиняемся творческой силѣ генія, что находимъ въ себѣ силы даже изъ подъ всей грязи и пошлости, обсыпавшей насъ, просунуть голову на свѣтъ и свѣжій воздухъ и сознать, что дѣйствительно—созданіе поэта вѣрно человѣческой природѣ, что такъ должно быть, что иначе и быть не можетъ... Разумѣется, не всѣ геніи, и не отъ всѣхъ можно ожидать подобнаго эффекта, но все же до извѣстной степени онъ есть и въ каждомъ художественномъ произведеніи, и притомъ поэты съ меньшимъ талантомъ обыкновенно являются публикѣ съ созданіями, въ которыхъ и идеи отразились сравнительно меньшей важности и обширности; но все же хоть что-нибудь, хоть въ самыхъ маленькихъ размѣрахъ, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе нечего искать въ произведеніи и признаковъ художественнаго таланта.

Такъ пусть бы въ романѣ г. Достоевскаго отразилась въ своей полнотѣ хоть этакая маленькая, миніатюрная задача жизни: *) какъ можетъ смрадная козявка, подобная Алешѣ, внушить къ себѣ любовь порядочной дѣвушки. Разъясни намъ авторъ хоть это,—мы бы готовы были прослѣдить его шагъ за шагомъ, и вступить съ нимъ въ какія угодно художественныя и психологическія разсужденія. Но вѣдь и этого нѣтъ: пять мѣсяцевъ, въ которые возникла и дошла до своего страшнаго пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини отъ насъ скрыто, и авторъ, повидимому, смыслитъ въ его тайнахъ не больше нашего. Мы съ довѣріемъ обращаемся къ нему и спрашиваемъ: какъ же это могло случиться? А онъ отвѣчаетъ: вотъ подите жъ,—случилось, да и только.—Да, пожалуй, прибавитъ къ этому: чрезвычайно странный случай... а, впрочемъ, это бываетъ.—Не угодно ли искать художественнаго смысла въ подобномъ произведеніи? *)

---

*) Не говорю, чтобъ художникъ задавалъ себѣ задачу, а чтобъ у него отразилась, разрѣшилась она сама собою, хоть бы невѣдомо для него; а то опять скажутъ, что я навязываю художнику утилитарныя темы.

Примѣч. Добролюбова.

*) Вотъ что по поводу этого замѣчаетъ въ своемъ критическомъ очеркѣ о Достоевскомъ докторъ медицины г. Чижъ:

„Нельзя обойти молчаніемъ того, повидимому, страннаго факта, что повѣсть „Униженные и Оскорбленные“ является разсказомъ о томъ, какъ одна хорошая, образованная дѣвушка любила дурачка. Правдоподобно ли это? Къ сожалѣнію,

А потомъ, когда Наташа уже совершила свой странный шагъ, нелѣпость котораго она понимала еще раньше, потомъ какъ она жила съ Алешей? Какой процессъ совершился въ душѣ ея съ первыхъ дней этой новой жизни до того дня, когда мы въ первый разъ опять видимъ ее въ разговорѣ съ Иваномъ Петровичемъ, и когда она высказываетъ рѣшеніе, что съ Алешей должна разстаться? Обо всемъ этомъ мы имѣемъ нѣсколько незначительныхъ словъ, вброшенныхъ мимоходомъ въ описаніе квартирной обстановки Наташи и ровно ничего не объясняющихъ... Какъ видно, не это интересовало автора, не тутъ было для него главное дѣло. Въ чемъ же? Разобрать трудно уже и потому, что дѣйствіе романа страннымъ и ненужнымъ образомъ двоится между исторіей Наташи и исторіей маленькой Нелли, чѣмъ рѣшительно нарушается стройность впечатлѣнія. Но какъ обѣ эти исторіи вертятся около князя Валковскаго, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляетъ именно воспроизведеніе характера этого князя. Но, всматриваясь въ изображеніе этого характера, вы найдете съ любовью обрисованное сплошное безобразіе, собраніе злодѣйскихъ и циническихъ чертъ, но вы не найдете тутъ человѣческаго лица... Того примиряющаго, разрѣшающаго начала, которое такъ могуче дѣйствуетъ въ искусствѣ, ставя передъ вами полнаго человѣка и заставляя проглядывать его человѣческую природу сквозь всѣ наплывшія мерзости,— этого начала нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ изображеніи личности князя. Оттого то вы не можете ни почувствовать сожалѣнія къ этой личности ни возненавидѣть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не противъ личности собственно, но противъ типа, противъ извѣстнаго разряда явленій. И вѣдь хоть бы неудачно, хоть бы какъ нибудь попробовалъ авторъ заглянуть въ душу своего главнаго героя... Нѣтъ ничего, ни попытки, ни намека... Какъ и что

нужно сказать, что это вѣрно природѣ; по крайней мѣрѣ, психіатрамъ извѣстны такія нелѣпыя любовныя конфликты, и часто приходится удивляться, что субъекты, достойные только сожалѣнія, бываютъ горячо любимы женщинами и дѣвушками, далеко не глупыми. Какъ объяснить себѣ это явленіе? Но тутъ нужно признать компетентность Достоевскаго, хотя, можетъ быть, его мотивировка любви Наташи къ Алешѣ и грѣшитъ нѣсколько идеализаціей“.

„Достоевскій какъ психопатологъ“. Москва, 1885 г., стр. 52, и Русск. Вѣстн“. 1884 г., № 5 и 6.

Примѣч. В. Зелинскаго.

сдѣлало князя такимъ, какъ онъ есть? Что его занимаетъ и волнуетъ серьезно? Чего онъ боится и чему, наконецъ, вѣритъ? А если ничему не вѣритъ, если у него душа совсѣмъ вынута, то какимъ образомъ и при какихъ посредствахъ произошелъ этотъ любопытный процессъ? Мы вправѣ требовать отъ автора объясненій на подобныя вещи, даже не предъявляя на него особенно громадныхъ претензій. Не говоря о гигантахъ поэзіи, мы имѣемъ даже у себя произведенія, удовлетворяющія этимъ скромнымъ требованіямъ: мы знаемъ, напримѣръ, какъ Чичиковъ и Плюшкинъ дошли до своего настоящаго характера, даже знаемъ отчасти, какъ облѣнился Илья Ильичъ Обломовъ... Но г. Достоевскій этимъ требованіемъ пренебрегъ совершенно. Какъ же послѣ этого разбирать характеръ князя съ эстетической точки зрѣнія?

Да и вообще надо быть слишкомъ наивнымъ и несвѣдущимъ, чтобы серьезно и пространно, съ доказательствами, выписками и примѣрами, разбирать эстетическое значеніе романа, который даже въ изложеніи своемъ обнаруживаетъ отсутствіе претензій на художественное значеніе. Во всемъ романѣ дѣйствующія лица говорятъ какъ авторъ; они употребляютъ его любимыя слова, его обороты; у нихъ такой же складъ фразы... Исключенія чрезвычайно рѣдки. Начиная съ того, что всѣ лица называютъ другъ друга непремѣнно *голубчикомъ* (исключая, можетъ быть, князя), и оканчивая тѣмъ, что они всѣ любятъ вертѣться на одномъ и томъ же словѣ, и тянутъ фразу, какъ самъ авторъ,—во всемъ виденъ самъ сочинитель, а не лицо, которое говорило бы отъ себя... Силлогизмы Наташи поразительно вѣрны, какъ будто она имъ въ семинаріи обучалась. Психологическая проницательность ея удивительна, постройка рѣчи сдѣлала бы честь любому оратору, даже изъ древнихъ. Но согласитесь, вѣдь очень примѣтно, что Наташа говоритъ слогомъ Достоевскаго? И слогъ этотъ усвоенъ большею частію дѣйствующихъ лицъ.

Надо еще замѣтить, что г. Достоевскій (какъ весьма многіе, впрочемъ, изъ нашихъ литераторовъ) любитъ возвращаться къ однимъ и тѣмъ же лицамъ по нѣскольку разъ и пробовать съ разныхъ сторонъ тѣ-же характеры и положенія. У него есть нѣсколько любимыхъ типовъ, напримѣръ, типъ рано развившагося, болѣзненнаго, самолюбиваго ребенка,—и вотъ онъ возвращается къ нему и въ „Неточкѣ“, и въ „Ма-

ленькомъ героѣ“, и теперь въ Нелли... Характеръ Нелли— тотъ же, что характеръ Кати въ „Неточкѣ“, только обстановка ихъ различна. Есть типъ человѣка, отъ болѣзненнаго развитія самолюбія и подозрительности доходящаго до чрезвычайныхъ уродствъ и даже до помѣшательства, и онъ даетъ намъ г. Голядкина, музыканта Ефимова (въ „Неточкѣ“), Ѳому Ѳомича (въ „Селѣ Степанчиковѣ“). Есть типъ циника, бездушнаго человѣка, лишь съ энергіей эгоизма и чувственности,—онъ его намѣчаетъ въ Быковѣ (въ „Бѣдныхъ Людяхъ“), неудачно принимается за него въ „Хозяйкѣ“, не оканчиваетъ въ Петрѣ Александровичѣ (въ „Неточкѣ“), и наконецъ теперь раскрываетъ вполнѣ въ князѣ Валковскомъ (котораго, кстати, даже и зовутъ тоже Петромъ Александровичемъ). Къ этому есть еще у г. Достоевскаго идеалъ какой-то дѣвушки, который ему никакъ не удается представить: Варенька Доброселова въ „Бѣдныхъ Людяхъ“, Настенька въ „Селѣ Степанчиковѣ“, Наташа въ „Униженныхъ и Оскорбленныхъ“—все это очень умныя и добрыя дѣвицы, очень похожія на автора по своимъ понятіямъ и по манерѣ говорить, но въ сущности очень безцвѣтныя. Авторъ умѣетъ помѣстить ихъ въ очень интересную обстановку, но это и все, что для нихъ онъ дѣлаетъ. Надо признаться, что даже Варенька Доброселова интересуетъ насъ болѣе своими несчастіями и тѣми разсказами, которые г. Достоевскій сочинилъ за нее, нежели сама по себѣ, просто какъ поэтическое созданіе.

Эта бѣдность и неопредѣленность образовъ, эта необходимость повторять самого себя, это неумѣнье обработать каждый характеръ даже настолько, чтобъ хоть сообщить ему соотвѣтственный способъ внѣшняго выраженія,—все это, обнаруживая, съ одной стороны, недостатокъ разнообразія въ запасѣ наблюденій автора, съ другой стороны, прямо говоритъ противъ художественной полноты и цѣльности его созданій...

Г. Достоевскій, вѣроятно, не будетъ на меня сѣтовать, что я объявляю его романъ, такъ сказать, „ниже эстетической критики“. Я вѣдь имѣлъ въ виду вообще современную нашу литературу, и если провѣрилъ свою мысль нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями о его романѣ, такъ это потому, что онъ мнѣ попался подъ руку. А если бы взять другія изъ твореній, имѣвшихъ у насъ успѣхъ въ послѣдніе годы, такъ многія изъ нихъ оказались бы, можетъ быть, еще болѣе несостоя-

тельными. Г. Достоевскій по крайней мѣрѣ, какъ намъ кажется, судя по нѣкоторымъ мѣстамъ его сочиненій, — не имѣетъ такихъ претензій, не придаетъ себѣ такой важности, какъ другіе. Онъ изобразилъ нѣкоторыя свои литературныя отношенія въ запискахъ Ивана Петровича: я не считаю нескромнымъ сказать это, потому что самъ авторъ явно не хотѣлъ скрываться. Онъ съ такими подробностями разсказываетъ тамъ содержаніе „Бѣдныхъ Людей“, какъ первой повѣсти Ивана Петровича,—что нѣтъ возможности ошибиться. Такъ тутъ-то онъ, между прочимъ, сознается, что писалъ многое вслѣдствіе необходимости, писалъ къ сроку, написывалъ по три съ половиною печатныхъ листа въ два дня и двѣ ночи; называетъ себя почтовою клячею въ литературѣ; смѣется надъ критикомъ, увѣрявшимъ, что отъ его сочиненій пахнетъ потомъ и что онъ ихъ слишкомъ обдѣлываетъ *). Словомъ, г. Достоевскій смотритъ, повидимому, на свои произведенія, какъ мы всѣ, обыкновенные люди, — не какъ на несокрушимый памятникъ для потомства, а просто—какъ на журнальную работу. А уже извѣстно, что такое журнальная работа: тутъ не до обработки, не до подробностей, не до строгости къ себѣ въ развитіи мысли... Довольно того, что хоть кое-какъ успѣешь бросить эту мысль на бумагу.

Н. Добролюбовъ.

* * *

**) Неестественность положенія никогда не можетъ быть художественной! Во всѣхъ родахъ искусства, эпохи упадка художества отличаются всегда неестественностію,—это можно замѣтить въ живописи, въ архитектурѣ, даже въ музыкѣ, тѣмъ болѣе въ литературѣ. А неестественность положенія тутъ (въ романѣ) на каждомъ шагу.

Иванъ Петровичъ взялся, напримѣръ, проводить Наташу въ церковь. Онъ узнаетъ, что она идетъ на свиданіе; онъ ее уговариваетъ, уговариваетъ и Алешу, котораго они тутъ встрѣчаютъ и къ которому бѣжала Наташа; объясняетъ Наташѣ, что она тѣмъ болѣе оскорбитъ отца своего этою связью

*) Такой именно отзывъ былъ когда-то о г. Достоевскомъ и даже, если не ошибаюсь, въ „Современникѣ“.

**) Графъ Кушелевъ-Безбородко. „Русское Слово“ 1861 г., № 9.

съ Алешей, что ее примутъ за нарочно придуманное средство самого Ихменева, чтобъ поставить на своемъ, выдать дочь свою за князя. Наташа понимаетъ это; она чувствуетъ всю тяжесть удара, который она наноситъ отцу своему, но она любитъ Алешу, пустого мальчишку, не стоющаго, по правдѣ сказать, этой любви. Но положимъ, она любитъ его, — бываютъ же такіе случаи! — но тутъ какъ объяснить? Наташа, вслѣдствіе всѣхъ этихъ совѣтовъ Ивана Петровича, вслѣдствіе борьбы чувствъ, любви къ отцу, чувства долга своего, и тоже сильной любви своей къ Алешѣ, наконецъ, даже вслѣдствіе дружбы, и нѣчего въ родѣ тоже любви къ самому Ивану Петровичу, котораго она этимъ огорчаетъ и убиваетъ,—вслѣдствіе всего этого она падаетъ въ обморокъ; тогда Иванъ Петровичъ, любящій Наташу, сознаетъ, что она дѣлаетъ дурно, но вмѣсто того, чтобы посадить ее въ карету, самому сѣсть хоть бы на козлы и возвратить ее отцу, откуда на другой день Наташа могла бы еще разъ убѣжать уже одна, если это такъ нужно для связи романа — этотъ Иванъ Петровичъ сажаетъ молодую дѣвушку вмѣстѣ съ Алешей и отпускаетъ ихъ, а самъ идетъ домой, мечтая о своемъ *униженіи и оскорбленіи!!*

Какъ хотите, это не вѣроятно, это просто невозможно. А послѣ этого поступка отецъ Наташи считаетъ еще Ивана Петровича своимъ другомъ, принимаетъ его у себя, толкуетъ съ нимъ про Наташу! Это уже слишкомъ сильно! Онъ обманулъ этого отца, который, какъ честному человѣку, благородно поручилъ ему свою дочь, чтобъ довести до церкви, а тотъ ей помогаетъ убѣжать съ любовникомъ, и отецъ проклинаетъ свою дочь, но благодаритъ и ласкаетъ Ивана Петровича. Намъ кажется, мы бы на мѣстѣ Ихменева такъ не поступили. Но опять скажутъ намъ, что это странность — болѣе ничего. Странность, отвѣтимъ мы, не художественная, во всякомъ случаѣ, притомъ странность, заслуживающая хотя бы оговорку автора, которая бы объясняла это непонятное положеніе. Правда, трудно и объяснять такія положенія. А любовь Наташи и Кати къ Алешѣ—опять невѣроятность на каждомъ шагу. Двѣ дѣвушки любятъ страстно, любятъ съ самоотверженіемъ, забывая свой долгъ, все рѣшительно, и любятъ кого-же? самаго безтолковаго молодого человѣка, еще мальчишку, какихъ только можно придумать и едва ли можно

встрѣтить;—фразера до невѣроятности, болтуна, самодура, и вмѣстѣ съ тѣмъ глупаго донельзя, въ чемъ даже сознаются нѣсколько разъ обѣ дѣвушки и сознаются простодушно, и говорятъ ему это въ глаза, такъ—что самъ Алеша въ этомъ сознается и убѣжденъ. И Наташа, которая любитъ отца своего, уважаетъ его, любитъ свою мать, и эта Наташа ни разу даже не вспомнитъ о своей матери, о своемъ отцѣ, а она знаетъ, какъ они страдаютъ изъ-за нея! Да мало ли еще неестественныхъ положеній, столкновеній—всѣхъ не перечтешь! А между прочимъ, — странное дѣло! — несмотря на всѣ эти неестественныя положенія, несмотря на то, что тотчасъ же читатель видитъ ясно, какъ все это натянуто, придумано, продолжаетъ читать этотъ романъ, и читаетъ, можетъ быть, съ увлеченіемъ:—причина тому единственная—самый способъ разсказа.

Ѳ. Достоевскій еще разъ намъ въ этомъ романѣ доказалъ свое несомнѣнное, и, можно сказать, неподражаемое искусство разсказывать; у него свой оригинальный разсказъ, свой оборотъ фразъ, совершенно своеобразный и полный художественности. Фразы его не такъ отдѣланы, не такъ копотно и тщательно выглажены, какъ у г. Гончарова; описанія его не такъ поэтичны, не такъ полны художественныхъ мелочей, подробностей, которыя воскрешаютъ цѣлый міръ, цѣлый образъ картины, какъ у Тургенева; обрисовка лицъ его не такъ рѣзко и рельефно очерчена, какъ у Писемскаго; но своеобразный слогъ г. Ѳ. Достоевскаго никакъ не уступитъ этимъ тремъ писателямъ. Его разсказъ—не описаніе, а именно разсказъ, заманчивый до-нельзя. Онъ удивительно легко читается, много высказываетъ въ формѣ, повидимому, самой простой. Слогъ его кажется простымъ, разговорнымъ слогомъ, такъ что, казалось, и самъ разсказалъ бы не иначе; въ немъ нѣтъ особо замѣчательныхъ мѣстъ; нѣтъ страницы, которую бы вы прочитали два раза, которую бы стоило помѣстить въ хрестоматію для примѣра слога, но слогъ этотъ всегда ровный, гладкій, разсказъ всегда ясно изложенный,такъ что онъ заставляетъ часто забыть всю неестественность положенія; вы его слушаете, какъ слушали, бывало, дѣтскую сказку, а потому, разсматривая только его внѣшнюю сторону, романъ этотъ можетъ быть смѣло признанъ превосходнымъ *сказочнымъ романомъ*.

Но мы должны признаться, что ожидали большаго отъ этого романа. Самое названіе, казалось намъ, обѣщало развитіе важной соціальной идеи.—Униженные и оскорбленные! Сколько ужасныхъ драмъ кроется въ этихъ двухъ словахъ, сколько и вправду есть униженныхъ, сколько оскорбленныхъ — отъ русскаго мужика, часто униженнаго и оскорбленнаго или своимъ господиномъ, или своимъ подрядчикомъ, десятскимъ, оскорбленнаго зачастую безъ причинъ, такъ, зря, на улицѣ, въ лавкѣ, вездѣ, гдѣ его трактуютъ ниже всякаго, толкаютъ, не обращаютъ даже на него вниманія, а онъ между тѣмъ глубоко иногда чувствуетъ и понимаетъ это униженіе, это оскорбленіе, въ особенности, если хотя немного развитъ и образованъ. Да и мало ли можно указать въ нашемъ обществѣ примѣровъ униженія и оскорбленія, постоянно встрѣчающихся, не исключительныхъ, какъ въ романѣ г. Достоевскаго, а прямо вытекающихъ изъ нашихъ нравовъ и обычаевъ.

Не только наше общество, но всякое общество непремѣнно имѣетъ этотъ недостатокъ: вездѣ, во всякой странѣ вы можете найти многіе примѣры такого униженія, такого оскорбленія, а тутъ, въ романѣ г. Достоевскаго, собственно говоря, униженъ и оскорбленъ только развѣ Ихменевъ, потому что заподозрѣнъ въ подлогѣ и воровствѣ, оскорбленъ, еще отвѣтомъ князя, насмѣшкою на его вызовъ; но если правду сказать, оно и было довольно смѣшно старику 60 лѣтъ вызывать на дуэль того, съ кѣмъ онъ тягался за то, что сынъ его похитилъ его дочь, послѣ того, въ особенности, какъ Ихменевъ самъ оставилъ свою дочь, не вытребовалъ ее.

Во всякомъ случаѣ, это оскорбленіе—не униженіе, а просто случайное оскорбленіе, которое могло случиться и нѣтъ. Остальныя же лица, если оскорбляются, то рѣшительно для собственнаго своего развлеченія. Они, впрочемъ, мало и оскорбляются; они такъ заняты своими нервическими припадками.

Мы рѣшительно не знаемъ, какъ оправдать заглавіе этого романа. По нашему мнѣнію, онъ вовсе не оправдываетъ его содержанія. Главный же недостатокъ этого романа заключается въ томъ, что онъ не обрисовалъ, не очертилъ, не разъяснилъ ни одного живого лица ни одного настоящаго типа. Всѣ лица, дѣйствующія въ немъ, какъ бы стараются, въ угожденіе автору, все болѣе и болѣе запутывать узелъ завязки, чтобъ доставить г. Достоевскому возможность, случай, показать намъ

свой несомнѣнный талантъ разсказа фактовъ, происшествій; но ни одно лицо не остается въ головѣ читателя, не заставляетъ задуматься о себѣ,—развѣ первый типъ старика Смита, который умираетъ тотчасъ послѣ своей собаки Азорки, единственнаго своего друга,—но и этотъ типъ—вовсе не русскій, и уже встрѣчаемый нами не разъ въ иностранныхъ романахъ, и, если правду сказать, несравненно болѣе возможный за границей, во Франціи, Англіи, Бельгіи, чѣмъ въ Россіи: — у насъ одна зима скоро отучитъ такого старика каждодневно ходить съ собакой въ какую-нибудь кондитерскую.

Князь Валковскій тоже не типъ,—онъ подлецъ, онъ мошенникъ; но это не типъ: такой князь, пожалуй, и можетъ быть—мы не споримъ, но въ немъ ничего нѣтъ того, что бы отличало его отъ обыкновеннаго французскаго, англійскаго мошенника; а между тѣмъ очень много странностей, очень много отличительныхъ свойствъ и недостатковъ можно бы подмѣтить въ этомъ обществѣ, изъ котораго г. Достоевскій беретъ своего Валковскаго. О сынѣ мы уже не говоримъ,—онъ видимо, тутъ служитъ для завязки и развязки, и вовсе не созданъ и не задуманъ какъ типъ, какъ лицо живое. Есть, пожалуй, Маслобоевъ, ходатай по дѣламъ, пьяница и добрая душа, готовый на извѣстнаго рода подлости за деньги, и остающійся честнымъ человѣкомъ по своему; это, пожалуй, еще человѣкъ живой, человѣкъ, котораго мы могли бы встрѣтить; но это совершенно второстепенная личность въ драмѣ, и если онъ обрисовался довольно ясно, то намъ кажется, что это дѣло случая, потому что на него авторъ не могъ разсчитывать. Самъ Ихменевъ не похожъ на настоящаго русскаго помѣщика,—въ немъ черта есть общечеловѣческая, въ его страданіяхъ, въ его горѣ, въ его злости противъ князя и противъ дочери своей; но опять только черта, а общая фигура не рисуется. Женскія личности очень натянуты, очень взволнованы; онѣ постоянно не выходятъ изъ исключительнаго и странно-устроеннаго положенія. Наташа, которая привлекаетъ васъ къ себѣ въ началѣ романа, наконецъ, кажется вамъ, какъ нѣмцы выражаются langweilig,—до того она монотонна и многорѣчива въ своемъ горѣ, которое сама же создаетъ.

Катя рѣшительно невозможна, и не можетъ потому внушить къ себѣ никакого сочувствія; такихъ благовоспитанныхъ дѣвушекъ съ нѣсколькими милліонами приданаго и съ таки-

ми эксцентрическими замашками рѣшительно нѣтъ, да и слава Богу!—ничего поэтическаго въ ней нѣтъ, ничего изящнаго, ничего дѣйствительнаго.

Одна Нелли могла бы, можетъ быть, внушить къ себѣ симпатію, но ей много мѣшаютъ Наташа и Катя. Вы развлечены всѣмъ этимъ запутаннымъ ходомъ дѣла, и вся драма Нелли и матери, какъ повгореніе того, что теперь дѣлается вмѣстѣ и отцомъ и сыномъ, только утомляетъ васъ. Это повтореніе рѣшительно не художественно; притомъ Нелли, какъ кажется, нѣчто въ родѣ подражанія Миньоны Гете и французской Сандрильоны, и подражаніе крайне неудавшееся,—эти постоянные припадки утомляютъ, а не привязываютъ васъ къ ней. Она умираетъ; ее, правда, оплакиваетъ старикъ Ихменевъ, а самъ Иванъ Петровичъ, разсказчикъ, почти несмущенъ, онъ уже ожидалъ эту смерть, какъ и читатель тоже, съ самаго перваго знакомства съ Нелли.

Анна Андреевна, жена Ихменева, слабая, безцвѣтная личность, безъ воли, безъ самостоятельнаго характера, постоянно подчиненная своему мужу, боящаяся его раздражить и ни на что не рѣшающаяся. Такія женщины, конечно, бываютъ сплошь да рядомъ, да только почему въ романѣ-то она такъ безцвѣтна?—надо было бы рельефнѣе выставить эту безхарактерность; надо было бы изучить эту женщину и передать намъ,—какъ бы это сдѣлалъ, навѣрно, г. Гончаровъ,—а тутъ она проходитъ мимо насъ, и мы почти не замѣчаемъ ее.

Изъ всего нами высказаннаго, мы можемъ заключить, что талантъ г. Достоевскаго не сомнѣненъ въ разсказѣ; онъ передаетъ намъ происшествія, дѣйствія своихъ героевъ, чрезвычайно наглядно, чрезвычайно искусно, но недостатокъ его заключается въ томъ, что онъ не овладѣваетъ вполнѣ ни однимъ лицомъ, какъ слѣдовало бы ожидать, не анализируетъ ни одного характера, не создаетъ ни одного типа, не задумывается даже надъ личностью, надъ свойствомъ своихъ дѣйствующихъ лицъ,—онъ слишкомъ занятъ своимъ сюжетомъ, завязкою и развязкою,—а это огромный недостатокъ въ дѣлѣ художества.

Именно эта небрежность автора въ изученіи своихъ героевъ, ихъ внутреннихъ чувствъ, ихъ сокровенныхъ душевныхъ свойствъ и ведетъ его къ тѣмъ невозможнымъ, неестественнымъ положеніямъ, которыя никакъ не могли бы существо-

вать, еслибъ авторъ потрудился анализировать самъ качества и недостатки характера своего героя.

Гр. Кушелевъ-Безбородко.

* * *

*) Мы сколько угодно можемъ разсуждать о *забитыхъ людяхъ*, можемъ проникаться къ нимъ какой угодно филантропіей, и все-таки мы будемъ говорить о вещахъ совершенно посторонних для жизни, потому что въ то самое время, какъ мы будемъ говорить о людяхъ этого романа и будемъ на нихъ ссылаться, какъ на живые аргументы нашихъ изслѣдованій, въ романѣ этомъ заключаются и всякимъ мало-мальски проницательнымъ человѣкомъ могутъ быть приведены противъ насъ десятки аргументовъ въ подтвержденіе того, что люди эти, прежде всего, психологически-невозможные, и потому никогда не бывалые люди. Въ такомъ случаѣ и самыя симпатіи наши останутся безпредметными: онѣ будутъ доказывать доброту нашего сердца, наши благородныя стремленія, нашъ просвѣщенный взглядъ на вещи,—словомъ, будутъ вполнѣ доказывать, что мы находимъ въ себѣ пропасть вещей, за которыя можемъ оставаться довольны собою, и за то себя прославляемъ; но въ дѣйствительности онѣ не будутъ относиться ни къ одному человѣческому страданію, въ качествѣ облегчающаго участія, не заставятъ ни одного здравомыслящаго человѣка серьезно подумать о практическихъ средствахъ къ уменьшенію этого рода страданія въ обществѣ, хотя бы этотъ человѣкъ имѣлъ къ тому и гуманную склонность, и матеріальныя средства, и достаточную политическую власть, на сколько въ ней могла бы оказаться потребность въ данномъ случаѣ. Главное, взяться не за что: нѣтъ никакой опоры. Слышно: кто-то о чемъ то какъ будто стонетъ. Но кто и о чемъ?—Вотъ тутъ-то и занятая для добродѣтели!

Столько болячекъ, какъ только можетъ вмѣстить иная лечебница въ Петербургѣ, столько душевныхъ страданій, столько щекотливыхъ и тупоумныхъ отношеній, выработанныхъ жизнію и указанныхъ романомъ,—и все это должно остаться непризнаннымъ?

---

*) З—нъ (Е. О. Заринъ). „Небывалые люди". „Библіотека для Чтенія" 1862 г., № 1.

Должно. Щекотливыя отношенія, затронутыя романистомъ были для него роковыми; они отчасти не посчастливились и для насъ самихъ. Судя по одному только началу романа и позволивъ себѣ догадываться, что романистъ поставитъ себя къ этимъ отношеніямъ болѣе здравымъ образомъ, мы двумя или тремя фразами, въ этомъ самомъ журналѣ, выразили такія ожиданія отъ этого романа, которыя теперь почитаемъ не сбывшимися. Мы полагали, что для общественнаго смысла произойдетъ болѣе проку отъ этого романа, чѣмъ отъ знаменитой и рѣшительно никому не удавшейся полемики по поводу публичной декламаціи пермскою дамою стихотворенія Пушкина: *Чертогъ сіялъ, гремѣли хоромъ;* между фактомъ этой декламаціи и происшествіями этого романа мы видѣли нѣкоторое соотношеніе и хотѣли надѣяться, что въ то время, когда, по совершенно ничтожному поводу, но по чрезвычайно важному вопросу, говорились однѣ только вздорныя рѣчи, уже начинаетъ раздаваться, между прочимъ, и здравый голосъ. Мы ошиблись: здраваго голоса не вышло; намъ прочитанъ урокъ изъ нравственной философіи, подъ сильнымъ вліяніемъ г. Авдѣева. Романистъ, очевидно, слишкомъ большую цѣну придавалъ эфемерному успѣху своего собрата, неумѣренно-высоко цѣнилъ благосклонный пріемъ публики. Онъ въ нѣкоторой мѣрѣ, хотя и не столько, какъ г. Авдѣевъ, добился и того и другого; но теперь очевидно, что онъ добился этого на самый короткій срокъ, и что, въ сущности, ему не было никакого расчета, ни для такого успѣха ни для такого пріема, пренебрегать высшими интересами добра и правды.

Романъ видимымъ образомъ написанъ на предзаданную тему. Мы собственно противъ этого ничего не находимъ сказать; напротивъ, наша рѣшимость, основанная на нашемъ убѣжденіи, состоитъ именно въ томъ, чтобы требовать отъ авторовъ полнѣйшаго сознанія какъ о томъ, что они пишутъ, такъ и о томъ, для чего они это дѣлаютъ. Романъ написанъ à propos; мы и противъ этого не позволимъ себѣ ничего сказать: это такое обстоятельство, которое въ нашихъ глазахъ можетъ только придавать значеніе роману. Всѣ великія произведенія слѣдуетъ считать написанными à propos. Мы признаемъ за несомнѣнную истину, что сама „Иліада“ появилась въ свое время какъ à propos, точно такъ же, какъ Донъ-Кихотъ и Фаустъ. Но въ основаніе романа положена

чисто разсудочная тема—это уже ошибка и очень большая; потомъ для успѣшнаго упражненія надъ этой темой въ природѣ нашего романиста не оказалось достаточныхъ средствъ —это также радикальное неудобство. Совокупность этихъ двухъ недостатковъ имѣла своимъ послѣдствіемъ то, что авторъ, воплощая свои положенія въ человѣческія тѣла, снабдилъ эти послѣднія такимъ психическимъ механизмомъ, дѣйствіе котораго способно приводить въ отчаяніе каждаго психолога.

Въ намѣреніи нашего романиста было—сдѣлаться адвокатомъ самостоятельности (émancipation) женщинъ, хотя въ дѣйствительности онъ исполнилъ роль совершенно противоположную... Независимо отъ главнаго развитія романической басни, авторъ проводитъ передъ нами тѣнь женщины, молящей васъ о человѣческомъ снисхожденіи и умершей подъ проклятіемъ своего отца; прощенья она вымаливаетъ у васъ въ томъ, что, вслѣдствіе невольнаго увлеченія, она не могла побѣдить въ себѣ непреодолимой наклонности—обокрасть своего отца, котораго изъ богатаго, почетнаго и семейнаго человѣка обратила въ одинокаго и нищаго, для котораго сдѣлала возможнымъ одно только общество собаки, *Азорки*, отъ котораго бѣжала съ любовникомъ, княземъ *Валковскимъ* (злодѣемъ романа) съ тѣмъ, чтобы, въ свою очередь, быть отъ него ограбленной и брошенной вмѣстѣ съ прижитымъ отъ него ребенкомъ, *Нелли*. Этотъ интересный эпизодъ можетъ терпѣть различныя толкованія: авторъ могъ придумать его для достиженія чисто-романическихъ цѣлей, именно затѣмъ, чтобы придать болѣе мрачный колоритъ злодѣйскимъ свойствамъ князя Валковскаго, который дѣйствительно можетъ поспорить въ этомъ отношеніи съ любымъ извергомъ любой французской мелодрамы; онъ могъ быть придуманъ еще затѣмъ, чтобы показать намъ, уже съ соціальными и филантропическими цѣлями, все безобразіе и всю неестественность жестокосердія, съ которымъ униженный, обворованный и оскорбленный отецъ остается до послѣдняго издыханія къ своей не менѣе униженной, обворованной и оскорбленной дочери; всего менѣе можно предполагать, чтобы автору понадобился такой эпизодъ, какъ непосредственное доказательство способности женщинъ къ самостоятельности: въ этомъ случаѣ неумѣнье автора справиться съ своею главною

мыслію и подчинить ей всѣ подробности должно искупаться тѣмъ, что было у него въ намѣреніи. Согласно съ общей тенденціей романа, какъ мы ее понимаемъ, изъ этихъ трехъ предположеній мы должны считать самымъ правдоподобнымъ второе: въ романѣ очень много мелкихъ подробностей, тяготѣющихъ именно къ тому, чтобы заклеймить жестокосердаго отца и снять клеймо съ злополучной жертвы невольнаго увлеченія. Въ противоположность этой молящей жертвѣ, героиня романа, *Наташа*, оставляетъ своего жениха, *Ваню*, правда, плохого, но все-таки добровольно ею избраннаго, любящаго и трудолюбиваго молодого человѣка, убѣгаетъ изъ дома своихъ честныхъ отца и матери, Ихменевыхъ, безконечно ее обожающихъ и готовыхъ отдать ей и самую душу свою, поступаетъ на содержаніе къ ничтожному, испорченному и полоумному мальчишкѣ, *Алешѣ*, сыну все того-же князя Валковскаго, обвиняющаго ея отца въ воровствѣ и ограбляющаго его, и во всемъ этомъ поступаетъ не то, что безъ мольбы о снисхожденіи, а какъ бы власть имѣющая, посматриваетъ на своего отца свысока, разумѣетъ его какъ человѣка устарѣвшихъ мнѣній, своего прежняго жениха обращаетъ въ своего лакея, и тотъ, не будучи пошлымъ дуракомъ, служитъ ей и не видитъ въ своей роли ничего страннаго, а въ своей фигурѣ ничего жалкаго; а когда пришла очередь быть брошенной—неизбѣжность чего ей была совершенно ясна заранѣе—то она вошла въ опозоренный и именно изъ-за нея разоренный домъ своего отца, опять-таки не только не нуждаясь въ помилованіи, но и заставляя отца своего, въ жалкой, мелодраматической сценѣ пролить слезы благодарности и расплакаться слѣдующими словами:

„Она здѣсь опять у моего сердца:—о, благодарю тебя, Боже, за все, за все, и за гнѣвъ Твой и за милость Твою!.. И за солнце Твое, которое просіяло теперь, послѣ грозы, на насъ! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вмѣстѣ, и пусть, пусть теперь торжествуютъ эти гордые и надменные, унизившіе и оскорбившіе насъ! Пусть они бросятъ въ насъ камень! Не бойся, Наташа... Мы пойдемъ рука въ руку, и я скажу имъ: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это *безгрѣшная* дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю, и которую благословляю во вѣки вѣковъ“!

И такъ страницы четыре.

Если бы романисты, даже и не лишенные дарованія, смотрѣли на свое призваніе болѣе серьезнымъ образомъ, чѣмъ какъ установлено смотрѣть на это непобѣдимою наклонностью людей къ рутинѣ, и если бъ они считали долгомъ своей совѣсти упражнять свое воображеніе на точномъ воспроизведеніи дѣйствительности съ несравненно большимъ упорствомъ, чѣмъ иной судья, опредѣляющій число ударовъ безъ всякаго представленія спины, на которой будутъ отгравированы рубцы отъ этихъ ударовъ,—тогда они пріобрѣли бы возможность удерживаться отъ слишкомъ многихъ вещей, которыя теперь, по всей справедливости, должны быть постыдными. Въ настоящемъ случаѣ честный отецъ Наташи Ихменевой, при свиданіи съ нею, послѣ отрѣшенія ея отъ извѣстной намъ должности, не явился бы намъ такимъ шутомъ, говорящимъ рѣчи, достойныя угорѣлой Иноіи. Вотъ бы гдѣ слѣдовало романисту поучиться азбукѣ человѣческаго сердца— у настоящихъ отцовъ и матерей, а не создавать ее въ потугахъ безсознательнаго творчества.

Что за несчастіе такое для всѣхъ великихъ истинъ, что онѣ, попадая въ наши газеты, и особенно въ нашу беллетристику, какъ въ настоящемъ случаѣ, становятся не только неузнаваемыми,но отчасти даже отвратительными! Заговорили въ образованномъ мірѣ о такъ—называемомъ освобожденіи женщинъ, подразумѣвая при этомъ самыя серьезныя несообразности ея положенія въ нѣкоторыхъ европейскихъ странахъ, какъ напримѣръ, ту, что пьяница мужъ, какъ въ „*Тяжелыхъ Временахъ*“ Диккенса,можетъ проматывать всѣ заработки своей жены, и она ничего не можетъ предпринять противъ этого,—или ту, что женщина за работу, нисколько нелегче, а иногда и труднѣе мужской, очень часто получаетъ меньшую плату,—или, наконецъ, ту, что при высокомъ развитіи свободы въ странѣ, женщина всю жизнь или формально состоитъ, или почти-что состоитъ подъ опекою мужчины,— вотъ по такимъ то поводамъ въ Европѣ заговорили объ освобожденіи женщины; а у насъ, почуявъ этотъ звонъ, свели все женское право на одинъ либертинажъ (libertinage), на развитіе лупанарнаго законоположенія! Да еще въ своемъ жалкомъ обскурантизмѣ свысока третируютъ людей, которые подаютъ свой вразумляющій голосъ, что гаремные уставы, въ

сравненіи съ этимъ, должны почитаться кодексами идеальной чистоты и непорочности. Идеализація женщины, безъ сомнѣнія, можетъ служить сильнымъ орудіемъ къ повышенію уровня человѣческихъ понятій; но слѣдуетъ-же понимать, что она состоитъ въ совершенной противоположности тому освобожденію женщины, примѣръ котораго намъ представляетъ вотъ уже другая *безгрѣшная* Наташа. Принципы, по которымъ такія Наташи располагаютъ своимъ поведеніемъ, вовсе не составляютъ новости, которая бы имѣла прелесть открытія; это такіе зады, незнаніе которыхъ было бы способно приводить въ восхищеніе, если бы не приводило въ раздумье. Но въ томъ-то и дѣло, что забавная сторона этого невѣдѣнія не покрываетъ его печальной стороны, которая состоитъ въ томъ, что успѣхи здравыхъ понятій должны пробиваться въ общество сквозь двойную преграду—рутины и дикаго пропагандизма. Громадное большинство общества состоитъ изъ людей не посвященныхъ, не умѣющихъ понимать всѣхъ тонкостей и оттѣнковъ различныхъ ученій; вслѣдствіе этого непониманія, оно оказывается въ высшей степени способнымъ возводить къ одному источнику самыя несовѣстныя пропагаціи: „А, вотъ, дескать, каковъ вашъ общественный-то идеалъ: общность женъ, спартанскій супъ!“ Такъ думаетъ консервативная часть большинства; а юные и прогрессивные, но тѣмъ не менѣе тупоумные фельетонисты полагаютъ, что вся соціальная мудрость именно и состоитъ въ открытіи этой штуки, постиженіе которой и должно придавать ядовитость ихъ многодумнымъ писаніямъ. А кто можетъ исчислить все безтолковое вліяніе даже и этихъ многодумныхъ писаній?

* * *

*) Въ характерѣ Вани слишкомъ переложено доброты и совершенно упущенъ изъ виду—не то что одинъ изъ важнѣйшихъ, а именно самый важный психическій элементъ, безъ котораго не составляется и самая душа человѣческая: этотъ элементъ—эгоизмъ, тотъ самый эгоизмъ, тотъ самый противный эгоизмъ, который несмотря на то, что онъ такой противный, исчерпывалъ въ свое время—конечно, въ слишкомъ и слишкомъ отдаленное время—всѣ интеллектуаль-

*) „Небывалые люди“. Продолженіе („Библ. для Чтен.“ 1862 г., № 2).

ныя способности человѣческихъ существъ и былъ инстинктомъ самосохраненія, и который, при дальнѣйшемъ развитіи такъ называемыхъ царей природы, послужилъ центромъ, источникомъ и причиною всей сложности ихъ психическаго механизма. Вотъ сколь важнаго элемента не достаетъ въ характерѣ Вани, который, по этому самому, несмотря на свое человѣческое имя, въ сущности, есть зефиротъ, безъ всякаго человѣческаго характера! Надобно замѣтить—да и замѣчать нечего, и безъ того всѣмъ извѣстно—что между множествомъ опредѣленій человѣческихъ характеровъ есть одно, которое называется *безхарактерность*, и которое тѣмъ не менѣе объясняетъ, и притомъ очень удовлетворительно, извѣстный разрядъ характеровъ. О Ванѣ мы говоримъ не это; мы указываемъ въ немъ на совершенное отсутствіе характера, такъ какъ эта необходимая принадлежность души въ этомъ воображаемомъ существѣ, называемомъ Ваней, вполнѣ замѣщена стилистикой.—Недостатокъ этотъ чисто-художественный, тонкій. Такъ хорошо ли вы дѣлаете (думаетъ нашъ читатель), что останавливаете мое вниманіе на этихъ тонкостяхъ? Вѣдь намѣренія автора извѣстны: хороши они—ихъ слѣдуетъ одобрять, а нѣтъ—такъ порицать.—Это правда, что они извѣстны и что нѣкоторыя изъ нихъ принадлежатъ къ числу наилучшихъ. Но произведеніе нашего романиста, какъ и всякое произведеніе ума и рукъ человѣка, есть намѣреніе, перешедшее въ дѣло. У китайскихъ генераловъ въ послѣднюю войну были намѣренія, безъ сомнѣнія, самыя патріотическія, и потому достойныя всякой похвалы; они состояли въ томъ, чтобы въ вѣчное поученіе всѣмъ врагамъ серединной имперіи, истребить въ англо-французской арміи до послѣдняго солдата; но если ихъ китайскія превосходительства для исполненія этихъ своихъ намѣреній дѣлали только то, что въ продолженіе тринадцати дней отдавали своимъ провіантскимъ чиновникамъ приказанія—продовольствовать солдатъ, для воспламененія въ нихъ геройскаго духа, поочередно то львиными печенками, то леопардовыми сердцами, то внутренностями другихъ столь же кровожадныхъ звѣрей, то чего они были достойны за такія энергическія мѣры къ спасенію своего отечества: похвалы или порицанія? Намѣренія китайскихъ солдатъ были тѣ-же самыя, вполнѣ достойныя истинныхъ сыновъ отечества; но если они, вмѣсто того, чтобы доконать

враговъ своихъ примѣрною храбростью, хотѣли уничтожить ихъ возбужденіемъ въ нихъ страха, и для этого расписали себѣ рожи, то такой обороны Пекина ни одинъ военный историкъ не назоветъ героическою. То же самое и съ намѣреніями нашего автора. Положимъ, что онъ имѣлъ намѣреніе вдохновить насъ превосходнымъ примѣромъ, показавъ намъ добрѣйшій образъ печальника о своихъ ближнихъ: намѣренію этому никто не можетъ отказать въ благородствѣ. Но если авторъ оставилъ своего печальника при однѣхъ печаляхъ; если, вмѣсто всякихъ силъ, необходимыхъ для такого почтеннаго призванія, вмѣсто высоко развитаго чувства справедливости, вмѣсто непреклоннаго и хорошо направленнаго эгоизма, не терпящаго нарушенія ни своего права ни права ближняго, эгоизма, предполагающаго столь же глубокую любовь, какъ и глубокую ненависть, не устающаго въ борьбѣ, не робѣющаго ни передъ какими неудачами, никогда не теряющаго своей надежды—если, вмѣсто всего этого, авторъ снабдилъ своего печальника одною безцѣльною добротою и сдѣлалъ изъ него зефирота, то мы никакъ не должны обольщать себя, будто такое химерное, хотя и добренькое существо, что-нибудь способно сдѣлать въ этомъ здомъ и реальномъ мірѣ. Такимъ образомъ, доказать, что это существо есть дѣйствительно химерное—становится нашею существенною обязанностію; иначе могутъ найтись робкіе люди, которые еще болѣе перепугаются и получатъ лишнее доказательство, что хорошему человѣку въ этомъ зломъ мірѣ дѣйствительно ничего нельзя сдѣлать; пусть же они видятъ, что авторъ не доказалъ своего положенія.

Точно такъ ни одинъ психологъ, ни одинъ соціальный писатель никогда не подумаютъ сослаться на Наташу Ихменеву, какъ на вѣроятное общественное явленіе, въ подтвержденіе какихъ-нибудь своихъ выводовъ. Романистъ не можетъ получать болѣе лестной награды, чѣмъ какую составляетъ для него подобная ссылка, и лучшіе беллетристы серьезныхъ литературъ ни о чемъ такъ не стараются, какъ говорить въ одинъ тонъ съ наукою и непосредственными наблюденіями всѣхъ мыслящихъ и проницательныхъ людей. Нашъ романистъ, повидимому, старался о томъ же, и это опять дѣлаетъ ему великую честь, и опять, однако, нехорошо, что онъ фельетонный прогрессъ принялъ за настоящій. Нехорошо это

тѣмъ, что ему пришлось доказывать вещь, на которую въ жизни нѣтъ ни малѣйшаго намека, которой по этому случаю, нѣтъ никакой возможности доказать и о которой, потому же самому, можно было наговорить цѣлую бездну всевозможныхъ несообразностей. Автору хотѣлось показать примѣръ эмансипаціи именно въ томъ мѣстѣ, гдѣ совокуплены всѣ мѣры противъ этого величайшаго семейнаго зла: и благопріятное рожденіе въ глуши, и незнаніе дрянныхъ французскихъ романовъ, и всѣ преимущества домашняго примѣра, и отсутствіе всякихъ курьезныхъ бесѣдъ съ людьми фельетоннаго образованія,—словомъ, всѣ условія, при которыхъ самый пылкій темпераментъ подчиняется давленію установившейся нравственности. Воспитательницы должны были бы закрыть свои пансіоны, матери семействъ должны были бы придти въ отчаяніе и считать всѣ свои святыя попеченія о воспитаніи дочерей своихъ трудомъ самымъ неблагодарнымъ и трудомъ совершенно напраснымъ, если бы трудъ этотъ не обезпечивалъ ихъ чести и ихъ спокойствія даже на столько, чтобы устранить отъ нихъ возможность проститься въ одинъ прекрасный вечеръ съ своею дочерью, идущею къ вечернѣ, и узнать потомъ, что она, вмѣсто вечерни, прямо отправилась на особую квартирку...

Мы всѣ знаемъ, что это точно бываетъ; и если такому пассажу суждено было случиться съ Наташей, то автору, въ такомъ случаѣ, не слѣдовало бы скрывать отъ насъ, что она до пріѣзда въ Петербургъ была знакома съ военными офицерами, курила папиросы и была крѣпко убѣждена въ той истинѣ, что „съ милымъ рай и въ шалашѣ“, что мать ея на каждомъ шагу шпиговала ее за неудачную ловлю жениховъ, и что, наконецъ, отецъ ея тянулъ горькую. Но авторъ окружилъ ее ореоломъ порядочности и сдѣлалъ это въ величайшій ущербъ правдоподобію. Наташа сдѣлалась невозможной; для объясненія ея милаго увлеченія остается одинъ только мотивъ—пламенная любовь. Это бываетъ очень хорошо во французскихъ романахъ съ мѣстомъ дѣйствія въ испанской Андалузіи, гдѣ предразсудки цивилизованныхъ странъ не успѣли еще одержать перевѣса надъ непосредственными ощущеніями людей, близкихъ къ природѣ. Мы хоть и не можемъ гордиться своей цивилизаціей, однако на столько удалились отъ непосредственнаго

состоянія, что чувство чести, требованія долга, желаніе прочнаго благосостоянія, выгоды общественнаго положенія и, наконецъ, вся благотворная сила нравственнаго развитія у насъ должны одерживать верхъ надъ мимолетными увлеченіями темперамента. Вотъ другое дѣло, если бы любовь очутилась въ гармоніи со всѣми исчисленными здѣсь благами и требованіями, или даже безъ благъ, съ одними только требованіями и, однако, встрѣтила бы препятствіе въ какой-нибудь условной тираніи, или подверглась испытанію, тогда она и подъ нашимъ свинцовымъ небомъ могла бы явиться силою изумительной энергіи. Мы, русскіе, знаемъ Наталью Долгорукову, которая еще ждетъ своего драматурга. — Но тогда въ романѣ не совершился бы актъ эмансипаціи.—А теперь развѣ онъ совершился? Развѣ романъ не внушилъ, напротивъ, всѣмъ воспитательницамъ, всѣмъ матерямъ семейства той мысли, что онѣ должны истощать надъ зависящими отъ нихъ обожаемыми существами всю свою тиранію, не должны довѣрять ни ихъ доказанному благоразумію, ни ихъ вполнѣ установившимся правиламъ, ни ихъ способности разсуждать и говорить не хуже Цицерона или Квинтиліана (Наташа отчасти синій чулокъ: говоритъ и разсуждаетъ именно такимъ образомъ), не должны довѣрять имъ сдѣлать шагу безъ надзора, иначе пойдутъ и не воротятся, какъ Наташа, то есть воротятся, только не въ свое время, какъ Наташа. Вѣдь въ сущности авторъ пришелъ только къ этому. Мы знаемъ автора за благородно-мыслящаго человѣка и полагаемъ, что онъ пришелъ къ этому невзначай; мы полагаемъ даже,— все на томъ же основаніи,—что его будничный, обыкновенный, не романическій образъ мыслей состоитъ въ томъ, что хоть изъ его Наташи и вышла интересная *униженная и оскорбленная*, но это только въ романѣ; а что въ дѣйствительной жизни ни одно почтенное семейство, даже воспитывающее въ себѣ самыя радикальныя начала, не можетъ такую страницу въ своей семейной хроникѣ считать ни чѣмъ другимъ, какъ роковымъ и величайшимъ злополучіемъ.

— А можетъ быть, онъ и въ романѣ-то хотѣлъ установить именно такой взглядъ на эту страницу семейной хроники Ихменевыхъ?

— Можетъ быть. Только зачѣмъ же онъ это сдѣлалъ? Это и безъ того установившійся взглядъ. И зачѣмъ онъ сдѣлалъ

это такъ темно, натянуто, неправдоподобно, что и разобрать нельзя, что онъ такое сдѣлалъ? Такъ-что въ концѣ всего намъ приходится сказать, что его романъ относится къ тому легкому роду, который вызываетъ на трудное соперничество съ очень извѣстными корифеями легкаго рода, столь изобилующими во французской литературѣ, и что онъ только отдѣлалъ его мѣстными петербургскими колерами, тоже въ общепринятомъ и потому отчасти рутинномъ родѣ, а именно: снялъ на все время своего романа солнышко съ нашего горизонта, почистилъ мелкой атомическаго свойства изморозью, развелъ по улицамъ жижу и, въ заключеніе, свелъ своего героя въ казенную больницу. Бѣдное солнышко! долго-ли тебя будутъ прятать отъ насъ? Бѣдные мы люди! можетъ-ли наша репутація людей, изъѣденныхъ молью, измѣниться прежде, чѣмъ это случится съ петербургскимъ климатомъ? Есть-ли надежда, чтобы она измѣнилась независимо отъ него, или его недостатки будутъ всегда считаться и нашими?

Е. Заринъ.

* * *

*) Недостатки этого романа, которыхъ дѣйствительно много,—неестественность постоянной любви Наташи къ этому отвратительному барченку—вертопраху—плаксѣ Алешѣ, неестественность потакательства имъ обоимъ Ивана Петровича, отсутствіе разнообразія въ языкѣ дѣйствующихъ лицъ, оказывающемся какъ бы сплошь языкомъ самого автора,—все это указано Добролюбовымъ. Я обращу вниманіе собственно на тотъ дѣтскій типъ, который выкупаетъ недостатки романа, на типъ маленькой Нелли. Она познакомилась съ горемъ, быть можетъ, даже короче, чѣмъ Неточка. Ей пришлось быть свидѣтельницей оскорбленнаго положенія своей матери, которую бросилъ мужъ, и отъ которой, за бракъ съ нимъ, отказался отецъ. Испытавъ всѣ возможные виды лишеній и огорченій, она наконецъ умираетъ на рукахъ у малютки дочери, которая остается затѣмъ на попеченіи женщины, едва не доводящей ее до конечной погибели. Но какъ ни много терпѣла отъ нея Нелли, когда ее вырываютъ изъ рукъ этой

*) О. Миллеръ. „Публичныя Лекціи". Спб. 1874 г.

вѣдьмы, дѣвочка готова вернуться къ ней, чтобы только не дать ей новаго повода попрекать свою покойную мать за даровой хлѣбъ: она хочетъ отслужить Бубновой за эти такъ называемыя *благодѣянія* ея страдалицѣ матери,—не думая о томъ, что вѣдьма, съ которою она имѣетъ дѣло, никогда не будетъ считать этого стараго долга уплаченнымъ. Любя самоотверженно людей оскорбленныхъ, благоговѣя предъ самою памятью ихъ, Неточка способна, съ другой стороны, такъ же сильно и глубоко ненавидѣть людей оскорбляющихъ. Еще ребенокъ, она не вѣритъ уже въ безкорыстіе людей, которыхъ не знаетъ: ей кажется, что если ей дѣлаютъ добро—она сейчасъ же должна заплатить за него, чтобы не попрекали. Вотъ чѣмъ объясняется ея образъ дѣйствія съ Иваномъ Петровичемъ, которому она обязана спасеніемъ своимъ отъ Бубновой. За то, когда она окончательно убѣждается въ его сердечной привязанности къ ней, недовѣрчивая холодность сразу обращается у нея въ горячую безграничную привязанность къ этому человѣку, при чемъ въ ея молодую, преждевременно развившуюся душу западаетъ даже и ревность къ другому существу, о которомъ такъ много заботится онъ,—къ Наташѣ. Но когда онъ знакомитъ ее съ исторіей этой Наташи, въ которой она узнаетъ какъ бы повтореніе исторіи своей матери, когда онъ умоляетъ Нелли перейти къ отцу Наташи съ тѣмъ, чтобы размягчить сердце озлобленнаго старика и привести его къ примиренію съ дочерью, Нелли изъявляетъ согласіе. Она забываетъ ревность, возникшую было въ ея душѣ: она подавляетъ въ себѣ и отвращеніе къ отцу Наташи, вызванное его суровостью къ дочери, она съ увлеченіемъ разсказываетъ этому страшному для нея старику (напоминающему ей непреклоннаго ея дѣда), она съ жаромъ не по лѣтамъ разсказываетъ ему исторію своей матери и доводитъ его до того, что онъ съ отверстыми объятіями принимаетъ дочь свою. Но этотъ тяжелый разсказъ окончательно надрываетъ и безъ того уже истерзанное сердце дѣвочки: она, какъ бы тая, умираетъ жертвою могучаго жара, преждевременно переполнившаго ея душу. Но, дѣлаясь жертвой своей способности любить до самоотверженія — любить память матери, а съ тѣмъ вмѣстѣ любить и *чужую*, чуть-чуть не соперницу, изъ-за поразительнаго сходства въ ея судьбѣ съ судьбой матери, Нелли сохраняетъ до конца

и способность безгранично ненавидѣть: она умираетъ, не прощая князя, погубившаго ея мать. А такое совмѣщеніе могучаго чувства съ не менѣе могучею страстью въ ребенкѣ,—это уже, конечно, не забитость личности, а преждевременное развитіе ея до крайнихъ предѣловъ. Послѣ этого намъ приходится окончательно признать вѣрнымъ сужденье Бѣлинскаго, не дождавшагося ни „Неточки" ни „Униженныхъ и Оскорбленныхъ", но какъ бы заранѣе угадавшаго смыслъ и будущихъ произведеній Достоевскаго. Если же другой, не менѣе даровитый и гуманный критикъ, Добролюбовъ, обратилъ вниманіе только на другую сторону этихъ произведеній, совершенную *забитость* большинства дѣйствующихъ въ нихъ лицъ, то это объясняется, надо думать, тѣмъ, что такія *не поддающіяся*, какъ Нелли, преждевременно гаснутъ, или же, если и выдерживаютъ до конца (чѣмъ должна кончить Неточка, мы не знаемъ), то, при всей силѣ самоотверженія, достигаютъ все-таки слишкомъ немногаго для поддержки подобныхъ себѣ „униженныхъ и оскорбленныхъ". Добролюбовъ, въ концѣ своей прекрасной статьи, доискивается причинъ того множества этого рода людей, какое представляетъ намъ жизнь, воспроизводимая Достоевскимъ; но онъ впадаетъ при этомъ въ односторонность, доискиваясь главнымъ образомъ мѣстныхъ причинъ этого печальнаго явленія. Вопросъ, между тѣмъ, несравненно глубже: „униженные и оскорбленные", вслѣдствіе самаго своего положенія на нижнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы, составляютъ явленіе не только мѣстное, но и обще-европейское, обще-человѣческое. Глупо и безнравственно было бы, разумѣется, утѣшать себя этимъ: будь явленіе только мѣстнымъ,—противъ него бы скорѣе могли быть отысканы мѣры, ему бы скорѣе возможно было положить конецъ; явленіе же всеобщее, противъ котораго тщетно испытываетъ разныя мѣры весь образованный міръ, должно корениться такъ глубоко, что невольно подрывается вѣра въ возможность искорененія. Повсемѣстность „униженныхъ и оскорбленныхъ", существованіе ихъ въ самыхъ „благоустроенныхъ" обществахъ объясняется тѣмъ, что нѣтъ еще во всемъ образованномъ мірѣ страны, гдѣ бы была дѣйствительно ограничена власть величайшаго изъ тирановъ—капитала! Повсемѣстность такого явленія и доводила многихъ глубокихъ мыслителей до крайняго пессимизма и мизантро-

ніи, до той мизантропіи, въ которой нерѣдко слышится гораздо болѣе любви къ человѣчеству, чѣмъ въ различныхъ идеальныхъ теоріяхъ: вѣдь онѣ такъ удобно приводятъ къ конечному благу и къ вѣрѣ въ достоинство человѣка, потому что создаются въ комфортабельномъ кабинетѣ, послѣ обильнаго гастрономическаго стола!"

О. Миллеръ.

* * *

Вотъ еще отзывъ о Нелли съ психопатологической точки зрѣнія, принадлежащій Вл. Чижу:

*) „Достоевскій четыре раза изображалъ эпилептиковъ: Нелли (*Униженные и Оскорбленные*), *Идіотъ*, Кириловъ (*Бѣсы*), Смердяковъ (*Братья Карамазовы*). Было бы странно, если бы Достоевскій ограничился однимъ упоминовеніемъ о припадкахъ или простымъ ихъ описаніемъ. Онъ единственный изъ художниковъ, описавшій особенности психической организаціи эпилептиковъ, субъективныя явленія предвѣстниковъ предъ припадками.

Всѣ четыре эпилептика Достоевскаго душевно больные; о томъ какъ часто эпилептическіе припадки комбинируются съ психическимъ разстройствомъ, мы имѣемъ статистическія изслѣдованія. Рейнольдъ-Руссель нашелъ, что у 62% эпилептиковъ цѣлость психическихъ отправленій оказывается нарушенною. Тотъ общеизвѣстный фактъ, что нѣкоторые эпилептики обладали геніальными способностями, отнюдь не противорѣчитъ тому, что въ психическомъ складѣ этихъ больныхъ почти всегда замѣчаются нѣкоторыя патологическія особенности.

Въ проявленіяхъ болѣзни у четырехъ эпилептиковъ Достоевскаго много разнообразія, и безъ натяжки можно сказать, что подъ эти четыре типа можно подвести всѣ модификаціи этой болѣзни.

Наиболѣе слабо выражено болѣзненное состояніе у Нелли; у ней наблюдался такъ называемый эпилептическій характеръ. Достоевскій такъ ясно очертилъ особенности этого характера, что характеристку Нелли прямо можно взять изъ

*) Вл. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ". Москва, 1885 г. и „Русскій Вѣстникъ" 1884 г., № 5 и 6.

любого современнаго учебника психіатріи. Нужно только прибавить, что въ то время, когда написана была эта повѣсть, въ психіатріи далеко не былъ такъ точно и полно опредѣленъ эпилептическій характеръ, какъ теперь, и Достоевскій до извѣстной степени опередилъ науку.

Крафтъ-Эбингъ (*Учебникъ психіатріи*, томъ II, стр. 126) такъ опредѣляетъ эпилептическій характеръ: „Сюда принадлежатъ прежде всего ненормальная раздражительность чувствъ (Нелли по ничтожному поводу выходила изъ себя), капризный, прихотливый характеръ (напримѣръ, три раза выплескивала лекарство), переходящій изъ одной крайности въ другую (потомъ плакала, просила прощенія и старалась угодить доктору и Ивану Петровичу), изъ странной экзальтаціи съ болѣзненною усиленною волею (чтобы купить новую, вмѣсто разбитой ею чашки, пошла на улицу просить милостыню, умѣла найти квартиры знакомыхъ Ивана Петровича) въ психическое угнетеніе съ угрюмостью, ипохондрическимъ и вообще мрачнымъ настроеніемъ (таково было обычное настроеніе Нелли, пока она жила въ квартирѣ Ивана Петровича), навязчивыми идеями (у Нелли ихъ не было, вообще у дѣтей онѣ бываютъ крайне рѣдко), умственною апатіей и усталостью (несмотря на все желаніе Ивана Петровича, онъ ничѣмъ не могъ ее занять; чтеніе, вначалѣ ее занявшее, она скоро бросила), колебаніемъ и душевнымъ томленіемъ при маловажныхъ случаяхъ (напримѣръ, почему она разбила чашку и что она потомъ дѣлала), боязливостью (она пугалась всѣхъ новыхъ лицъ), и въ особенности постоянно недовѣрчивый (ни Иванъ Петровичъ ни кто другой не могъ возбудить ея довѣрія), замкнутый (она ни съ кѣмъ не дѣлилась своими мыслями), нелюдимый, постоянно своенравный и обидчивый (она безо всякаго повода убѣгала отъ Ивана Петровича, бывшаго относительно ея крайне снисходительнымъ, и искала пріюта у чужихъ людей), не терпящій никакихъ противорѣчій, неспособный приноравливаться къ даннымъ окружающимъ условіямъ, характеръ, благодаря которому больные сплошь и рядомъ являются въ роли семейныхъ тирановъ (несмотря на всю доброту Ивана Петровича, она стала ему въ тягость), мизантроповъ (Нелли ни къ кому не привязалась) и не надежныхъ друзей“.

Но это определеніе Крафта-Эбинга есть результатъ совокупной наблюдательности многихъ; Достоевскій же одинъ сказалъ, не сдѣлавъ ни одного невѣрнаго штриха“.

В. Чижъ.

* * *

Въ заключеніе посмотримъ, какъ Ѳ. М. Достоевскій самъ отзывается о своемъ романѣ „Униженные и Оскорбленные“. По поводу письма Аполлона Григорьева изъ Оренбурга къ Н. Страхову, Достоевскій между прочимъ говоритъ:

*) „Слова Григорьева: „Слѣдовало не загонять какъ почтовую лошадь высокое дарованіе О. Достоевскаго, а холить, беречь его и удерживать отъ фельетонной дѣятельности, которая его окончательно погубитъ и литературно и физически“...—никоимъ образомъ не могутъ быть обращены въ упрекъ моему брату, любившему меня, цѣнившему меня, какъ литератора, слишкомъ высоко и пристрастно, и гораздо болѣе меня радовавшемуся моимъ успѣхамъ, когда они мнѣ доставались. Этотъ благороднѣйшій человѣкъ не могъ употреблять меня въ своемъ журналѣ, какъ почтовую лошадь. Въ этомъ письмѣ Григорьева очевидно говорится о романѣ моемъ: „Униженные и Оскорбленные“, напечатанномъ тогда во „Времени“. Если я написалъ фельетонный романъ (въ чемъ сознаюсь совершенно), то виноватъ въ этомъ я и одинъ только я. Такъ я писалъ и всю мою жизнь, такъ написалъ все, что издано мною, кромѣ повѣсти „Бѣдные люди“ и нѣкоторыхъ главъ изъ „Мертваго Дома“. Очень часто случалось въ моей литературной жизни, что начало главы романа или повѣсти было уже въ типографіи и въ наборѣ, а окончаніе сидѣло еще въ моей головѣ, но *непремѣнно* должно было написаться къ завтраму. Привыкнувъ такъ работать, я поступилъ точно также и съ „Униженными и Оскорбленными“, но никѣмъ на этотъ разъ не принуждаемый, а по собственной волѣ моей. Начинавшемуся журналу, успѣхъ котораго мнѣ былъ дороже всего, нуженъ былъ романъ, и я предложилъ романъ въ четырехъ частяхъ. *Я самъ* увѣрилъ брата, что весь планъ у меня давно сдѣланъ (чего не было), что писать мнѣ будетъ легко, что первая часть уже напи-

*) „Эпоха“ 1864 г.. № 9.

сана и т. д. Здѣсь я дѣйствовалъ не изъ-за денегъ. Совершенно сознаюсь, что въ моемъ романѣ выставлено много куколъ, а не людей, что въ немъ ходячія книжки, а не лица, принявшія художественную форму (на что требовалось дѣйствительно время и *выноска* идей въ умѣ и въ душѣ). Въ то время какъ я писалъ, я, разумѣется, въ жару работы, этого не сознавалъ, а только развѣ предчувствовалъ. Но вотъ что я зналъ навѣрно, начиная тогда писать: 1) что хоть романъ и не удастся, но въ немъ будетъ поэзія, 2) что будетъ два—три мѣста горячихъ и сильныхъ, 3) что два наиболѣе серьезныхъ характера будутъ изображены совершенно вѣрно и *даже* художественно. Этой увѣренности было съ меня довольно. Вышло произведеніе дикое, но въ немъ есть съ полсотни страницъ, которыми я горжусь. Произведеніе это обратило, впрочемъ, на себя нѣкоторое вниманіе публики. Конечно, я самъ виноватъ въ томъ, что всю жизнь такъ работалъ и соглашаюсь, что это очень нехорошо, но...

Да проститъ мнѣ читатель эту рацею о себѣ и о „*высокомъ дарованіи*“ моемъ, хотя бы въ томъ уваженіи, что я первый разъ въ жизни заговорилъ теперь самъ о своихъ сочиненіяхъ. Но повторяю, въ фельетонствѣ моемъ я самъ былъ виноватъ и никогда, никогда благородный и великодушный братъ мой не мучилъ меня работой... Добрый Аполлонъ Александровичъ, съ которымъ я сошелся гораздо ближе впослѣдствіи, всегда слѣдилъ за моей работой съ горячимъ участіемъ, и это объясняетъ его слова. Онъ только не зналъ на этотъ разъ, въ чемъ дѣло.“ *)

Ѳ. Достоевскій.

---

*) Еще можно указать на критическія статьи: Евг. Туръ („Русская Рѣчь“ 1861 г., № 89); А. Пятковскаго („Сѣверная Пчела“ 1861 г., № 176) и статью въ „Сынѣ Отечества“ за 1861 г., № 37.

„ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА“.

(1861 г.) *).

**) Кому не случалось видѣть на большой дорогѣ или даже на городскихъ улицахъ толпы людей, въ сѣрыхъ курткахъ и шинеляхъ, съ бритыми головами, которые въ сопровожденіи конвойныхъ солдатъ и повозокъ бредутъ, тяжело передвигая скованныя ноги? Кто не знаетъ, что эти сѣрыя толпы постоянно направляются къ востоку и почти никогда не возвращаются въ обратномъ направленіи? Кто не слыхалъ, что эти преступники или, какъ говоритъ нашъ народъ, несчастные, наказанные закономъ, которые, простясь съ родиной, могилами отцовъ и колыбелями дѣтей, идутъ въ Сибирь, гдѣ однихъ ждетъ новая трудовая жизнь, а другихъ каторжная работа, болѣе или менѣе продолжительная! Все это намъ хорошо извѣстно.

Но многіе-ли знаютъ отчетливо, что это за преступники или несчастные, какія совершили они преступленія и при какихъ обстоятельствахъ, что такое эта каторга и какая въ ней ожидаетъ ихъ жизнь? Вѣроятно, при этой мысли мы отвѣтимъ, что каторжные не что иное, какъ убійцы и разбойники, осужденные на дальнее поселеніе или на работы въ сибирскихъ рудникахъ. Вотъ все, что извѣстно объ этомъ большинству нашей публики. Да откуда же намъ и узнать это подробнѣе и яснѣе? Толпы каторжныхъ, постоянно двигаясь на востокъ, остаются за Ураломъ, и рѣдко кто возвращается изъ-за этой каменной стѣны. Свободные люди, уѣзжающіе въ Сибирь на службу или по промысламъ, если и встрѣчаютъ

---

*) Первоначально напечат. въ журналѣ „Время“ 1861 г., кн. 4, 9—11; 1862 г., кн. 1—3, 5 и 12.

**) А. Милюковъ. „Свѣточъ“ 1861 г., № 5. Также и отдѣльн. изд. „Отголоски на литературныя и общественныя явленія“. А. Милюковъ.

поселенцевъ, освобожденныхъ изъ каторги, то узнаютъ отъ нихъ очень немногое, потому что эти люди неохотно говорять о своихъ минувшихъ несчастіяхъ или не знаютъ, что именно сказать и на что указать.

Еще жизнь уволенныхъ отъ работъ поселенцевъ доступна для посторонняго наблюдателя, и мы встрѣчали въ нашей литературѣ очерки этого быта, нерѣдко довольно вѣрные и полные. Но самая каторга, ея жизнь и нравы, составъ ея страшнаго общества—оставались для насъ рѣшительно недоступною terra incognita. До сихъ поръ у насъ не было Данта, который самъ спустился бы въ эти вертепы преступленія и страданій, приглядѣлся къ страшнымъ сценамъ этого чистилища и ада, изучилъ нравы и бытъ этихъ непогребенныхъ мертвецовъ и передалъ намъ это въ полной и живописной картинѣ. Первымъ сочиненіемъ по этому предмету даритъ нашу литературу Ѳ. М. Достоевскій въ своихъ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“. Съ первыхъ страницъ его книги вы входите въ міръ совершенно новый и неизвѣстный, слѣдите за разсказчикомъ съ напряженнымъ любопытствомъ и участіемъ. Это одно изъ такихъ сочиненій, которыя приковываютъ ваше вниманіе поразительной свѣжестью впечатлѣнія, точно книга какого-нибудь Ливингстона, сообщающаго открытія въ незнакомомъ и любопытномъ мірѣ, съ тою разницею, что англійскій путешественникъ разсказываетъ о странахъ, хотя до сихъ поръ таинственныхъ, но все-же не совсѣмъ недоступныхъ, между тѣмъ какъ авторъ „Мертваго Дома“ знакомитъ насъ съ другимъ, можно сказать, загробнымъ свѣтомъ, въ который не ступала нога писателя или изъ котораго она еще не выходила.

Картина Мертваго Дома, или каторжнаго острога, въ который вводитъ насъ Достоевскій, поразительна своей новостью и страшной правдою.

Съ самыхъ далекихъ временъ народная фантазія или воображеніе поэтовъ представляли намъ адъ, какъ мѣсто вѣчной казни, на которую обрекаетъ небесное правосудіе за преступленія и злодѣйства. Вспомните тартаръ древнихъ грековъ, окруженный пламеннымъ Флегетономъ, гдѣ Танталъ изнываетъ въ неутолимой жаждѣ, Сизифъ вѣчно катитъ на гору свой камень и Данаиды осуждены на страшно безплодный трудъ наливать бездонную бочку. Вспомните Адъ Данта, съ

его безконечными изгибами, гдѣ преступники закованы въ никогда не тающіе льды, захлебываются въ удушливо-смрадномъ болотѣ и гдѣ Уголино вѣчно вгрызается окровавленными зубами въ черепъ Руджіеро. Вспомните, наконецъ, хаотическій Адъ Байрона, на блуждающей кометѣ, полный мукъ въ одномъ существованіи безъ свѣта и жизни, безъ страстей и даже страданій, въ одной призрачной и томительной безличности. Передъ этими страшными картинами вы останавливаетесь съ трепетомъ и жалостью, съ негодованіемъ на порокъ и укоризною на жестокость суда.

Такія-же чувства пробудили въ насъ и „Записки изъ Мертваго Дома“. По мѣрѣ чтенія, намъ казалось, что Достоевскій, точно Виргилій, ведетъ насъ въ какой-то страшный міръ страданій, въ какой-то новый адъ, только не фантастическій, а дѣйствительный, и показываетъ намъ такія-же преступленія и страданія, но тѣмъ болѣе ужасныя, что это не вымыселъ поэта, а голая правда.

Какъ при входѣ Дантова Ада вы встрѣчаете страшную надпись: lasciate ogni speranza, voi ch'entrate, такъ и здѣсь съ первымъ шагомъ въ каторжный острогъ авторъ говоритъ вамъ: „надобно полагать, что нѣтъ такого преступленія, которое бы не имѣло здѣсь своего представителя“. И посмотрите, какая мрачная картина открывается вамъ за острожнымъ частоколомъ, среди этого отверженнаго общества. Какъ въ изворотахъ Дантова Ада, въ Мертвомъ домѣ три отдѣла: первый слой составляютъ каторжные военнаго разряда, не лишенные правъ состоянія и присланные на короткіе сроки въ чистилище, изъ котораго они выходятъ въ сибирскіе батальоны; ко второму принадлежатъ ссыльно-каторжные разряда гражданскаго, присылаемые на сроки отъ восьми до двѣнадцати лѣтъ, послѣ чего они обращаются въ поселенцы по волостямъ, гдѣ иныхъ ждетъ, можетъ быть, и спокойная жизнь. Наконецъ, въ послѣднемъ слоѣ этого ада есть особое отдѣленіе, называемое „всегдашнимъ“, куда поступаютъ преступники, обреченные на безсрочныя работы и называющіе себя *вѣчными*. Всѣ живутъ въ общихъ казармахъ—и разбойники по натурѣ, и убійцы по ремеслу, и преступники невзначай, и злодѣи изъ фанатизма, и несчастные, которыхъ натолкнулъ на преступленіе случай, и страдальцы, виновные только въ несходствѣ своего образа мыслей съ убѣжденіями общественной силы и власти. Все это

лица мрачныя, почти всегда молчаливыя, въ отверженномъ костюмѣ: у однихъ половина куртки темнобурая, а половина сѣрая, у другихъ вся куртка сѣрая, а рукава темнобурые. Днемъ шумъ, гамъ, хохотъ, ругательства, звукъ цѣпей, чадъ и копоть, бритыя головы, клейменныя лица, лоскутныя платья; ночью сонный говоръ и бредъ, въ которомъ слышатся воровскія слова, ножи, топоры. Отвращеніе и ненависть къ работѣ, воровство, шпіонство и доносы, безпрестанныя наказанія, контрабандная торговля виномъ, ростовщичество—„вотъ узы страшнаго семейства“. И какая жизнь: постель на трехъ доскахъ грязныхъ наръ, щи съ огромнымъ количествомъ тараканов, по ночамъ азартныя игры, иногда пьяный арестантъ, въ одинъ праздникъ пропивающій деньги, накопленныя въ цѣлые мѣсяцы, и въ этой толпѣ изъ двухъ-сотъ-пятидесяти человѣкъ пришлецы со всѣхъ концовъ Россіи: раскольники, поляки, черкесы, татары,—въ буквальномъ смыслѣ самая разнородная смѣсь

Племенъ, нарѣчій, состояній!

Не правда-ли, что эта картина ничѣмъ не уступаетъ страшной картинѣ Ада, созданнаго Дантомъ? Не кажется-ли она даже вымысломъ мрачной фантазіи, похожденіемъ ужаснаго настроенія духа, въ которомъ поэтъ хотѣлъ нарисовать намъ самыя страшныя картины нечеловѣческо-уродливой жизни? И не становится-ли еще ужаснѣе эта картина, когда мы знаемъ, что она не въ глубинѣ преисподней, а на поверхности земли, въ нашемъ божьемъ мірѣ, освѣщенномъ солнцемъ, наполненномъ благоуханіемъ цвѣтовъ; что это не безтѣлесныя тѣни отжившихъ, а живые люди съ плотью и кровью, которые хоть и умерли нравственно, но еще живутъ тѣломъ головою и даже сердцемъ? Не поучительно-ли заглянуть въ печальный міръ этихъ людей, оторванныхъ отъ общества преступленіемъ, совершеннымъ подъ различными психическими условіями, при различіи темпарамента, воспитанія, жизненной обстановки, нравственныхъ началъ или противорѣчія съ общественными законами? Не любопытно-ли всмотрѣться въ это общество, сведенное и поддерживаемое въ принужденной работѣ, составленное изъ существъ съ исключительными страстями и надеждами? И Достоевскій представляетъ намъ рядъ портретовъ, чрезвычайно разнообразныхъ и типичныхъ.

Вотъ страшный разбойникъ Газинъ, который не разъ бѣгалъ, перемѣнялъ имя и попалъ въ „особое отдѣленіе“. Про него разсказывали, что онъ заведетъ ребенка, напугаетъ, измучаетъ его, и, насладившись вполнѣ трепетомъ маленькой жертвы, зарѣжетъ ее медленно. Вотъ злодѣй Орловъ, уличенный во многихъ убійствахъ. Пройдя сквозь строй половину назначеннаго числа палокъ, онъ возвращается съ опухлой спиною кроваво-синяго цвѣта, и торопится выписаться изъ лазарета, чтобы совсѣмъ покончить съ наказаніемъ. „Выхожу остальное число ударовъ, говоритъ онъ товарищамъ, и тотчасъ-же отправятъ въ Нерчинскъ, а я-то съ дороги бѣгу, непремѣнно бѣгу, только бы спина зажила!“ Вотъ шестидесятилѣтній благодушный старичекъ изъ старообрядцевъ вѣтковцевъ, сосланный за поджогъ построенной правительствомъ единовѣрческой церкви. А вотъ Сироткинъ, кроткій юноша, который до того не взлюбилъ солдатской жизни, что рѣшился посредствомъ убійства выйти изъ нея въ безсрочно каторжную работу. А наивный Акимъ Акимовичъ, который, будучи офицеромъ на Кавказѣ, зазвалъ къ себѣ мятежнаго князька, разстрѣлялъ его по собственному усмотрѣнію и обстоятельно донесъ о своемъ распоряженіи начальству. А трое братьевъ дагестанцевъ, сосланные за разбой на большой дорогѣ—и особенно Алей, возбуждающій состраданіе, какъ грустная тѣнь Франчески посреди Дантова Ада.

Безъ сомнѣнія, все это преступники, болѣе или менѣе уклонявшіеся отъ настоящаго общественнаго порядка, и никакіе современные законы не оставили бы ихъ безъ наказанія. Но здѣсь невольно являются вамъ вопросы, хотя, можетъ быть, и не новые, но однакожъ и далеко не рѣшенные.

При первомъ взглядѣ на страшную картину острога, вамъ приходитъ мысль: какъ можетъ сжиться съ такимъ мѣстомъ человѣкъ, брошенный сюда изъ быта достаточной жизни, не за злодѣйство противоестественное, но по тѣмъ обстоятельствамъ, вслѣдствіе которыхъ русскій народъ такъ гуманно даетъ ссыльнымъ знаменательное названіе несчастныхъ? Авторъ рѣшаетъ этотъ вопросъ живучестью человѣка, говоря, что это—существо ко всему привыкающее. И читая Записки г. Достоевскаго, дѣйствительно готовъ согласиться съ этимъ остроумнымъ опредѣленіемъ. Далѣе вы спрашиваете: неужели въ этомъ земномъ аду все должно быть подведено въ одну

ихъ будущую судьбу. Это немного удивило насъ. У автора „Бѣдныхъ Людей“ мы находили прежде любовь къ деталямъ, къ анализу сердца и характера въ чертахъ мелкихъ и тонкихъ; здѣсь мы видимъ совершенно иной пріемъ—умѣнье въ немногихъ, но крупныхъ чертахъ представлять полный и оконченный образъ. И по нашему мнѣнію, это больше удается Достоевскому. Мы знаемъ его Макара Алексѣевича такъ, какъ будто бы передъ нами было разсѣчено его сердце и всякое біеніе его повторилось нѣсколько разъ, но процессъ этого анатомическаго анализа утомляетъ; здѣсь безъ всякаго напряженія вы узнаете человѣка во всей полнотѣ его натуры. Немногими взмахами карандаша Достоевскій рисуетъ намъ Орлова, Газина, Акима Акимыча, Стародубскаго старичка, а мы знаемъ ихъ такъ, какъ будто сами прожили съ ними цѣлые годы.

Съ перваго взгляда чтеніе записокъ изъ „Мертваго Дома“ можетъ поразить нѣкоторой безпорядочностью изложенія: авторъ нерѣдко начинаетъ какой-нибудь очеркъ ex-abrupto, дѣлаетъ рѣзкіе переходы отъ одного предмета къ другому и снова возвращается къ первому, многое не оканчиваетъ, иное повторяетъ, чтобы прибавить нѣкоторыя черты къ набросанной прежде картинѣ или образу, очень часто говоритъ: „объ этомъ скажу послѣ, это разскажу впослѣдствіи“. Въ другомъ сочиненіи это могло бы показаться недостаткомъ; въ „Мертвомъ Домѣ“ такіе пріемы не только не вредятъ сочиненію, но вполнѣ гармонируютъ съ его содержаніемъ: поддерживая васъ постоянно въ какомъ-то раздраженномъ состояніи, эта манера только усиливаетъ впечатлѣніе, произведенное хаотической картиной острога. Здѣсь обыкновенная стройность противорѣчила бы всей обстановкѣ каторжной жизни.

Скажемъ въ заключеніе, что „Записки изъ Мертваго Дома“, по нашему крайнему разумѣнію, ожидаетъ огромный успѣхъ,—не въ большинствѣ журнальной критики, умѣющей только отрыгать жвачку того, что поднесено ей наканунѣ, а не сегодня, но между нашей публикой, въ которой еще Бѣлинскій подмѣтилъ инстинктъ угадывать свѣжее и здоровое въ литературѣ, не по указанію присяжныхъ аристарховъ, а по собственному живому чутью. Явленія, подобныя „Мертвому Дому“ Достоевскаго—не минутныя эфемериды, порожденныя какимъ-нибудь мгновеннымъ интересомъ или увлеченіемъ, а

сочиненія, которыя живутъ и не умираютъ въ литературѣ, какъ памятники своего вѣка и общества. „Записки изъ Мертваго Дома“, безъ сомнѣнія, переживутъ и самые мертвые дома, которые должны перестроиться до основанія съ успѣхами просвѣщенія и обобщеніемъ идей о человѣческомъ достоинствѣ.

А. Милюковъ.

* * *

*) „Записки изъ Мертваго Дома“ принадлежатъ къ числу тѣхъ безхитростныхъ книгъ, которыя, не предъявляя никакихъ особенныхъ претензій, касаются, однако предметовъ, въ высшей степени способныхъ занимать человѣческое вниманіе. Если новизна предмета, толковое обращеніе съ нимъ могутъ придавать интересъ книгѣ, то „Записки изъ Мертваго Дома“, безспорно, интересная книга. Судьба тѣхъ несчастныхъ, тѣхъ клейменыхъ отверженниковъ общества, о которыхъ идетъ рѣчь въ этой книгѣ, давно уже въ наиболѣе развитыхъ человѣческихъ обществахъ обращаетъ на себя самое всестороннее вниманіе, и не только вызвала очень много гуманныхъ и возвышенныхъ чувствъ и помысловъ, дѣлающихъ честь человѣчеству, но и подверглась улучшеніямъ, вполнѣ сообразнымъ съ духомъ вѣка, въ которомъ мы живемъ. У насъ судьбою этихъ несчастныхъ пишущіе люди занимались до сихъ поръ—и чрезвычайно мало и только съ самаго недавняго времени—лишь съ одной чисто внѣшней стороны: все, что мы имѣемъ, это нѣсколько высказанныхъ указаній на то, что эти несчастные подвергаются нѣкоторымъ совершенно излишнимъ и ни для кого ненужнымъ страданіямъ въ ихъ временныхъ тюрьмахъ въ продолженіе ихъ безконечной подсудности и, особенно, въ продолженіе не менѣе безконечнаго пѣшеходнаго слѣдованія ихъ къ мѣсту ссылки, страданіямъ, отъ которыхъ было бы справедливо и очень возможно ихъ избавить. Глубже этого мы еще не успѣли проникнуть въ предметъ. Не мудрено. Такой предметъ, какъ клейменые каторжники, по необходимости, долженъ стоять во всякомъ человѣческомъ обществѣ на самой далекой очереди, такъ какъ онъ требуетъ отъ людей слишкомъ большого развитія ума и сердца, чтобы сдѣлаться тревожнымъ

*) Е. Зарнинъ. „Библіотека для Чтенія“ 1862 г., № 9.

для ихъ совѣсти. Поэтому, въ нашемъ равнодушіи къ предмету такого великаго интереса, мы не видимъ благопріятнаго случая къ тому, чтобы обратиться съ укорами къ нашему обществу и къ нашей литературѣ. Если бы быть просвѣщенными и гуманными или оставаться невѣжественными и варварскими—зависило отъ выбора народовъ, тогда, конечно, тутъ было бы мѣсто самымъ энергическимъ укоризнамъ. Но количество просвѣщенія и гуманности, которымъ обладаетъ извѣстный народъ, опредѣляется его историческою судьбою, измѣряется продолжительностію его цивилизаціи и всего менѣе зависитъ отъ его произвола. Что бы ни разсказывалось о патріархальныхъ достоинствахъ нашихъ предковъ и объ ихъ любовномъ житіи, но мы со всею точностію можемъ опредѣлить то не очень еще давнее время, когда эти патріархальные люди отличались такимъ жестокосердіемъ, что оставались совершенно хладнокровными при видѣ того, какъ ихъ ближнему за самый сущій вздоръ, даже за одно подозрѣніе въ какомъ-нибудь вздорѣ, отрѣзывали языкъ, давали проглотить растопленнаго металла, или прицѣпляли его желѣзными крючьями за ребра, ставили голыми ногами на раскаленныя жаровни и т. п. Такія жестокости на нашъ взглядъ представляются злодѣйствомъ, превышающимъ всякое другое злодѣйство, за какое только человѣкъ можетъ попасться въ руки правосудія, и мы, въ сравненіи съ нашими недавними предками, можемъ считать себя гуманнѣйшими изъ людей. Если мы, въ свою очередь, за нѣкоторыя черты нашихъ нравовъ представляемся еще полуварварами для теперешнихъ передовыхъ народовъ, то это значитъ только, что эти передовые народы отдѣляются отъ своихъ варварскихъ предковъ болѣе длиннымъ рядомъ поколѣній, чѣмъ мы отъ своихъ. Въ этомъ сопоставленіи насъ съ передовыми народами для насъ нѣтъ ничего пріятнаго, но мы все-таки указываемъ на него не для укоризны, а скорѣе для нашего оправданія. Оно, съ тѣмъ вмѣстѣ, выясняетъ для насъ фактъ, предъ которымъ мы должны смириться, сознавши настоящую степень своихъ успѣховъ въ нашемъ человѣческомъ развитіи. Общество часто слышитъ голоса — особенно съ недавняго времени — успокоительные для его statu quo и возвышаемые съ безпощадною бранью противъ достойныхъ людей, которые не умѣютъ видѣть его недостатковъ въ розовомъ свѣтѣ. Оно должно знать, что это

голоса—сирены, пропитанные квинтъ-эссенціей мака, манд рагоры и опіума. Ихъ такъ же опасно слушать какъ, на примѣръ, напиваться пьянымъ для забвенія горя. Къ счастію намъ, во всякую данную минуту, очень легко сдѣлать повѣрку надъ собою—посредствомъ сличенія; если бы общества, имѣющія высшій уровень развитія и потому лучше устроенныя, существовали только въ теоріи, тогда относительно собственныхъ нашихъ совершенствъ или недостатковъ были бы возможны самыя жаркія контраверсіи; но такія общества существуютъ на самомъ дѣлѣ, и потому всѣ наши обольщенія собственными достоинствами могутъ быть разсѣяны самыми положительными аргументами.

Обращаясь къ нашему предмету, то есть—къ судьбѣ клеймeныхъ каторжниковъ, мы должны признаться, что насъ не начинали тревожить, даже и смутнымъ образомъ, такіе вопросы:—что такое преступленіе: умышленная вражда противъ общества, т. е. злодѣйство ли чисто-на-чисто, или отчасти личное несчастіе преступника?—Что такое преступникъ: преднамѣренный злоумышленникъ противъ общества или отчасти жертва извѣстныхъ соціальныхъ условій?—Изъ какого принципа должно проистекать наказаніе: изъ того ли, что оскорбленному обществу нужна безпощадная месть, которая должна преслѣдовать преступника и за предѣлами его политической смерти, или изъ того, что обществу нужна только безопасность, которая вполнѣ гарантируется отверженіемъ преступника отъ общества и уже не нуждается въ дальнѣйшемъ преслѣдованіи его?

Книга нашего автора не поднимаетъ этихъ вопросовъ прямо; какъ произведеніе чисто беллетристическое, она не имѣетъ ничего общаго съ правильной теоретической аргументаціей. Тѣмъ не менѣе она вращается именно около этихъ вопросовъ и подвергаетъ вашъ умъ и ваше сердце къ рѣшенію ихъ въ гуманномъ духѣ. Авторъ избралъ благую часть: онъ не доказываетъ, а разсказываетъ, и на томъ держится, главнымъ образомъ, интересъ его книги. И точно всякій разъ, какъ только авторъ пытается сдѣлать выводъ изъ своихъ же собственныхъ наблюденій, онъ тотчасъ вызываетъ на споръ; теоретическія соображенія его вообще слабы и отзываются тѣмъ болѣзненнымъ расплывающимся гуманизмомъ, изъ котораго никакая правительственная мудрость не въ состояніи

извлечь ничего примѣнительнаго къ практикѣ. Но авторъ рѣдко пускается въ такія соображенія. Онъ, большею частію, остается только разсказчикомъ и наблюдателемъ. Онъ знакомитъ васъ съ потрясающими подробностями жизни, которой вы не знали по слухамъ,—потому что изъ „Мертваго Дома" не выходитъ и слуховъ; онъ даетъ вамъ проникать въ самыя мрачныя глубины человѣческой совѣсти и, на первый взглядъ, не имѣетъ другого побужденія, кромѣ внутренняго интереса, заключающагося въ томъ, о чемъ онъ разсказываетъ...

Десять лѣтъ постоянныхъ впечатлѣній, чувствъ и мыслей, испытанныхъ въ этомъ жилищѣ заживо погребенныхъ людей, десять лѣтъ наблюденія надъ этими отверженниками общества во время ихъ работъ, отдыховъ, развлеченій, при взаимныхъ столкновеніяхъ ихъ между собою, въ состояніи сна и безсонницъ, въ больницахъ, при упадкѣ всѣхъ силъ и обольщеніи себя несбыточными надеждами, въ минуты сердечной исповѣди и въ порывахъ звѣриной злобы, на виду страшныхъ наказаній и во время самаго исполненія ихъ,—десять лѣтъ наблюденія надъ каторжниками въ такихъ разнообразныхъ положеніяхъ и составляетъ содержаніе „Записокъ изъ Мертваго Дома". Кажется, тутъ нельзя пожаловаться на то, чтобы предметъ не былъ достоинъ человѣческой любознательности, принимаемой даже въ смыслѣ простого любопытства. И прежде всего нашей любознательности представляется вопросъ, возбуждаемый авторомъ почти на первыхъ страницахъ: какъ смотрятъ эти мрачныя совѣсти на тѣ преступленія, которыя тяготѣютъ на нихъ? да еще тяготѣютъ ли на нихъ преступленія? То есть: доступны ли эти совѣсти какому-нибудь самоосужденію?—Есть мнѣніе, по которому преступники будто бы считаютъ себя протестаторами противъ того общественнаго порядка, при которомъ преступленія должны считаться неизбѣжными, и что поэтому, на собственный взглядъ они всегда представляются правыми. Чрезвычайно любопытно и въ высшей степени важно знать, справедливо ли это мнѣніе и точно ли оно есть мнѣніе воровъ и убійцъ о самихъ себѣ? Если грабежъ и убійство составляютъ сознательный протестъ, если каждый воръ и убійца есть въ то же время человѣкъ системы или фанатикъ, дѣйствующій по убѣжденію, тогда громадное большинство общества, не ворующее и не убивающее, должно видѣть въ ворахъ

и убійцахъ такихъ людей, которыхъ оно осуждаетъ и наказываетъ безъ всякаго другого права, кромѣ права сильнаго,— это съ одной стороны; а съ другой,—если мы перестанемъ видѣть въ ворахъ и убійцахъ существа падшія, доведенныя до своего паденія всего менѣе силою обдуманности и всего болѣе силой внѣшнихъ обстоятельствъ, можетъ быть, дѣйствительно обусловленныхъ общественнымъ устройствомъ, и если мы, взамѣнъ такого взгляда, проникнемся убѣжденіемъ, что воръ и убійца есть человѣкъ партіи и что онъ и самъ смотритъ на себя, какъ на такого, тогда всякое филантропическое чувство къ судьбѣ преступника, чувство— извѣстное всякому человѣку, вышедшему изъ дикаго состоянія, должно казаться жалкою и неумѣстною сантиментальностію, по крайней мѣрѣ—неумѣстной до тѣхъ поръ, пока общество не будетъ олицетворять собою того плана общественнаго устройства, во имя котораго совершаются будто бы протесты грабежомъ и убійствами. Если же, напротивъ, мы будемъ думать, что воры и убійцы, рѣшаясь на свои подвиги, не укрѣпляютъ себя никакими философскими размышленіями о правотѣ своего дѣла, и если мы будемъ заподлинно знать, что они при своихъ грабежахъ и убійствахъ руководствуются не какими-нибудь соціальными соображеніями насчетъ общественнаго неустройства, а только самыми дикими и низкими побужденіями, тогда и уголовные законы получаютъ полное нравственное освященіе, и остается мѣсто для состраданія къ несчастію, хотя бы это несчастіе выразилось въ тяжкомъ преступленіи. Очевидно, что и для честнаго большинства въ обществѣ и для законопреступнаго меньшинства не одно и то же:—будетъ ли большинство видѣть въ ворахъ и убійцахъ сознательныхъ протестаторовъ, дѣйствующихъ по убѣжденію, для достиженія преднамѣренной цѣли, или будетъ смотрѣть на нихъ, какъ на такихъ враговъ общественнаго порядка, которые потому только и враждуютъ противъ него, что, къ величайшему своему несчастію, ничего не понимаютъ въ законахъ общественнаго устройства.—Кто же такіе убійцы и воры: сознательные протестаторы или люди жалчайшаго невѣжества и звѣрскихъ понятій?

Сантиментальные филантропы полагаютъ, что они очень много говорятъ въ пользу преступниковъ, возводя ихъ въ званіе протестаторовъ. Въ сущности они возводятъ лишнюю

клевету на совѣсть и безъ того слишкомъ обремененную дѣйствительными преступленіями; желая быть адвокатами несчастія, они отнимаютъ у него единственный шансъ на человѣческое участіе,—именно тотъ шансъ, по которому преступникъ, если его преступленіе вытекаетъ изъ грубѣйшаго невѣжества, предполагается способнымъ къ исправленію. На этомъ предположеніи, и единственно только на немъ, должны быть основаны всѣ истинно-гуманныя расположенія къ врагамъ нашей собственности и нашей личной безопасности. Но такое предположеніе объ исправленіи, конечно, не можетъ быть допущено относительно преступника,—вора или убійцы,—который опираетъ свое ремесло на теоретическихъ основаніяхъ. Какой-нибудь Лезюркъ, если это не былъ своего рода жалчайшій фанфаронъ, безъ сомнѣнія, не возбудилъ бы ни въ одномъ, даже самомъ гуманномъ мыслителѣ никакого ужаса къ смертной казни и никакого помышленія о противоестественности этого рода наказанія; онъ могъ бы сколько угодно служить предметомъ газетныхъ толковъ, украшать дамскіе альбомы и удивлять Парижъ своими развязными афоризмами на счетъ безгрѣшности воровства и убійства въ такомъ будто-бы вавилонскомъ обществѣ, какъ французское, но его смерть на эшафотѣ все-таки никакъ не была бы способна возбудить болѣе жалости, чѣмъ кончина отравленной крысы. Если бы обществу было доказано, что всѣ ворующіе и убивающіе—болѣе или менѣе Лезюрки, теоретики и систематики своего ремесла, оно имѣло бы право никогда не отказываться ни отъ одной свирѣпости испанскихъ инквизицій или венеціанскихъ трибуналовъ. Обществу прежде всего необходимо существовать; оно можетъ и должно выслушивать самыя смѣлыя указанія на свои несовершенства; оно имѣетъ всю выгоду допускать самыя обширныя пренія о способѣ и свойствѣ улучшеній; но если указанія на его несовершенства проявляются фактически подъ формою грабежа и убійства, оно можетъ только свирѣпствовать. Поэтому, мы полагаемъ, что возводить разбойника изъ грубѣйшаго невѣжды въ сознательные протестаторы нисколько не гуманно, и, въ отношеніи къ самому разбойнику, въ высшей степени несправедливо. Отнимать у него его скотское невѣжество въ этомъ случаѣ, значить посягать на его права. Это посягательство было бы еще не такъ страшно, если бы оно не было

и убійцахъ такихъ людей, которыхъ оно осуждаетъ и наказываетъ безъ всякаго другого права, кромѣ права сильнаго,—это съ одной стороны; а съ другой,—если мы перестанемъ видѣть въ ворахъ и убійцахъ существа надшія, доведенныя до своего паденія всего менѣе силою обдуманности и всего болѣе силой внѣшнихъ обстоятельствъ, можетъ быть, дѣйствительно обусловленныхъ общественнымъ устройствомъ, и если мы, взамѣнъ такого взгляда, проникнемся убѣжденіемъ, что воръ и убійца есть человѣкъ партіи и что онъ и самъ смотритъ на себя, какъ на такого, тогда всякое филантропическое чувство къ судьбѣ преступника, чувство— извѣстное всякому человѣку, вышедшему изъ дикаго состоянія, должно казаться жалкою и неумѣстною сантиментальностію, по крайней мѣрѣ—неумѣстной до тѣхъ поръ, пока общество не будетъ олицетворять собою того плана общественнаго устройства, во имя котораго совершаются будто бы протесты грабежомъ и убійствами. Если же, напротивъ, мы будемъ думать, что воры и убійцы, рѣшаясь на свои подвиги, не укрѣпляютъ себя никакими философскими размышленіями о правотѣ своего дѣла, и если мы будемъ заподлинно знать, что они при своихъ грабежахъ и убійствахъ руководствуются не какими нибудь соціальными соображеніями насчетъ общественнаго неустройства, а только самыми дикими и низкими побужденіями, тогда и уголовные законы получаютъ полное нравственное освященіе, и остается мѣсто для состраданія къ несчастію, хотя бы это несчастіе выразилось въ тяжкомъ преступленіи. Очевидно, что и для честнаго большинства въ обществѣ и для законопреступнаго меньшинства не одно и то же:—будетъ ли большинство видѣть въ ворахъ и убійцахъ сознательныхъ протестаторовъ, дѣйствующихъ по убѣжденію для достиженія преднамѣренной цѣли, или будетъ смотрѣть на нихъ, какъ на такихъ враговъ общественнаго порядка, которые потому только и враждуютъ противъ него, что, къ величайшему своему несчастію, ничего не понимаютъ въ законахъ общественнаго устройства.—Кто же такіе убійцы и воры: сознательные протестаторы или люди жалчайшаго невѣжества и звѣрскихъ понятій?

Сантиментальные филантропы полагаютъ, что они очень много говорятъ въ пользу преступниковъ, возводя ихъ въ званіе протестаторовъ. Въ сущности они возводятъ лишнюю

на то, что они приводятся съ выраженіемъ похвалъ извѣстнымъ чертамъ народнаго характера, въ сущности, они заключаютъ только справедливое указаніе на то обстоятельство, что народъ нашъ, какъ и вообще и всюду народныя массы, еще не возвысился до критическаго взгляда на жизнь, что онъ остается еще въ невѣжествѣ и живетъ болѣе чувствомъ, чѣмъ разсудкомъ. Это значитъ, что онъ живетъ безъ всякой системы — писаной или неписаной. Его таинственный неписаный кодексъ — это его непосредственное чувство. Въ этомъ чувствѣ заключается источникъ его глубочайшей доброты, но въ немъ же скрываются и причины его неистощимой свирѣпости. Это то самое чувство, которое приводитъ толпу въ умиленіе, при видѣ разбойника на крестѣ, и которое заставляетъ ее поджаривать честныхъ людей на огнѣ, при видѣ пожара,—которое разливается жалобною пѣснею о свирѣпствахъ свекрови надъ невѣсткою и которое однако изъ каждой невѣстки дѣлаетъ, въ свою очередь, такую-же свирѣпую свекровь; это то самое чувство, которое заставляетъ мужика называть свою рабочую скотину лошадушкой и кормилицей и по которому онъ забиваетъ ее чуть не до смерти, если она не въ состояніи везти непомѣрной тяжести; наконецъ, это то самое чувство, которое омрачаетъ печалью лицо всякаго простолюдина, при видѣ партіи ссыльно-каторжныхъ, и которое заставляетъ его людей этого сорта пристрѣливать, безъ всякой нужды, какъ зайцевъ, при встрѣчѣ съ ними въ лѣсу, какъ это нерѣдко случается въ Вятской губерніи, или убивать ихъ чѣмъ ни попало, заставши ихъ въ своей клѣти, какъ это случается повсюду, на всемъ протяженіи нашей земли, и тоже безъ всякой нужды и иногда съ полной возможностію задержать преступника, не подвергая его самосудомъ смертной казни. Правда, есть одно обстоятельство, рѣшающее его на самосудъ. Это не какія-нибудь особенныя понятія о правѣ, не врожденное отвращеніе къ правосудію, а боязнь не найти его и опасеніе самому запутаться въ той процедурѣ, которая подобно державинской *Рѣкѣ временъ*—

въ своемъ теченьи
Уноситъ всѣ дѣла людей
И топитъ въ пропасти забвенья

ихъ самыя справедливыя претензіи, ихъ самыя безотлагатель-

ныя требованія, увлекая, по дорогѣ, въ ту самую пропасть ихъ лучшіе досуги, ихъ благосостояніе и, пожалуй, самое ихъ гражданское существованіе. И въ этомъ единственная причина неохоты быть свидѣтелемъ или обвинителемъ, которая одинаково дѣйствуетъ на всякаго русскаго человѣка, при всякомъ общественномъ положеніи. Вліяніе ея можетъ быть доказано на самомъ приличномъ господинѣ, у котораго украли часы изъ кармана, хотя бы онъ былъ при томъ самаго консервативнаго образа мыслей. На эту причину указываютъ въ газетахъ, ее приводятъ въ объясненіе безуспѣшности своихъ дѣйствій наши недавніе судебные слѣдователи, которые, однако, во многихъ мѣстахъ успѣли уже возбудить довѣріе къ себѣ и собираютъ нужныя имъ доказательства безъ труда. Стало быть, неохота обвинять и свидѣтельствовать, замѣченная въ русскомъ человѣкѣ, вовсе не такая соціальная добродѣтель, которою бы русскому народу прилично было гордиться и на которой можно бы было строить какія-нибудь теоріи, а скорѣе указаніе на такое соціальное зло, на которое русскій народъ можетъ только жаловаться и отъ котораго ему слѣдуетъ избавиться. И это не такое зло, о которомъ можно было бы спорить, а сознанное и провозглашенное зло, обратившее на себя вниманіе самого правительства, у котораго, какъ слышно, уже находятся наготовѣ важныя судебныя реформы. Изъ всѣхъ игрушечныхъ мыслей, которыми мы любимъ обольщать, и очень часто невпопадъ, свою національную гордость, мысль о томъ, будто русскій народъ поголовно можно считать сознательнымъ потворщикомъ преступленія, враждебно-расположеннымъ ко всякой судебной карѣ, ко всякому офиціальному проявленію правосудія,—есть мысль самая игрушечная. Онъ точно не охотникъ отыскивать возстановленіе своихъ нарушенныхъ правъ путемъ офиціальнаго суда. Но если тутъ слѣдуетъ чему-нибудь удивляться, то, конечно, не этой неохотѣ, а скорѣй тому, что по точнымъ справкамъ о возникновеніи уголовныхъ дѣлъ непремѣнно должно оказаться, что самая большая часть ихъ все-таки возникаетъ вслѣдствіе частныхъ обвиненій и ходатайствъ. Намъ очень лестно считать русскій народъ отъ природы надѣленнымъ всѣми соціальными добродѣтелями, которыя другими народами пріобрѣтаются путемъ хлопотливой цивилизаціи и государственныхъ переворотовъ; намъ въ особенности

лестно считать его надѣленнымъ высочайшей изъ этихъ добродѣтелей, которая называется гуманностію. И мы даже глубоко убѣждены, что онъ точно обладаетъ этимъ качествомъ въ самомъ полномъ избыткѣ, наперекоръ всѣмъ патріотическимъ писателямъ различныхъ націй, которые позволяютъ себѣ думать, будто это качество въ самой высокой степени свойственно именно той націи, къ которой они имѣютъ честь принадлежать сами. Пусть знатоки человѣческой природы изъ нѣмцевъ полагаютъ, будто добросердечнѣе нѣмца нѣтъ существа во всемъ мірѣ, пусть они остаются въ этомъ ослѣпленіи до такой степени, что подъ избыткомъ этого качества въ своихъ единоплеменникахъ позволяютъ себѣ, подобно Гейне, горчайшіе сарказмы; пусть французы полагаютъ о себѣ, что нѣтъ никакой возможности быть гуманнѣе и великодушнѣе француза, который не выноситъ варварства и притѣсненій даже внѣ предѣловъ своего отечества и за гуманную идею всегда готовъ сражаться и переносить всѣ трудности самаго отдаленнаго похода; пусть люди еврейскаго племени остаются въ заблужденіи, будто они самые старые и величайшіе представители гуманности на землѣ; пусть Бичеръ-Стоу, со всѣмъ безкорыстіемъ честной писательницы, распинается за негровъ, утверждая, будто это самыя добрѣйшія существа на свѣтѣ,— мы имѣемъ твердое убѣжденіе, что это вздоръ, и что пальма первенства относительно доброты и гуманности передъ всѣми народами принадлежитъ русскому народу. Но и при этомъ убѣжденіи мы не думаемъ, чтобы природная доброта русскаго народа потеряла часть своей цѣны, если мы не будемъ приписывать ему природной тупости ко всякому чувству права, или навязывать ему сознательнаго сочувствія къ злодѣйству. Разбойничьи пѣсни, конечно, составляютъ фактъ, требующій объясненія. Но и „Разбойники“ Шиллера, и „Пиччинино“ Жоржъ-Занда, и „Вернеръ“ Байрона составляютъ точно такой же фактъ. Если въ разбойничьихъ пѣсняхъ не видѣть заплатки для какой-нибудь натянутой теоріи, то онѣ будутъ означать, что человѣческая фантазія, будетъ ли она принадлежать народному пѣвцу или образованному поэту, способна поражаться всѣмъ необыкновеннымъ, въ томъ числѣ и удальствомъ разбойника. Разница здѣсь будетъ только та, что поэтъ образованный никогда не увлечется свирѣпостями разбойника; онъ непремѣнно сдѣлаетъ изъ него героя и придастъ

ему лучшія качества человѣческаго сердца, а фантазія народнаго пѣвца способна увлекаться и самыми свирѣпостями, во всей ихъ непосредственности; у поэта образованнаго разбойникъ можетъ быть воодушевленъ какими-нибудь высшими побужденіями, необыкновеннымъ чувствомъ правды или ненависти къ притѣсненію; а въ народныхъ пѣсняхъ всѣ дѣйствія разбойниковъ обыкновенно объясняются одною только покорностію непосредственному чувству. Если образованный поэтъ заставляетъ, напримѣръ, своего разбойничьяго героя произвесть дѣйствіе мести, то изъ его рѣшительнаго удара, обыкновенно наносимаго съ быстротою молніи, онъ непремѣнно сдѣлаетъ ударъ правосудія; а народному пѣвцу никогда не бываютъ нужны такія затѣи, онъ добрымъ порядкомъ, не торопясь, даетъ вамъ пресытиться исполненіемъ самой мести, заставляя своего мстителя, какъ поется въ одной пѣснѣ, „изъ черепа своего врага—сдѣлать чашку для питья, изъ его изъ рукъ, изъ ногъ—кровать сложить, изъ его сала—свѣчей налить, изъ его мяса—пироговъ напечь“. Въ первомъ случаѣ преобладаетъ идея, или выдуманный разбойникъ, во второмъ непосредственное чувство, или разбойникъ настоящій. И это такъ и быть должно. Только не должно быть того, чтобы народъ, въ которомъ *когда-то* могли раздаться такія пѣсни, былъ судимъ *до сихъ поръ*, на основаніи ихъ, за свои симпатіи и юридическія понятія. Точно такъ и эпическіе разбойники, принадлежавшіе хаотическому обществу, не должны для насъ заслонять собою тѣхъ, которые теперь наполняютъ наши остроги и каторгу. Авторъ разбираемой нами книги занимается только послѣдними, и первыя его размышленія, какъ мы сказали, посвящены вопросу: сознаютъ ли преступники, что они преступны? Положительный отвѣтъ его состоитъ въ томъ, что они этого не сознаютъ. Онъ приводитъ даже и объясненіе этого факта, который можно считать совершенно вѣрнымъ. По его мнѣнію, „преступникъ, возставшій на общество, ненавидитъ его и почти всегда считаетъ себя правымъ, а его виноватымъ. Къ тому же онъ уже потерпѣлъ отъ него наказаніе, а черезъ это почти считаетъ себя очищеннымъ, сквитавшимся. Можно судить, наконецъ, продолжаетъ авторъ, съ такихъ точекъ зрѣнія, что чуть-ли не придется оправдать самого преступника“. Здѣсь преступнику приписывается критическій взглядъ на свои

отношенія къ обществу; онъ не потому преступникъ, что онъ существо падшее, достойное всего нашего состраданія, не потому, что, при своей нравственной тупости, онъ не способенъ имѣть и двухъ правильныхъ мыслей ни о своемъ значеніи въ обществѣ, ни о значеніи самого общества, а потому, что онъ человѣкъ вооруженный аргументаціей, по которой онъ считаетъ себя правымъ, а общество виновнымъ; ему какъ будто извѣстны даже и тѣ точки зрѣнія, съ которыхъ „чуть ли не придется оправдать преступника". Такія точки зрѣнія дѣйствительно существуютъ. Ихъ двѣ. Одна, которую можно назвать философской, состоитъ въ томъ, что человѣкъ признается одушевленной машиной, только обольщающей себя, будто она одарена свободной волей, а на самомъ дѣлѣ дѣйствующей совершенно непроизвольно, по законамъ строжайшей причинности и потому, естественно, не подлежащей никакой отвѣтственности. Но эта точка зрѣнія составляетъ нетвердый предметъ философскаго спора; поэтому, разсуждать съ *этой точки зрѣнія,* когда самая постановка *этой точки зрѣнія* не имѣетъ и, можетъ быть, никогда не будетъ имѣть никакой научной прочности, можно только для своего удовольствія; самосохраненіе общества, личная безопасность его членовъ, преступленіе и судьба людей, которые его совершаютъ, вовсе не такіе отвлеченные и далекіе отъ насъ предметы, чтобы объ нихъ позволительно было разсуждать съ точекъ зрѣнія такой сомнительной вѣрности, что всѣ сужденія съ нихъ должны представляться только умственной гимнастикой. Другая точка зрѣнія, съ которой, выражаясь словами автора, „чуть ли не придется оправдать преступника" и которую можно назвать соціальной, состоитъ въ томъ, что общество, въ которомъ существуетъ голодъ, невѣжество и неравноправность, само обвиняется во всѣхъ послѣдствіяхъ этихъ великихъ золъ, и въ томъ числѣ и въ преступленіяхъ всякаго рода. Но и эта точка зрѣнія, какова бы ни была ея безусловная справедливость, все-таки не обязываетъ общество давать ворамъ и убійцамъ похвальные листы только за то, что для ихъ преступныхъ дѣйствій существуютъ довольно вѣроятныя и естественныя причины; изъ этой точки зрѣнія могутъ быть выводимы, и совершенно логично, только смягчающія обстоятельства для преступленій, но не оправданіе ихъ; она располагаетъ общество къ милосердію, но не къ

уничтоженію своихъ уголовныхъ законовъ; она отнимаетъ у нихъ право свирѣпствовать противъ преступниковъ, отнимать у нихъ жизнь и произносить надъ ними вѣчные приговоры, но не уничтожаетъ его права охранить свое существованіе. Путь преступленія избирается, конечно, не по доброй волѣ, и не изъ обольщенія его прелестями, а вслѣдствіе стимуловъ, заключающихся въ общественномъ устройствѣ; общество должно сознавать это; но оно не можетъ сознавать и того, что и оно не виновато въ своихъ несовершенствахъ, для которыхъ тоже существуютъ самыя естественныя причины. Что дѣлать обществу съ такими естественными и расплывающимися во всѣ стороны причинами, которыми объясняется все на свѣтѣ? *Жить* и совершенствоваться, т. е. дѣлать то, что волею или неволею суждено дѣлать всѣмъ обществамъ, вступившимъ на путь прогресса. А если прежде всего необходимо *жить*, то столько же необходимо, чтобы наша жизнь въ обществѣ была обезопасена и чтобы наши средства къ жизни находились подъ вѣрною защитою. Это самое вѣрное заключеніе, какое только можно сдѣлать изъ общей для всѣхъ насъ необходимости—*жить*. И стало быть, воры и убійцы остаются неоправданными и съ соціальной точки зрѣнія, точно такъ же, какъ они не могутъ быть оправданы съ философской; а если и можно судить съ этихъ точекъ зрѣнія, или съ одной изъ нихъ, то для полученія совершенно другихъ выводовъ, а не того, который высказываетъ авторъ. Ронять громкія слова и бросать широкіе взгляды мимоходомъ, въ видѣ общихъ фразъ, стоитъ небольшого труда,—на это способенъ теперь самый жалкій писака. Но пусть авторъ указалъ бы кстати: какъ несовершенное общество, въ несовершенствахъ котораго заключаются, положимъ, причины преступленій нѣкоторыхъ изъ его членовъ, какъ оно должно поступать съ этими преступными своими членами, если оно будетъ считать ихъ правыми, а себя виноватымъ, и если оно,—какъ это достовѣрно извѣстно,—освободиться вдругъ отъ своихъ несовершенствъ никакимъ образомъ не можетъ, если при томъ еще не доказано, чтобы оно могло хоть когда-нибудь освободиться отъ нихъ вполнѣ и если, наконецъ, несомнѣнно вѣрно, что причина преступленій заключается не въ однихъ несовершенствахъ общественнаго устройства, но вообще въ несовершенствахъ человѣческой природы и свойственныхъ ей стра-

стяхъ? Каинъ убилъ своего брата изъ зависти, Отелло задушилъ свою Дездемону изъ ревности, Геростратъ обратилъ въ пепелъ прекраснѣйшее общественное зданіе изъ тщеславія, въ самыхъ „Запискахъ изъ Мертваго Дома" очень хорошо разсказана повѣсть глупѣйшаго преступленія: мужъ убилъ свою жену изъ раскаянія, что онъ слишкомъ долго обращался съ нею недостойнымъ образомъ. Стимулы всѣхъ этихъ преступленій нисколько не должны падать на общественную совѣсть, потому что всѣ эти преступленія могли быть совершены при всѣхъ извѣстныхъ и даже еще неизвѣстныхъ родахъ общественнаго устройства. Здѣсь открывается цѣлая область преступленій, въ которыхъ общество не можетъ быть признано виноватымъ ни съ какой точки зрѣнія. Но главная сторона дѣла не въ этомъ, а въ томъ, что указанныя нами двѣ точки зрѣнія, съ которыхъ, по мнѣнію автора, „чуть ли не придется оправдать преступника", у нашего автора предполагаются извѣстными самимъ разбойникамъ, на которыхъ по преимуществу простираются его наблюденія; эти люди обращаются въ философскихъ и соціальныхъ мыслителей; у нихъ есть счеты и разсчеты съ обществомъ; они лишаются своихъ хаотическихъ понятій, своихъ звѣрскихъ позывовъ, своего грубѣйшаго умственнаго и нравственнаго помраченія и, вмѣсто всего этого, надѣляются ясными представленіями и опредѣленнымъ родомъ мыслей; ихъ грѣхи тяжкаго невѣдѣнія обращаются въ обдуманныя дѣла; словомъ, для нихъ уничтожается единственная точка зрѣнія, разсуждая съ которой, общество можетъ проникаться къ нимъ милосердіемъ и чувствовать себя обязаннымъ смягчать свои карательныя мѣры, замѣняя ихъ исправительными. Наблюдатель видѣлъ передъ собою фактъ, что эти грѣшники, на его собственныхъ глазахъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, оставались нераскаянными; изъ этого онъ заключилъ, что такое душевное настроеніе они поддерживаютъ въ себѣ аргументами въ пользу своей невинности. Психологія позволяетъ, однако, объяснять подобное душевное состояніе совершеннымъ отупѣніемъ нравственнаго чувства и глубиною паденія, могущаго простираться до потери всякаго сознанія о добрѣ и злѣ,—и такое оскотененіе, безъ сомнѣнія, служитъ въ большинствѣ случаевъ нераскаянности гораздо вѣроятнѣйшимъ объясненіемъ, чѣмъ теоретическія соображенія, предполагаемыя въ разбойникахъ, о не-

совершенствахъ общественнаго устройства. Но мы уже сказали, что у нашего автора гораздо важнѣе то, что онъ разсказываетъ, чѣмъ то, что онъ думаетъ, и потому, признавая вполнѣ справедливымъ замѣченный имъ фактъ относительно нераскаянности преступниковъ, мы находимъ совершенно ложнымъ приводимое имъ объясненіе этого факта. „Я сказалъ уже,—говоритъ авторъ,—что въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ я не видалъ между этими людьми ни малѣйшаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной думы о своемъ преступленіи и что большая часть изъ нихъ внутренно считаетъ себя правыми. Это фактъ. Конечно, тщеславіе, дурные примѣры, молодечество, ложный стыдъ во многомъ тому причиною. Съ другой стороны, кто можетъ сказать, что выслѣдилъ глубину этихъ погибшихъ сердецъ и прочелъ въ нихъ сокровенное отъ всего свѣта? Но вѣдь можно же было, во столько лѣтъ, хоть что-нибудь замѣтить, поймать, уловить въ этихъ сердцахъ хоть какую-нибудь черту, которая бы свидѣтельствовала о внутренней тоскѣ, о страданіи. Но этого не было, положительно не было“. Но этого не могло и быть, прибавимъ мы отъ себя, и въ доказательство этихъ словъ приведемъ прекрасную характеристику этого кромѣшнаго общества, которую встрѣчаемъ у самого же автора.

„Съ перваго взгляда можно было замѣтить нѣкоторую рѣзкую общность во всемъ этомъ странномъ семействѣ; даже самыя рѣзкія, самыя оригинальныя личности, царившія надъ другими невольно, и тѣ старались попасть въ общій тонъ всего острога... Вообще тщеславіе, наружность были на первомъ планѣ. Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были безпрерывныя: это былъ адъ, тьма кромѣшная... Бывали характеры рѣзко выдающіеся... Приходили въ острогъ такіе, которые ужъ слишкомъ зарвались, слишкомъ выскочили изъ мѣрки на волю, такъ что ужъ и преступленія свои дѣлали подъ конецъ какъ будто не сами собою, какъ будто сами не зная зачѣмъ, какъ будто въ бреду, въ чаду; часто изъ тщеславія, возбужденнаго въ высочайшей степени. Но у насъ ихъ тотчасъ осаживали, несмотря на то, что иные до прибытія въ острогъ бывали ужасомъ цѣлыхъ селеній и городовъ. Оглядываясь кругомъ, новичокъ скоро замѣчалъ, что онъ не туда попалъ, что здѣсь дивить ужъ некого, и непремѣнно старался и попадалъ въ общій

тонъ. Этотъ общій тонъ составлялся снаружи изъ какого-то особеннаго собственнаго достоинства, которымъ былъ проникнутъ чуть не каждый обитатель острога. Точно въ самомъ дѣлѣ званіе каторжнаго, рѣшенаго, составляло какой-нибудь чинъ, да еще почетный. Ни признаковъ стыда и раскаянія! Впрочемъ, было и какое то наружное смиреніе, такъ сказать, офиціальное, какое то спокойное резонерство: „Мы погибшій народъ", говорили они: „не умѣлъ на волѣ жить, теперь ломай зеленую улицу, повѣряй ряды".—Не слушался отца и матери, послушайся теперь барабанной шкуры".—Не хотѣлъ шить золотомъ, теперь бей камни молотомъ".—Все это говорилось часто, и въ видѣ нравоученія, и въ видѣ обыкновенныхъ поговорокъ и присловій, но никогда серьезно. Все это были только слова. Врядъ ли хоть одинъ изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности. Попробуй кто не изъ каторжныхъ упрекнуть арестанта преступленіемъ, выбранить его—ругательствамъ не будетъ и конца. А какіе они были мастера ругаться! Ругались они утонченно, художественно. Ругательство было у нихъ возведено въ науку; старались взять не столько обиднымъ словомъ, сколько обиднымъ смысломъ, духомъ, идеей,—а это утонченнѣе, ядовитѣе. Безпрерывныя ссоры еще болѣе развивали между ними эту науку. Весь этотъ народъ работалъ изъ-подъ палки, слѣдственно онъ былъ праздный, слѣдственно развращался: если и не былъ прежде развращенъ, то въ каторгѣ развращался. Всѣ они собрались сюда не своей волей; всѣ они были другъ другу чужіе... „Чортъ трое лаптей сносилъ, прежде чѣмъ насъ собралъ въ одну кучу!"—говорили они про себя сами; а потому сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, ссоры, злость—были всегда на первомъ планѣ въ этой кромѣшней жизни. Никакая баба не въ состояніи была быть такой бабой, какъ нѣкоторые изъ этихъ душегубцевъ".

И въ этомъ аду, въ этой кромѣшней тьмѣ, въ этой бездиѣ оскотененія и нравственнаго индефферентизма, насъ заставляютъ отыскивать какія то философскія и соціальныя убѣжденія для объясненія нераскаянности! И на выдумкѣ этихъ убѣжденій строятъ философію преступленія! Нѣтъ тутъ никакихъ убѣжденій, никакихъ расчетовъ съ обществомъ и никакого сознательнаго возстанія противъ него; а есть только одно нравственное одервененіе и привычка—до такой степе-

ни тупая, что преступленіе представляется поступкомъ не нравственно свободнаго и размышляющаго существа, а скорѣе дѣйствіемъ автомата. Викторъ Гюго, заставившій Жанъ-Вальжана въ своемъ послѣднемъ романѣ обокрасть маленькаго савояра совершенно противъ воли, посредствомъ одного механическаго движенія, усвоеннаго привычкою, поступилъ какъ человѣкъ, глубоко понимающій философію преступленій, потому что, дѣйствительно, преступленіе есть привычка, точно такая же привычка, какъ хожденіе въ должность, ремесло, нищенство и т. п. Но не всѣ Жанъ-Вальжаны встрѣчаются съ добродѣтельными епископами, отъ которыхъ они могли бы узнавать хотя и простую, но все-таки незнакомую для нихъ истину, что есть на свѣтѣ вещи честныя и безчестныя; самая большая часть Жанъ-Вальжановъ не имѣютъ никакой возможности возвышаться до критическаго взгляда на свои привычки; до острога для нихъ это совершенно невозможно, потому что не такова ихъ жизнь и избранныя ими занятія, чтобъ они располагали къ умозрѣніямъ; а въ самомъ острогѣ для нихъ это еще менѣе возможно и опять-таки потому, что и острожно-каторжная жизнь очень мало располагаетъ къ умозрѣніямъ. Для этого нуженъ невозмутимый досугъ, хотя бы и не очень продолжительный; какъ можно менѣе мелочныхъ дрязгъ и какъ можно больше вещей, располагающихъ къ серьезному настроенію, а главное—для всякаго умозрѣнія нужна прежде всего точка отправленія; оскотенѣвшему преступнику прежде всего нужно знать о существованіи добра и зла, чтобы сдѣлать умственныя комбинаціи о значеніи своихъ поступковъ. Но картина, изображенная авторомъ въ приведенныхъ нами строкахъ—представляетъ совершенную противоположность всѣмъ этимъ требованіямъ; двумъ стамъ звѣроподобнымъ существамъ, заключеннымъ въ одной казармѣ, такъ много случаевъ развлечь себя и уклониться отъ всякихъ расчетовъ съ нехорошими воспоминаніями, если они еще признаются за нехорошія! Въ одной кучкѣ ругаются только что изобрѣтаемыми выраженіями, въ другой лѣзутъ въ драку изъ за негодной тряпки, и ужъ дѣло доходитъ до ножей, въ третьей клейменые игроки ведутъ азартную игру въ засаленныя карты, въ четвертой развлекаются зеленымъ виномъ, пронесеннымъ въ острогъ чуть не подъ страхомъ жизни—все это картины, нисколько

не располагающія къ созерцательному настроенію. Есть ли чему удивляться, что тутъ не замѣчается никакихъ признаковъ стыда и раскаянія? Скорѣе было бы удивительно, если бы здѣсь происходили случаи раскаянія, хотя бы самые рѣдкіе; такіе случаи были бы чисто феноменальныя явленія.

Е. Заринъ.

* * *

*) Обитатели мертваго дома, или проще каторжники, занимаются, какъ извѣстно, обязательными казенными работами, которыя составляютъ одну изъ важнѣйшихъ составныхъ частей наложеннаго на нихъ наказанія. „Самая работа, говоритъ г. Достоевскій, показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелою, *каторжною*, и только довольно долго спустя я догадался, что тяжесть и *каторжность* этой работы—не столько въ трудности и безпрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная изъ-подъ палки". Далѣе г. Достоевскій соображаетъ очень основательно, что эта обязательная работа сдѣлалась бы еще болѣе ужасною и даже совершенно невыносимою, если бы ей былъ приданъ характеръ совершенной, полнѣйшей безполезности и безсмыслицы, то есть, если бы, напримѣръ, арестанта заставили переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое, и обратно.

Спрашивается теперь, есть ли въ жизни бурсаковъ какое-

---

*) Соч. Д. И. Писарева.

Писаревъ въ своей интересной обширной статьѣ „Погибшіе и Погибающіе" разсматриваетъ (хотя и не съ литературно-критической точки зрѣнія) „Записки изъ Мертваго Дома" сравнительно съ „Очерками Бурсы" Помяловскаго. Этотъ подробный анализъ надъ данными матеріальнаго и нравственнаго положенія героевъ „Записокъ изъ Мертваго Дома" и „Очерковъ Бурсы" приводитъ къ тому результату, что обитатели остроговъ 40-хъ и 50-хъ годовъ стояли выше во многихъ отношеніяхъ бурсаковъ того же времени. Но, смотря на трудъ Писарева, какъ на имѣющій только косвенное отношеніе къ цѣли настоящаго сборника, и не имѣя притомъ возможности за обширностію его очерка помѣстить здѣсь параллельныя характеристики героевъ Мертваго дома и Бурсы въ нравственномъ отношеніи, мы только приводимъ нѣсколько сравненій матеріальнаго свойства, рисующихъ положеніе какъ каторжниковъ, такъ и бурсаковъ.

Примѣч. В. Зелинскаго.

нибудь занятіе, соотвѣтствующее обязательной работѣ каторжниковъ? Каждый бывшій бурсакъ и даже каждый читатель, знакомый съ очерками Помяловскаго, отвѣтитъ не задумываясь, что всѣ учебныя занятія бурсаковъ похожи, какъ двѣ капли воды, на обязательную работу каторжниковъ. Остается только рѣшить вопросъ, на какую именно работу похожи умственные труды бурсаковъ, на ту ли, которая дѣйствительно существуетъ въ мертвомъ домѣ, или же на ту, въ которой г. Достоевскій справедливо видитъ ужасный и, къ счастью, неосуществленный идеалъ каторжной работы? Мнѣ кажется, что работа бурсаковъ подходитъ довольно близко къ послѣдней категоріи, то есть, къ мучительному переливанію воды изъ „одного ушата въ другой, а изъ другого въ первый“... Сдѣлавъ подробный психически-физіологическій анализъ специфическаго процесса зубренія, или долбленія бурсаками уроковъ, Писаревъ продолжаетъ: „Помяловскій, видѣвшій на своемъ вѣку множество самыхъ чистокровныхъ зубрилъ и отвѣдавшій самъ прелести этого занятія, рисуетъ очень яркими чертами процессъ бурсацкой каторжной работы и вліяніе этой работы на матеріальное и умственное здоровье бурсаковъ. „Ученики, говоритъ онъ, сидя надъ книгою, повторяли безъ конца и безъ смыслу: стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ... потомъ... постигли... Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока на вѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика *стыдъ* и *срамъ*. Сильно мучился воспитанникъ во время урока, такъ что ученіе здѣсь является физическимъ страданіемъ, которое выразилось въ пѣснѣ: „Сколь блаженны тѣ народы“...

По мучительности своей, ученая бурсацкая работа далеко превосходитъ работу арестантовъ, которая, по словамъ г. Достоевскаго, сама по себѣ нисколько не обременительна. Съ точки зрѣнія обязательности или подневольности, работа бурсаковъ также перещеголяла работу арестантовъ. Въ первомъ томѣ своихъ „Записокъ“ г. Достоевскій описываетъ арестантскую работу, ломаніе старой барки; придя на рѣку, арестанты разсаживаются по бревнамъ и закуриваютъ трубки; потомъ начинаютъ разсуждать о томъ, кто догадался ломать эту барку; потомъ критикуютъ проходящихъ мужиковъ, потомъ любезничаютъ съ колачницей. Тутъ является приставъ

надъ работами и приглашаетъ публику приступить; публика проситъ себѣ урока, говоритъ, что скорѣй скораго не сдѣлаешь, и начинаетъ дѣйствовать такъ вяло, что приставъ считаетъ необходимымъ плюнуть и отправиться за кондукторомъ, который исполняетъ желаніе публики и задаетъ ей урокъ".—Такимъ образомъ работники нисколько не надрываются; они резонируютъ, благодушествуютъ, дѣлаютъ кейфъ, и даже торгуются на счетъ работъ съ своимъ ближайшимъ начальствомъ; положеніе этихъ работниковъ, конечно, очень тяжело и незавидно, потому что они лишены свободы, и принуждены заниматься такимъ дѣломъ, которое не доставляетъ имъ ни удовольствія ни личной выгоды; но неволя арестантовъ легка въ сравненіи съ неволей бурсаковъ; надъ послѣдними контроль по работамъ несравненно строже; арестантовъ никто не подвергаетъ взысканію за то, что они балагурятъ въ рабочее время; бурсака, напротивъ того, порятъ очень аккуратно за каждый невыученный урокъ; а что значитъ выучить урокъ—это я показалъ, объясняя и анализируя процессъ зубренія. Притомъ надо замѣтить, что бурсака порятъ не гуртомъ за общую неисправность работы, а порознь за каждый невыученный урокъ; при такой раздробительной системѣ воздаянія, на долю одного бурсака можетъ придтись въ одинъ день по нѣскольку сѣченій, чего съ арестантомъ уже никакимъ образомъ случиться не можетъ, такъ какъ въ острогѣ право казнить и миловать принадлежитъ одному начальству, а въ бурсѣ это право распредѣляется между многими учителями. „Когда приходилось, говоритъ Помяловскій, что три описанные учителя занимали уроки въ одинъ и тотъ же день, то одного и того же ученика сѣкли нѣсколько разъ. Такъ Карася, случалось отдирали четыре раза въ одинъ день (въ продолженіе всей училищной жизни непремѣнно разъ четыреста)." Далѣе, по своей занимательности, работа бурсака стоитъ положительно ниже ломанія барки или дѣланія кирпича, и можетъ быть поставлена на одну доску съ переливаніемъ воды изъ ушата въ ушатъ. Если мнѣ возразятъ, что бурсакъ въ этой работѣ можетъ видѣть средство добиться хорошаго аттестата и составить себѣ карьеру, то я отвѣчу, что и арестантъ, посаженный въ острогъ на извѣстное число лѣтъ, можетъ видѣть въ исправномъ переливаніи воды дорогу къ освобожденію. Въ самомъ дѣлѣ, если бы аре-

стантъ, осужденный на переливаніе воды, вздумалъ заупрямиться, и отказался бы отъ своей безплодной и мучительно-скучной работы, то его стали бы наказывать, а если бы дисциплинарныя наказанія не сломили его упрямства, то его вторично отдали бы подъ судъ за дурное поведеніе, и время его заключенія увеличилось бы въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Точно такъ же поступаютъ и съ лѣнивымъ бурсакомъ: сначала его отечески наказываютъ, а потомъ его исключаютъ, то есть у него отнимаютъ аттестатъ и карьеру. Стало быть, интересъ работы одинаковъ для бурсака, зубрящаго „*стыдъ и срамъ*“, и для арестанта, переливающаго воду изъ ушата въ ушатъ, потому что первый за небрежное выполненіе работы лишается нѣкоторыхъ выгодъ, а второй за то же самое подвергается нѣкоторымъ невыгодамъ. Цѣль бурсака состоитъ въ томъ, чтобы доплестись всѣми правдами и неправдами до выпускного экзамена; цѣль арестанта въ томъ, чтобы безпакостно дожить до дня освобожденія. Обѣ эти цѣли до такой степени отдаленны, что онѣ нисколько не могутъ освѣтить и украсить собою обязательную работу. Человѣкъ можетъ работать охотно и весело только тогда, когда самый процессъ работы доставляетъ ему непосредственное удовольствіе. Когда работа сама по себѣ имѣетъ какой-нибудь внутренній смыслъ, понятный для работника, тогда возможно увлеченіе работою, хотя бы даже и обязательною. Но такъ какъ затверживаніе *стыда и срама* не имѣетъ никакого внутренняго смысла, и въ то же время требуетъ очень сильнаго напряженія энергіи и вниманія, то далекая перспектива аттестата и карьеры становится совершенно не дѣйствительною, и юношество подвигается впередъ по узкому и скорбному пути бурсацкой премудрости при содѣйствіи такихъ героическихъ средствъ, которыя могли бы испугать даже обитателей мертваго дома, и которыя даже въ мертвомъ домѣ оказались бы необходимыми только въ томъ немыслимомъ случаѣ, если бы начальству вздумалось пріурочить арестантовъ къ безсмысленному переливанію воды семо и овамо.

Другая сходная черта бурсы и мертваго дома состоитъ въ мизерности того содержанія, которое получаютъ обитатели этихъ двухъ одинаково воспитательныхъ или одинаково карательныхъ заведеній. Здѣсь опять пальма первенства остает-

ся за бурсою, по крайней мѣрѣ, за тою бурсою, которую описалъ Помяловскій. Что ѣдятъ бурсаки и что ѣдятъ арестанты? Качества ихъ щей, каши и такъ далѣе, мы, разумѣется, сравнивать не можемъ, потому что къ сочиненіямъ Помяловскаго и г. Достоевскаго не приложено въ видѣ pièces justificatives, образчиковъ этихъ деликатныхъ кушаній; оба говорятъ, что скверно, а что хуже, объ этомъ по описанію судить мудрено. Но есть одинъ осязательный пунктъ, который доказываетъ, что бурсакамъ было хуже жить, чѣмъ арестантамъ. Какъ бы ни былъ дуренъ обѣдъ, но во всякомъ случаѣ, если только хлѣба дается въ волю, до-отвалу, то человѣкъ обезпеченъ, по крайней мѣрѣ, противъ голода. Чѣмъ отвратительнѣе обѣдъ, тѣмъ важнѣе становится вопросъ о хлѣбѣ, который при дурномъ обѣдѣ дѣлается самою главною статьею питанія. И какъ бы вы думали?—хлѣбъ въ бурсѣ выдается счетомъ, а въ мертвомъ домѣ давалось хлѣба, сколько угодно. „Большинство, говоритъ Помяловскій, не желало дѣлиться съ нимъ (съ воспитанникомъ, оставленнымъ безъ обѣда) запаснымъ хлѣбомъ: впрочемъ, и дѣлиться было не изъ чего: утреннихъ и вечернихъ фриштиковъ въ бурсѣ не полагалось; *за обѣдомъ выдавали только по два ломтя хлѣба*, изъ которыхъ одинъ съѣдался въ столовой, другой уносился въ карманѣ про запасъ". По моему мнѣнію, эти скверные *два ломтя*, эта низкая плюшкинская скаредность, выжимающая сокъ изъ молодыхъ желудковъ, несравненно отвратительнѣе всевозможныхъ мордобитій и сѣченій *на воздусяхъ*. Мнѣ кажется даже, что эта скаредность вреднѣе жестокихъ наказаній по своимъ послѣдствіямъ, какъ матеріальнымъ, такъ и нравственнымъ.

Въ мертвомъ домѣ дѣло продовольствованія велось гораздо благопристойнѣе.

„Впрочемъ, говоритъ г. Достоевскій, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили только про одинъ хлѣбъ и благословляли именно то, что хлѣбъ у насъ общій, а не выдается съ вѣсу. Послѣднее ихъ ужасало; при выдачѣ съ вѣсу, треть людей была бы голодная; въ артели же всѣмъ доставало. Хлѣбъ нашъ былъ какъ-то особенно вкусенъ и этимъ славился во всемъ городѣ".

Изъ разговоровъ между арестантами видно, что они питаютъ глубокое уваженіе къ своему хлѣбу.—„Бирюлина ко-

рова! говоритъ одинъ арестантъ другому—ишь отъѣлся на острожномъ *чистякѣ*“.—На волѣ не умѣли жить, говорится далѣе,—рады, что здѣсь до *чистяка* добрались. „*Чистякомъ*, объясняетъ г. Достоевскій въ подстрочномъ примѣчаніи,—назывался хлѣбъ изъ чистой муки, безъ примѣси.“—Это названіе очень выразительно. Оно показываетъ лучше всякихъ политико-экономическихъ разсужденій, какіе мы богатые люди. Хлѣбъ, испеченный изъ чистой муки, безъ примѣси разныхъ удобоваримыхъ гадостей, въ родѣ отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, долженъ у насъ отличаться особеннымъ хвалебнымъ именемъ отъ того обыкновеннаго хлѣба, которымъ питаются сплошь и рядомъ наши рабочіе классы... Сравнивая этотъ чистякъ съ несчастными *двумя ломтями* бурсы, мы узнаемъ ту поучительную истину, что въ нашей великой и обильной странѣ даже добросовѣстная раздача хлѣба должна вызвать къ себѣ нѣкоторое уваженіе, и считаться едва ли не за патріотическій подвигъ.

Если начальство бурсы рѣшилось соблюдать мудрую экономію даже при раздачѣ простого хлѣба, то, разумѣется, съ остальными предметами первой необходимости и подавно нечего было церемониться, такъ что бурсаки во всѣхъ отношеніяхъ должны были уподобляться гарнизону осажденной крѣпости или экипажу корабля, застигнутаго безвѣтріемъ въ открытомъ морѣ. Отопленіе и освѣщеніе бурсы производились съ самою примѣрною бережливостію. „Въ классѣ совершенно темно, говоритъ Помяловскій, потому что начальство, изъ экономическаго расчета, зажигало лампу только въ часы занятій“. „Начальство, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями“. Обитатели мертваго дома не испытывали ни одного изъ этихъ двухъ неудобствъ,—ни темноты ни холода. Плацъ-маіоръ или караульные, говоритъ г. Достоевскій, являлись иногда въ острогъ довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющихъ, и работающихъ, и лишнія свѣчки, которыя можно было видѣть еще со двора. *Лишними свѣчками* здѣсь называются собственныя свѣчи арестантовъ. Выше было сказано, что „каждый держалъ свою свѣчу и свой подсвѣчникъ, большею частію деревянный“. Но если были *лиш-*

нія свѣчи, то, стало-быть, были и не лишнія, казенныя, которыми казарма должна была освѣщаться постоянно отъ вечерней зари до утренней.

Говоря о различныхъ непріятностяхъ острожной жизни, г. Достоевскій упоминаетъ о мефитическомъ воздухѣ, о нечистотѣ, о множествѣ насѣкомыхъ, но о сырости и холодѣ не сказано ни слова. Значитъ, надо полагать, что топили хорошо. Разумѣется, на это были свои мѣстныя причины; на берегахъ Иртыша дрова несравненно дешевле, чѣмъ на берегахъ Невы. „Дрова въ городѣ, говоритъ г. Достоевскій, продавались по цѣнѣ ничтожной, и кругомъ лѣсу было множество“. Но каковы бы ни были причины, во всякомъ случаѣ это нисколько не измѣняетъ того печальнаго факта, что бурсаки страдали отъ сырости и отъ холода, и въ этомъ отношеніи могли завидовать обитателямъ мертваго дома. Что же касается до мефитическаго воздуха, до нечистоты и до паразитовъ, то здѣсь бурса и мертвый домъ нисколько не уступаютъ другъ другу. Впрочемъ, кажется, и тутъ можно отыскать одно обстоятельство, оставляющее пальму первенства за бурсою. „Наконецъ, говоритъ г. Достоевскій, описывая жизнь въ госпиталѣ,—уже послѣ вечерняго посѣщенія доктора, вошелъ караульный унтеръ-офицеръ, сосчиталъ всѣхъ больныхъ, и палату заперли, внеся въ нее предварительно ночной ушатъ. Я съ удивленіемъ узналъ, что этотъ ушатъ останется здѣсь всю ночь, тогда какъ настоящее ретирадное мѣсто было тутъ же въ коридорѣ, всего только два шага отъ дверей“. Такъ какъ разсказчикъ попалъ въ госпиталь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія въ острогъ, то его удивленіе по поводу ушата было бы немыслимо, если бы такой же точно обычай былъ заведенъ и въ казармѣ. Удивленіе разсказчика показываетъ ясно, что въ казармѣ ночныхъ ушатовъ не было. У Помяловскаго же бурсацкія спальни описываются слѣдующимъ образомъ: „Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромные бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченыя яблоки. Отъ этихъ припасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурные міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ зимою въ сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальныя свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькою и ѣдкою, и ко всему этому надо прибавить,

что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какою-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистоть. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать ученикъ, и повѣритъ-ли кто, что большинство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало, наконецъ, способность чувствовать отвращеніе къ нему“. Здѣсь ушатъ составляетъ постоянное явленіе, которое уже никого не удивляетъ. Пребываніе ушата въ госпитальной палатѣ объясняется тѣмъ, что палату велѣно на ночь запирать; а запираютъ ее для того, чтобы арестанты ночью какъ-нибудь не ухитрились убѣжать. Г. Достоевскій доказываетъ очень убѣдительно, что убѣжать нѣтъ возможности, но во всякомъ случаѣ чрезмѣрная мнительность начальства, при всей своей неосновательности, до нѣкоторой степени понятна; такъ какъ побѣги дѣйствительно случаются, и случаются иногда при такой обстановкѣ, при которой ихъ, повидимому, невозможно было предположить, то, разумѣется, болѣзненная мнительность поддерживается, и начальство, которому не приходится дышать вмѣстѣ съ арестантами зараженнымъ воздухомъ, запираетъ ихъ на всю ночь вмѣстѣ съ ушатомъ, придерживаясь того правила, что лишняя предосторожность, хотя бы и совершенно безсмысленная, испортить дѣла не можетъ. Въ казарму ушата вносить не зачѣмъ, и тамъ онъ дѣйствительно не вносится. Это различіе происходитъ отъ того, что, находясь у себя въ острогѣ, арестантъ окруженъ со всѣхъ сторонъ самымъ бдительнымъ надзоромъ: сдѣлавшись больнымъ, арестантъ напротивъ того приходитъ въ общій военный госпиталь, въ которомъ только одна арестантская палата караулится такъ, какъ положено караулить острогъ. Поэтому больного арестанта лишаютъ даже той доли свободы, которая предоставлена здоровому арестанту. Здоровый можетъ ходить днемъ по всему острогу, а ночью по всей своей казармѣ; больной напротивъ того остается почти безвыходно въ той комнатѣ, которая въ госпиталѣ служитъ представительницею острога. Все это очень тяжело, но понятно. Что-же касается до ушата, украшающаго спальню бурсаковъ, то его уже невозможно объяснить никакою начальственною мнительностію и никакими глубокомысленными плацъ-маіорскими соображеніями. Тутъ сіяетъ во всей своей красотѣ одно голое свинство... Если бы бурсаки вздумали просить начальство объ удаленіи ушатовъ, то можно сказать навѣр-

ное, что просителей перепороли бы за вольнодумство. Въ самомъ дѣлѣ, думаютъ, ушатъ поставленъ въ спальню начальствомъ; слѣдовательно къ ушату надо питать глубокое уваженіе, и возставать противъ ушата—значитъ сомнѣваться въ начальственной благости и въ начальственной мудрости. Первый шагъ строптиваго юношества на этомъ гибельномъ пути отрицанія можетъ повести за собою неисчислимыя послѣдствія. Поэтому начальство непремѣнно должно отстаивать ушатъ, какъ видимое проявленіе и вещественный знакъ невещественной отеческой заботливости, предусмотрительности и распорядительности, украшающей жизнь бурсака всевозможными высокими и плодотворными наслажденіями.

О невѣроятномъ изобиліи насѣкомыхъ г. Достоевскій и Помяловскій сообщаютъ одинаково любопытныя свѣдѣнія. „Блохи, говоритъ г. Достоевскій, кишатъ миріадами. Онѣ водятся у насъ и зимою, и въ весьма достаточномъ количествѣ, но начиная съ весны, разводятся въ такихъ размѣрахъ, о которыхъ я хоть и слыхивалъ прежде, но, не испытавъ на дѣлѣ, не хотѣлъ вѣрить. И чѣмъ дальше къ лѣту, тѣмъ злѣе и злѣе онѣ становятся. Правда, къ блохамъ можно привыкнуть, я самъ испыталъ это; но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучаютъ, что лежишь, наконецъ, словно въ лихорадочномъ жару и самъ чувствуешь, что не спишь, а только бредишь“.

„Этихъ насѣкомыхъ (вшей), говоритъ Помяловскій, было огромное количество въ бурсѣ. Не повѣрятъ, что одинъ ученикъ былъ почти съѣденъ ими; онъ служилъ какимъ-то огромнымъ гнѣздомъ для паразитовъ; цѣлыя стада на виду ходили въ его нестриженой и нечесаной головѣ; когда однажды сняли съ него рубашку и вынесли ее на снѣгъ, то снѣгъ зачернѣлся отъ нихъ. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ѣли тѣло бурсака“.

Д. И. Писаревъ.

* * *

*) Кромѣ людей совершенно забитыхъ, Достоевскій выводитъ и такихъ, въ которыхъ еще сохранилось сильнѣйшее

*) О. Миллеръ. „Публичныя Лекціи“. С.-Пб. 1874 г. и 2-е изд. С.-Пб. 1878 г.

проявленіе личности—самоотверженіе, или же такихъ, которыхъ подавленіе ея доводитъ до озлобленія. Съ личностями послѣдняго рода нашему автору пришлось, наконецъ, стать лицомъ къ лицу въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“. Первое впечатлѣніе, испытанное составителемъ этихъ записокъ при поступленіи въ „мертвый домъ“, было самое тяжелое, самое безотрадное. Это множество людей, собравшихся не по доброй волѣ съ разныхъ концовъ обширной земли русской въ одно разношерстное общество, и на читателя производитъ сначала такое мрачное впечатлѣніе, что онъ готовъ повторить стихи Пушкина:

„Опасность, кровь, развратъ, обманъ
Суть узы страшнаго семейства;
Тотъ ихъ, кто съ каменной душой,
Прошелъ всѣ степени злодѣйства;
Кто рѣжетъ хладною рукой
Вдовицу съ бѣдной сиротой,
Кому смѣшно дѣтей стенанье,
Кто не прощаетъ, не щадитъ,
Кого убійство веселитъ
Какъ юношу любви свиданье“...

Но приглядываясь къ людямъ, которые его окружаютъ, составитель записокъ мало-по-малу различаетъ между ними натуры, мало испорченныя или даже исполненныя самыхъ симпатическихъ качествъ. Такими чертами отличается, напр., Сушиловъ, когда-то дворовый человѣкъ, Богъ вѣсть за что попавшій въ ссылку въ безотчетно-безправныя времена крѣпостничества, а въ самомъ ужасномъ отдѣленіи „мертваго дома“ очутившійся по наивности, заставившей его „смѣниться“ съ другимъ арестантомъ. Не менѣе сочувственнаго представляетъ и этотъ красивый мальчикъ Сироткинъ, любимецъ своей крестьянки-матери, прямо изъ подъ ея, по крайней мѣрѣ, теплаго крова попавшій въ рекруты; не помирившись со своею новой долей, онъ попытался сперва застрѣлиться, потомъ съ отчаянія, что это не удалось, вдругъ, въ порывѣ какого-то нравственнаго опьяненія, убилъ своего командира, и послѣ этого мгновеннаго взрыва снова обратился въ кроткаго, тихенькаго ребенка. Другого рода оттѣнокъ представляетъ Акимъ Акимычъ, человѣкъ, постоянно съ величайшимъ усердіемъ исполнявшій всѣ обязанности службы, но разъ, по глу-

ности, хватившій въ своемъ усердіи черезъ край: разстрѣлявъ мирнаго кавказскаго князька, стрѣлявшаго по русскимъ крѣпостямъ, онъ безсознательно дошелъ до жестокости, поставленной ему въ вину и самимъ начальствомъ, въ сущности же остался предобродушнымъ малымъ. А кавказецъ Нурра, котораго вина заключалась въ томъ, что, принадлежа къ числу „мирныхъ“, онъ переходилъ къ „немирнымъ“ и дѣйствовалъ противъ русскихъ! Несмотря на этотъ горскій патріотизмъ, онъ въ острогѣ предобродушно относился къ своимъ русскимъ товарищамъ, а автора записокъ привѣтствовалъ дружескимъ ударомъ по плечу, которымъ хотѣлъ, очевидно, выказать свое сердечное участіе къ „новичку“. Или тотъ милый, кроткій Алей, о которомъ говоритъ авторъ, что „никогда его не забудетъ“,—этотъ младшій братъ въ семьѣ горцевъ, напавшій вмѣстѣ со старшими на караванъ съ цѣлью грабежа, но даже не знавшій при этомъ, куда и зачѣмъ его ведутъ, а слѣдовавшій за братьями потому, что младшему, по понятіямъ горцевъ, нельзя разсуждать, когда велятъ старшіе. Самъ по себѣ Алей — мягкій, добрый юноша. Онъ зачитывается въ острогѣ евангелія и съ особеннымъ наслажденіемъ думаетъ угодить христіанину тѣмъ, что говоритъ ему: „Иса былъ великій пророкъ!“ А величавая фигура старика раскольника, сосланнаго за то, что, съ его точки зрѣнія, представляется религіознымъ подвигомъ, и свое пребываніе въ одномъ мѣстѣ съ каторжниками считающаго за спасительное мученичество! Понятна послѣ этого сила его нравственнаго вліянія на остальныхъ каторжныхъ, которые такъ ему довѣряютъ, что всѣ отдаютъ ему на храненіе свои деньги. Но, мало-по-малу вглядываясь и въ другія личности, авторъ и въ нихъ понемногу отыскиваетъ человѣческія черты. Такъ, онъ замѣчаетъ въ нихъ жажду полезной работы, работы съ цѣлью, со смысломъ, и ту готовность, съ которой они принимаются за работу такого рода и стараются окончить ее непремѣнно къ сроку, потому что это дастъ имъ возможность выказать себя съ доброй стороны. Или усердное справленіе праздниковъ, которымъ арестанты какъ бы хотятъ сказать: „вѣдь, и мы тоже люди, тоже христіане!“ Или эта почти дѣтская радость, что имъ разрѣшили театръ, который дастъ возможность обнаружить свои способности и внести хотя нѣкоторое разнообразіе въ ихъ однозвучную жизнь; или то, что

пожертвованные колачи дѣлятся у нихъ постоянно поровну; или мягкія отношенія каторжниковъ къ ссыльнымъ изъ иноземцевъ, чуждыя всякой исключительности и нетерпимости. Вспомнимъ, наконецъ, и сцену выпуска на волю орла съ подстрѣленнымъ крыломъ, котораго никакъ не удалось жителямъ Мертваго Дома сдѣлать ручнымъ и который, быть можетъ, именно этимъ и вызываетъ ихъ особенное сочувствіе.

— Пусть хоть околѣетъ, да не въ острогѣ, говорили одни.

— Вѣстимо, птица вольная, суровая, не пріучишь къ острогу-то,—поддакивали другіе.

— Знать, онъ не такъ, какъ мы, прибавилъ кто-то.

— Вишь сморозилъ: то птица, а мы, значитъ, человѣки.

— Орелъ, братцы, есть царь лѣсовъ, и т. д.

И вотъ, несвободные сами, они по крайней мѣрѣ отпускаютъ на волю этого не поддавшагося острогу царя лѣсовъ и любуются, какъ онъ утекаетъ, несмотря на свое больное крыло.

— Вишь его!—задумчиво проговорилъ одинъ.

— И не оглянется! прибавилъ другой.

— А ты думалъ, благодарить воротится? — замѣтилъ третій.

— Знамо дѣло, воля. Волю почуялъ.

— Слобода, значитъ.

— И не видать уже, братцы...

Нельзя, наконецъ, не привести и слѣдующаго общаго замѣчанія составителя Записокъ:

„Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человѣка нѣсколько лѣтъ и думаешь про него, что это звѣрь, а не человѣкъ, презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу, и вы видите въ немъ такое богатство чувства, сердца, такое яркое пониманье и собственнаго и чужого страданья, что у васъ какъ бы глаза открываются и въ первую минуту даже не вѣрится тому, что вы сами увидѣли и услышали“...

Достоевскій вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ, до какой степени сколько-нибудь мягкое отношеніе начальства къ этимъ людямъ и малѣйшее выраженіе съ его стороны довѣрія къ

нимъ способно укрѣплять въ нихъ человѣческія чувства. Говоря объ одномъ изъ такихъ добрыхъ начальниковъ, онъ утверждаетъ: „потеряй онъ тысячу рублей, я думаю, первый воръ изъ нашихъ, если бы нашелъ ихъ, отнесъ бы къ нему". За то всякое выраженіе въ родѣ — „ты знаешь, я могу съ тобой все сдѣлать"—„я тебя въ бараній рогъ согну"—доводитъ этихъ людей до совершеннаго ожесточенія. Въ отпоръ тѣмъ, кто способенъ такъ выражаться, а равно и дѣйствовать въ соотвѣтственномъ духѣ, острожники противопоставляютъ горькую терпѣливость при самыхъ ужасныхъ наказаніяхъ. Та же особаго рода гордость не позволяетъ имъ и сознаваться въ своей преступности. Такая гордость является со стороны арестантовъ мстительнымъ отпоромъ всему обществу, изъ-за котораго ихъ, какъ грозящихъ его безопасности, засадили въ острогъ. „Большинство совсѣмъ не винило себя; врядъ-ли кто изъ нихъ сознавался внутренно въ своей беззаконности" *). Между тѣмъ авторъ представляетъ намъ и говѣніе арестантовъ, показываетъ, какъ они, при выходѣ священника съ чашей и произнесеніи имъ словъ: „помяни мя, яко разбойника", всѣ вдругъ, гремя цѣпями, падаютъ на землю, съ чувствомъ несомнѣннаго, искренняго раскаянія. Откуда-же вдругъ такое пробужденіе чувства виновности? Но, вѣдь, тутъ ихъ зовутъ словами, *одинаковыми для всѣхъ* (и съ разбойникомъ сравниваются тутъ *всѣ люди*), ихъ зовутъ къ пролившему свою кровь *за всѣхъ безъ изъятія;* тутъ, передъ этой *единой* чашей, они чувствуютъ себя дѣйствительно *равными со всѣми людьми,* тутъ и они—не отверженники родной семьи, и вотъ это-то сознаніе размягчаетъ ихъ ожесточившіяся сердца, и они готовы признать себя виноватыми, потому что тутъ оказываются виноватыми *всѣ вообще*. Въ концѣ „Записокъ изъ Мертваго Дома" Достоевскій спрашиваетъ: „...И сколько силъ погибло здѣсь даромъ! Вѣдь надо ужъ все сказать, вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ, вѣдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ? То-то, кто виноватъ?"

*) Это вполнѣ подтверждается содержаніемъ тѣхъ *арестантскихъ пѣсенъ,* которыя приводятся С. В. Максимовымъ въ 1-й ч. его труда: „Сибирь и Каторга".

Но и съ этимъ вопросомъ опять-таки мы должны, къ сожалѣнію, обратиться ко всѣмъ странамъ и ко всѣмъ народамъ, такъ какъ вездѣ преступленія являются, въ большей или меньшей степени, слѣдствіемъ несовершенства порядковъ общественныхъ. Многое въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ отзывается собственно нашей жизнью, связано съ нашими порядками, къ счастью, отчасти теперь уже упраздненными. Отжило крѣпостное право—и цѣлый многочисленный разрядъ ссыльныхъ сдѣлался послѣ того невозможнымъ. Смягчилась военная дисциплина, и все рѣже и рѣже должны становиться преступленія, вызывавшіяся прежнею крайнею строгостью. Новый судъ положилъ конецъ тому, что такъ глубоко возмущало составителя „Записокъ изъ Мертваго Дома“, — необращенію вниманія на побудительныя причины, исключительному принятію въ расчетъ только самаго *факта* преступленія. Право присяжныхъ — даже и признавая фактъ, оправдывать въ извѣстныхъ случаяхъ подсудимаго (право *священное,* безъ всякаго спора, хотя бы на первыхъ порахъ и могли случаться злоупотребленія), въ свою очередь положило конецъ цѣлому разряду прежнихъ каторжниковъ. Подъ вліяніемъ дальнѣйшихъ преобразованій много должно явиться и другихъ подобнаго рода *изъятій и сокращеній* въ числѣ преступниковъ. Въ самомъ быту арестантовъ многое можетъ улучшиться, при введеніи той или другой новѣйшей, усовершенствованной пенитенціарной системы. Но впечатлѣніе, производимое книгой Достоевскаго, не потеряетъ основной своей силы и послѣ самыхъ рѣшительно-гуманныхъ преобразованій по тюремной части. Вчитываясь въ нее, такъ и чувствуешь, что, какъ бы даже заключеннымъ ни было хорошо въ мѣстахъ заключенія, въ нихъ все-таки будетъ оставаться извѣстная доля озлобленія противъ общества, которое, видя въ нихъ враговъ своихъ, засадило ихъ хотя бы и въ наикомфортабельнѣйшую клѣтку.

Выводъ, невольно остающійся у читателя по прочтеніи книги, — таковъ, что тюрьмы только ограждаютъ общество отъ опасныхъ членовъ, но ни при какихъ условіяхъ, сами по себѣ, не исправляютъ этихъ людей, а потому единственныя дѣйствительныя мѣры противъ преступленій—это мѣры, ихъ *предупреждающія.* Такими же мѣрами могутъ оказаться только тѣ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ привели бы и къ сокра-

щенію числа „униженныхъ и оскорбленныхъ“; но, для подобнаго сокращенія, жизнь должна бы устроиться на такихъ широко-понимаемыхъ началахъ справедливости и человѣчности, какихъ еще нѣтъ нигдѣ. И когда-то они хоть гдѣ-нибудь будутъ!

Вотъ то заключеніе, которое придаетъ книгѣ Достоевскаго значеніе общечеловѣческое, и оно тѣмъ болѣе неотразимо, что авторъ не позволяетъ себѣ ни малѣйшей натяжки, ни малѣйшаго преувеличенія, нигдѣ не впадаетъ въ мелодраматизмъ или фальшивую идеализацію преступленія, а стремится только къ глубинѣ психическаго анализа, имъ вполнѣ и достигнутой. Это совсѣмъ не то, что мы видимъ у нѣкоторыхъ французскихъ писателей на ту же тему, у которыхъ преступники являются нерѣдко героями, а представители правосудія — какими-то мелодраматическими злодѣями. Дѣло вовсе не въ *злодѣяхъ*, а въ цѣломъ и повсемѣстномъ порядкѣ вещей, жертвою котораго оказываются цѣлые разряды преступниковъ“ *). У Достоевскаго эти послѣдніе, тѣмъ не менѣе, вовсе не являются образцами добродѣтели; они у него только остаются *людьми*, они у него—*несчастные*. Взглядъ Достоевскаго на преступника—это нашъ русскій народный взглядъ, тотъ взглядъ, который заставляетъ каждаго изъ народа съ особымъ радушіемъ подавать свою трудовую копейку именно такому „несчастному“. Но взглядъ этотъ, повидимому, вынесенъ изъ ученія, столь же хорошо извѣстнаго и всему христіанскому міру; взглядъ этотъ непосредственно основывается на словахъ: „не судите, да не судимы будете“ — или: „кто изъ васъ безъ грѣха, тотъ первый подними камень и брось въ нее“. Не мало было говорено о томъ, до какой степени слабо народъ нашъ усвоилъ себѣ столько уже вѣковъ тому назадъ доставшееся ему просвѣщеніе христіанское. И дѣйствительно, мы замѣчаемъ за нимъ особенную наклонность къ одной обрядности, при несомнѣнныхъ остаткахъ привычекъ и суевѣрныхъ понятій чисто языческихъ; дѣйствительно, ненарушеніе поста нерѣдко соединяется у него съ самымъ

*) Есть, разумѣется, множество преступленій особаго рода, порождаемыхъ не *подавленіемъ личности*, а предоставленіемъ ей, иногда съ самаго дѣтства, *слишкомъ широкаго балующаго и развращающаго простора*; къ такому же широкому простору, въ силу реакціи, склонны стремиться и личности подавляемыя,—и вотъ ихъ-то и имѣетъ въ виду Достоевскій“.

вопіющимъ нарушеніемъ первыхъ основъ христіанской, или даже и всякой, нравственности, и вовсе невыдуманными оказываются такіе случаи, что осѣняли себя крестомъ, приступая къ совершенію преступленія. Все это такъ, и никакая ложная сентиментальность въ отношеніяхъ нашихъ къ народу не должна намъ мѣшать признаваться въ этомъ. Но, съ другой стороны, нельзя не замѣтить, что нѣкоторыя стороны христіанскаго нравственнаго ученія запали, должно-быть, уже очень давно въ глубину души нашего народа и, однажды запавъ, прочно пустили тамъ корни. Вотъ этимъ-то объясняется и тотъ мягкій, сострадательный взглядъ на преступника, который доставилъ ему у насъ, разумѣется, при вліяніи множества историческихъ обстоятельствъ, нисколько неоскорбительное названіе „несчастнаго“.

О. Миллеръ.

* * *

*) Среди ужасовъ мертваго дома Достоевскій впервые сознательно повстрѣчался съ правдой народнаго чувства и въ его свѣтѣ ясно увидалъ неправоту своихъ революціонныхъ стремленій. Товарищи Достоевскаго по острогу были въ огромномъ большинствѣ изъ простого народа, и за не многими яркими исключеніями все это были худшіе люди народа. Но и худшіе люди простого народа обыкновенно сохраняютъ то, что теряютъ лучшіе люди интеллигенціи: вѣру въ Бога и сознаніе своей грѣховности. Простые преступники, выдѣляясь изъ народной массы своими дурными дѣлами, нисколько не отдѣляются отъ нея въ своихъ чувствахъ и взглядахъ, въ своемъ религіозномъ міросозерцаніи. Въ мертвомъ домѣ Достоевскій нашелъ настоящихъ „бѣдныхъ (или по народному выраженію несчастныхъ) людей“. Тѣ прежніе, которыхъ онъ оставилъ за собою, еще имѣли убѣжище отъ общественной обиды въ чувствѣ собственнаго достоинства, въ своемъ личномъ превосходствѣ. У каторжниковъ *этого* не было, но было нѣчто большее. Худшіе люди мертваго дома возвратили Достоевскому то, что отняли у него лучшіе люди интеллигенціи. Если тамъ среди представителей просвѣщенія остатокъ рели-

---

*) Владимиръ Соловьевъ. „Три рѣчи въ память Достоевскаго“. Москва 1884 г. (Читаны: 1-я въ 1881 г., 2-я въ 1882 г. и 3-я въ 1883 г.).

гіознаго чувства заставлялъ его блѣднѣть отъ богохульствъ передового литератора, то тутъ въ мертвомъ домѣ это чувство должно было воскреснуть и обновиться подъ впечатлѣніемъ смиренной и благочестивой вѣры каторжниковъ. Какъ бы забытые церковью, придавленные государствомъ, эти люди вѣрили въ Церковь и не отвергали государства. И въ самую тяжкую минуту за буйной и свирѣпой толпой каторжниковъ всталъ въ памяти Достоевскаго величавый и кроткій образъ крѣпостного мужика Марея, съ любовью ободряющаго испуганнаго барченка. И онъ почувствовалъ и понялъ, что передъ этой высшей Божьей правдой всякая своя самодѣльная правда есть ложь, а попытка навязать эту ложь другимъ есть преступленіе.

Вл. Соловьевъ.

* * *

*) Самъ Ѳ. М. (Достоевскій) въ томъ, что было имъ продиктовано для своей заграничной біографіи, говоритъ, что въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома" онъ подъ вымышленными именами разсказалъ свою жизнь въ каторгѣ и описалъ своихъ прежнихъ товарищей каторжныхъ." Самого себя онъ выставилъ тутъ подъ именемъ дворянина Александра Петровича Горянчикова, преступленіе котораго состояло въ убійствѣ изъ ревности... „Записки изъ Мертваго Дома", продиктовалъ онъ далѣе для иностранной своей біографіи, были прочитаны всей Россіей и до сихъ поръ цѣнятся весьма высоко, хотя порядки и обычаи, описанные въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома", давно уже измѣнились въ Россіи. Ѳеодоръ Михайловичъ счелъ нужнымъ указать за границей на эти измѣненія, связывая ихъ, конечно, со всѣми тѣми многообразными измѣненіями, какими обязаны мы Государю Александру Николаевичу. Самое появленіе въ печати „Записокъ изъ Мертваго Дома" было бы до Александра II немыслимо. Описать, напримѣръ, съ такимъ убійственнымъ реализмомъ тѣ только что вышедшія изъ-подъ палокъ спины, которыя пришлось видѣть Достоевскому въ каторжной больницѣ, можно было только при Царѣ, отмѣнившемъ палки. „Записки" и

*) О. Миллеръ. „Матеріалы для жизнеописанія Ѳ. М. Достоевскаго." Спб. 1883 г.

вообще, смѣло можно сказать, не отличаются утайками или недомолвками. Если Достоевскій нашелъ въ нихъ нужнымъ замаскироваться обыкновеннымъ преступникомъ изъ дворянъ, то онъ говоритъ и о настоящихъ политическихъ ссыльныхъ въ особой главѣ, появившейся въ журналѣ „Время“, подъ заглавіемъ „Товарищи“ (Декабрь 1862 г.). **).

О. Миллеръ.

**) Еще можно прочитать отзывы о „Запискахъ изъ Мертваго Дома“: въ журналѣ „Вѣкъ“ 1862 г., № 9—10 (статья подъ заглавіемъ: „Вопросъ о мѣстахъ заключенія арестантовъ въ Россіи“); „Русскомъ Мірѣ“ 1862 г., № 22 (подъ заглав. „На какомъ положеніи надѣваютъ кандалы на привиллегир. сословія“); Сынѣ Отечества“ 1862 г. № 25 (статья А. Х.).

Примѣч. В. Зелинскаго.

„ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ“.

(1866 г.) *).

**) Переберемъ одну за другою всѣ подробности той обстановки, при которой Раскольникову приходилось обдумывать свое положеніе и искать выхода изъ той ловушки, которую разставила ему жизнь; перечислимъ одно за другимъ впечатлѣнія, которыя ложились на его измученную нервную систему; взвѣсимъ и оцѣнимъ всѣ мелкія и мучительныя столкновенія съ грубостью и бездушностью окружающихъ людей, всѣ столкновенія, которыя направляли въ извѣстную сторону теченіе его мыслей,—и потомъ спросимъ себя, оставалась ли за Раскольниковымъ свобода выбора, и въ его-ли власти было придти или не придти къ тому дикому абсурду, которымъ закончилась его глухая и одинокая борьба.

Въ ту минуту, когда мы знакомимся съ Раскольниковымъ, онъ старается *„проскользнуть какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ“* мимо квартиры хозяйки, которой онъ долженъ, *и улизнуть, чтобы никто не видалъ*. При этомъ онъ чувствуетъ *какое-то болѣзненное и трусливое ощущеніе*, котораго стыдится и отъ котораго морщится. И это ощущеніе онъ принужденъ испытывать всякій разъ, когда выходитъ на улицу, потому что всякій разъ ему надо проходить по лѣстницѣ, мимо хозяйкиной двери, которая обыкновенно бываетъ отворена. Выходитъ онъ на улицу въ такомъ видѣ, который въ однихъ прохожихъ возбуждаетъ насмѣшку, въ другихъ отвращеніе, въ третьихъ праздное состраданіе. Онъ остается

*) Первоначально появилось въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1866 г., кн. 1—2, 4, 6, 8, 11—12. Отдѣльно: 2-е изд. С.-Пб. 1867 г.

**) Д. И. Писаревъ. „Дѣло“ 1867 г., № 5 („Будничныя стороны жизни“) и въ томъ же журналѣ въ 1868 г., № 8 (Борьба за существованіе“).

Примѣч. В. Зелинскаго.

равнодушенъ къ тому впечатлѣнію, которое его лохмотья могутъ произвести на уличную публику. Но почему онъ равнодушенъ? Потому, какъ объясняетъ г. Достоевскій, что въ душѣ его накопилось уже достаточное количество *злобнаго презрѣнія*. Это злобное презрѣніе, составляющее для Раскольникова оборонительное оружіе противъ мелкихъ булавочныхъ уколовъ, которые добрые люди расточаютъ своимъ ближнимъ для препровожденія времени,—пріобрѣтается не легко, покупается не дешевою цѣною, и изображаетъ собою такую почву, на которой могутъ укорениться и созрѣть самыя дикія, мрачныя и отчаянныя намѣренія. Это злобное презрѣніе еще недостаточно защищаетъ его отъ стыда за свою безпомощность, когда ему случается встрѣтиться съ знакомыми или съ прежними товарищами. Онъ тщательно избѣгаетъ такихъ встрѣчъ. Дурной знакъ! Его молодое самолюбіе такъ глубоко изранено разнообразнѣйшими оскорбленіями, что уже нѣтъ той формы дружескаго участія, которая могла бы доставить ему пріятное ощущеніе, и которая не показалась бы ему выраженіемъ обиднаго и высокомѣрнаго состраданія.

Раскольниковъ идетъ къ той старухѣ, которую онъ собирается убить; онъ идетъ закладывать серебряные часы и въ то же время осматривать мѣстность. Старуха даетъ ему за часы полтора рубля, и беретъ съ него проценты за мѣсяцъ впередъ, по десяти процентовъ въ мѣсяцъ. Раскольниковъ видитъ и чувствуетъ на самомъ себѣ, какъ люди пользуются страданіями своихъ ближнихъ, какъ искусно и старательно, какъ аккуратно и безопасно они высасываютъ послѣдніе соки изъ бѣдняка, изнемогающаго въ непосильной борьбѣ за жалкое и глупое существованіе. Ненависть и презрѣніе приливаютъ широкими и ядовитыми волнами въ молодую и воспріимчивую душу Раскольникова въ то время, когда грязная старуха, паукъ въ человѣческомъ образѣ, тянетъ изъ него все, что можно вытянуть изъ человѣка, находящагося наканунѣ голодной смерти. Ненависть и презрѣніе одолѣваютъ его съ такою силою, что ему становится безконечно отвратительнымъ даже бить эту старуху, даже марать руки ея кровью и ея деньгами, въ которыхъ ему чуются слезы многихъ десятковъ голодныхъ людей, быть можетъ, даже многихъ покойниковъ, умершихъ въ больницѣ, отъ истощенія силъ, или бросившихся въ воду, во избѣжаніе го-

лодной смерти. На минуту все тонетъ для Раскольникова въ какомъ-то туманѣ непобѣдимаго отвращенія. Пропадай эта подлая старуха, пропадай ея грязныя деньги, пропадай я самъ съ моими глупыми страданіями и еще болѣе глупыми планами обогащенія. Наплевалъ бы на всю эту тину человѣческой гнусности, ушелъ бы куда-нибудь, забылся бы, умеръ бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственнаго отвращенія усиливается еще и доводится до своего апогея простымъ ощущеніемъ физической тошноты. Раскольниковъ голоденъ до такой степени, что мысли путаются въ его головѣ. Онъ входитъ въ распивочную, выпиваетъ стаканъ холоднаго пива, и ему вдругъ становится веселѣе и легче; онъ самъ замѣчаетъ, что у него „крѣпнетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренія“. Сознательная ненависть къ старухѣ и взглядъ на ея безчестно нажитыя деньги, какъ на средство выбраться изъ затрудненія, одерживаютъ перевѣсъ надъ инстинктивно сильнымъ отвращеніемъ къ грязному убійству. Раскольниковъ замѣчаетъ тотчасъ же, что этотъ поворотъ въ его мысляхъ произошелъ отъ стакана пива, и это простое наблюденіе заставляетъ его плюнуть и сказать: „какое все это ничтожество!“ Изъ этого наблюденія онъ видитъ, что онъ не властенъ надъ своими мыслями, что онъ не можетъ подавлять или вызывать ихъ по своему благоусмотрѣнію, и что ему надо будетъ, волею или неволею, идти туда, куда поведутъ его внѣшнія вліянія, дающія его мыслямъ то или другое направленіе. Въ распивочной Раскольниковъ встрѣчается съ горькимъ пьяницею, отставнымъ чиновникомъ Мармеладовымъ, который комически-витіеватымъ языкомъ разсказываетъ ему свою простую и глубоко-трагическую исторію. Бѣдность, голодные дѣти, грязный уголъ, оскорбленія разныхъ нахаловъ, чахоточная жена, сохраняющая воспоминаніе о лучшихъ дняхъ и убивающая себя работою, старшая дочь, превратившаяся въ публичную женщину, чтобы поддерживать существованіе семейства—вотъ выдающіяся черты той жизни, которой панорама развертывается передъ Раскольниковымъ въ разсказѣ пьянаго Мармеладова. Самъ разсказчикъ нисколько не желаетъ себя выгораживать; съ смиреніемъ, свойственнымъ разговорчивому пьяницѣ, онъ неодно-

кратно называетъ себя свиньею и скотомъ, и доказываетъ очень убѣдительно, что онъ въ самомъ дѣлѣ скотъ и свинья. Онъ объясняетъ Раскольникову, съ чувствомъ искренняго негодованія противъ себя, что пропилъ даже чулки своей жены, пропилъ косыночку изъ козьяго пуха, „*даренную, прежнюю, ея собственную*", пропилъ въ послѣдніе пять дней свое мѣсячное жалованье, укравши его изъ-подъ замка у жены, вмѣстѣ съ жалованьемъ пропилъ форменное платье и послѣднюю надежду выбраться на чистую дорожку посредствомъ службы, которая была ему доставлена только по особому великодушію какого-то благодѣтеля, его превосходительства Ивана Аѳанасьевича, тронувшагося его слезными мольбами и взявшаго его на свою личную отвѣтственность. „Пятый день изъ дома, кончаетъ Мармеладовъ, и тамъ меня ищутъ, и службѣ конецъ, и вицъ-мундиръ въ распивочной у Египетскаго моста лежитъ, взамѣнъ чего и получилъ сіе одѣяніе... и всему конецъ".

До столкновенія съ Мармеладовымъ, Раскольниковъ зналъ коротко только тѣ физическія лишенія, которыя порождаются бѣдностью. Онъ могъ, конечно, дойти и, по всей вѣроятности, доходилъ путемъ теоретическихъ выкладокъ до того заключенія, что бѣдность, придавливая и пригибая человѣка къ землѣ, дѣлая его безотвѣтнымъ и беззащитнымъ, заставляя его ползать и пресмыкаться въ грязи у ногъ великодушныхъ благодѣтелей, медленно и безвозвратно убиваетъ въ немъ его человѣческое достоинство, но доходить путемъ размышленія до того вывода, что какой-нибудь фактъ возможенъ и дѣйствительно существуетъ, совсѣмъ не то, что встрѣтиться съ этимъ фактомъ лицомъ къ лицу, осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ и вдохнуть въ себя весь его своеобразный ароматъ. Раскольниковъ *никогда до сихъ поръ не входилъ въ распивочныя*, слѣдовательно никогда не видалъ вблизи тѣхъ образчиковъ нравственнаго паденія, которые изготовляются бѣдностью. Мармеладовъ и его разсказъ дѣйствуютъ на него такъ, какъ дѣйствуютъ обыкновенно на юнаго медицинскаго студента тѣ куски разлагающагося человѣческаго мяса, съ которыми онъ встрѣчается и принужденъ знакомиться самымъ обстоятельнымъ образомъ при первомъ своемъ вступленіи въ анатомическій театръ. Прошу читателей извинить меня. Мое сравненіе грѣшитъ тѣмъ, что оно слишкомъ слабо. Оно могло бы

сдѣлаться вѣрнымъ только въ томъ случаѣ, если бы мы предположили, что въ анатомическомъ театрѣ производятся вивисекціи надъ самими медицинскими студентами, и что каждый изъ этихъ студентовъ, превратившись подъ ножемъ прозектора въ куски кроваваго и разлагающагося мяса, продолжаетъ, въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, страдать, стонать, метаться, чувствуя и сознавая свое собственное гніеніе. Допустивши это дикое предположеніе и вообразивъ себѣ, какое чувство долженъ испытывать студентъ, вступающій въ анатомическій театръ, знающій заранѣе ту судьбу, которая его ожидаетъ, и встрѣчающійся въ первый разъ съ живыми примѣрами тѣхъ метаморфозъ, которыя скоро должны совершиться надъ нимъ самимъ, мы составимъ себѣ довольно ясное понятіе о томъ, что долженъ былъ передумать и перечувствовать Раскольниковъ, созерцая Мармеладова и выслушивая его пьяную исповѣдь. Всего ужаснѣе въ этой личности и въ этой исповѣди именно то, что Мармеладова невозможно презирать цѣликомъ, презирать такъ, чтобы къ этому презрѣнію не примѣшивалось никакого другого чувства. Глядя на него, Раскольниковъ не можетъ остановиться и успокоиться на томъ приговорѣ, что это дѣйствительно скотъ и свинья, и что въ этомъ скотѣ или въ этой свиньѣ никогда не было, или, по крайней мѣрѣ, уже не осталось ничего чисто-человѣческаго, ничего такого, въ чемъ просвѣчивало бы его сродство съ самимъ Раскольниковымъ, и въ чемъ таились бы задатки безпредѣльнаго совершенствованія. Мармеладовъ любитъ свою жену и своихъ дѣтей, запоминаетъ всѣ оттѣнки ихъ страданій, и самъ страдаетъ за нихъ и вмѣстѣ съ ними въ то же самое время, когда онъ самъ, своими же собственными руками сталкиваетъ ихъ въ грязную яму безвыходной нищеты, которая уже разрѣшилась для его старшей дочери всѣми муками и пытками вынужденнаго разврата. Мармеладовъ способенъ сознательно уважать свою жену, способенъ оцѣнивать, понимать и прощать естественною деликатностью и чуткостью глубоко-нѣжнаго характера (я бы сказалъ *сердца*, если бы не избѣгалъ этого неточнаго и до крайности опошленнаго выраженія) тѣ взрывы взбалмошной сварливости и несправедливой злости, которымъ подвержена эта измученная чахоточная женщина. „Лежалъ я тогда, говоритъ Мармеладовъ.... ну да ужъ что! лежалъ пьяненькой-съ, и слышу,

говоритъ моя Соня (безотвѣтная она, и голосокъ у ней такой кроткій.... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, худенькое), говоритъ: что-жъ, Катерина Ивановна, неужели же мнѣ на такое дѣло пойти? А ужъ Дарья Францовна, женщина злонамѣренная и полиціи многократно извѣстная, раза три черезъ хозяйку навѣдывалась. „А что-жъ, отвѣчаетъ Катерина Ивановна, въ пересмѣшку,—чего беречь? Эко сокровище!“ Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не въ здравомъ разсудкѣ сіе сказано было, а при взволнованныхъ чувствахъ, въ болѣзни и при плачѣ дѣтей не ѣвшихъ, да и сказано болѣе ради оскорбленія, чѣмъ въ точномъ смыслѣ.... Ибо Катерина Ивановна такого ужъ характера, и какъ расплачутся дѣти, хоть бы и съ голоду, тотчасъ же ихъ бить начинаетъ. И вижу я эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка встала, надѣла платочекъ, надѣла бурнусикъ, и съ квартиры отправилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла и прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ передъ ней тридцать цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только нашъ большой драдедамовый зеленый платокъ (общій такой платокъ у насъ есть, драдедамовый), накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ стѣнѣ, только плечики да тѣло все вздрагиваютъ.... А я, какъ и давеча, въ томъ же видѣ лежалъ-съ.... И видѣлъ я тогда, молодой человѣкъ, видѣлъ я, какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ въ ногахъ у ней на колѣнкахъ простояла, ноги ей цѣловала, встать не хотѣла, а потомъ такъ обѣ и заснули вмѣстѣ, обнявшись.... обѣ.... обѣ.... да-съ.... а я.... лежалъ пьяненькой-съ....“ Все разсказано просто, ясно и до послѣдней степени отчетливо. Приведены всѣ подробности, которыя могъ подмѣтить очевидецъ, глубоко заинтересованный въ совершавшемся событіи. Подмѣчено все, что могло бросить свѣтъ на характеры обѣихъ женщинъ, все, что могло объяснить и оправдать ихъ поступки, идущія въ разрѣзъ съ правилами той нравственности, которую счастливые люди могутъ и должны считать для себя обязательною, и во имя которой они очень естественнымъ образомъ расположены судить и осуждать своихъ несчастныхъ ближнихъ. Видно изъ каждаго слова разсказа, что впечатлѣнія этого роко-

вого вечера, какъ капли расплавленнаго свинца, падали въ мозгъ жалкаго пьяницы и оставляли въ немъ такіе слѣды, которыхъ не сотрутъ до конца его жизни никакіе винные пары. Все онъ понимаетъ, все объясняетъ, все прощаетъ и оправдываетъ—только для самого себя нѣтъ у него ни одного слова объясненія, прощенія и оправданія. И три раза встрѣчается въ его разсказѣ упоминаніе о томъ голомъ фактѣ, что онъ лежалъ пьяненькій, упоминаніе, похожее на похоронное пѣніе, пропѣтое человѣкомъ надъ самимъ собою. И съ этимъ-то яснымъ пониманіемъ своего глубокаго ничтожества, съ этимъ неизгладимымъ яркимъ и жгучимъ воспоминаніемъ о событіяхъ рокового вечера, онъ все-таки бѣжитъ въ кабакъ, укравши у жены свои трудовыя деньги, пьянствуетъ безъ просыпу пятеро сутокъ, губитъ всѣ послѣднія надежды своего семейства, и въ довершеніе всѣхъ своихъ подвиговъ, спустивши въ кабакахъ все, что можно было спустить, идетъ выпрашивать у своей дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на послѣдній полуштофъ водки частицу тѣхъ денегъ, которыя она добываетъ отъ искателей легкой и дешевой любви, и которыя составляютъ единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и троихъ вѣчно голодныхъ ребятишекъ. Ясное дѣло, что Мармеладовъ трупъ, чувствующій и понимающій свое разложеніе, трупъ, слѣдящій съ невыразимо-мучительнымъ вниманіемъ, за всѣми фазами того ужаснаго процесса, которымъ уничтожается всякое сходство этого трупа съ живымъ человѣкомъ, способнымъ чувствовать, мыслить и дѣйствовать. Это мучительное вниманіе составляетъ послѣдній остатокъ человѣческаго образа; глядя на этотъ послѣдній остатокъ, Раскольниковъ можетъ понимать, что Мармеладовъ не всегда былъ такимъ трупомъ, какимъ онъ видитъ его въ распивочной, за полуштофомъ, купленнымъ на Сонины деньги. Этотъ остатокъ намекаетъ ему на то, что есть тропинка, ведущая къ Мармеладовскому паденію, и что есть возможность спуститься на эту скользкую тропинку даже съ той высоты умственнаго и нравственнаго развитія, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Не даромъ же Мармеладовъ обращается въ распивочной исключительно къ нему одному, и не даромъ же онъ самъ слушаетъ его разсказъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Между ними есть точки соприкосновенія, между ними существуетъ возможность

взаимнаго пониманія, и, стало быть, нѣтъ основаній ручаться за то, чтобы тѣ испытанія, которыя погубили Мармеладова, не обнаружили своего мертвящаго и разлагающаго вліянія надъ Раскольниковымъ. Мармеладова раздавила бѣдность, та самая бѣдность, которая давитъ Раскольникова, и уже довела его до изнурительной апатіи и до дикихъ мыслей о грабежѣ и убійствѣ. Мармеладовъ не вынесъ своихъ страданій, осложненныхъ страданіями продолжительными и разнообразными, то острыми, то хроническими страданіями тѣхъ людей, которые были ему дороги, и которыхъ существованіе онъ одинъ могъ и одинъ обязанъ былъ обезпечивать. Мармеладовъ не вынесъ и сталъ искать себѣ минутнаго забвенія; онъ *прикоснулся*, какъ онъ самъ выражается, и прикоснулся по тому самому побужденію, по которому человѣкъ, страдающій невыносимою зубною болью, кладетъ себѣ опіумъ или хлороформъ въ дупло больного зуба. Мармеладовъ сдѣлался врагомъ, разорителемъ и мучителемъ своего семейства, такъ нечувствительно и незамѣтно для самого себя, какъ человѣкъ, пристрастившійся къ леченію посредствомъ опіума, становится сознательно губителемъ собственнаго здоровья. Мармеладовъ не принималъ никакихъ противозаконныхъ и насильственныхъ мѣръ противъ своей нищеты; онъ просто падалъ, вязнулъ и тонулъ, потому что у него не хватало силъ стоять на ногахъ, и потому что его ноги не находили себѣ твердой точки опоры въ той бездонной трясинѣ, которая изъ году въ годъ поглощаетъ сотни и тысячи бѣдныхъ людей. Результатъ, къ которому онъ пришелъ путемъ этого краткаго и пассивнаго погруженія въ болото нищеты, разоблачился передъ Раскольниковымъ во всей наготѣ своего потрясающаго безобразія. При томъ направленіи, которое уже было дано мыслямъ Раскольникова, при томъ планѣ, по которому уже складывались и созрѣвали его намѣренія, видъ трупа, доведеннаго до разложенія собственною пассивностью и кротостью, долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова такъ, какъ можетъ подѣйствовать ударъ каленымъ желѣзомъ на бѣшеную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ея образъ дѣйствій также наводятъ Раскольникова на такія размышленія, которыя могутъ только расчищать передъ нимъ дорогу къ преступленію. Во-первыхъ, у Раскольникова есть сестра, дѣвушка молодая, умная, обра-

зованная, и красавица собою. Раскольниковъ любитъ свою сестру такъ же сильно, какъ Мармеладовъ любитъ свою старшую дочь. Но къ чему годится эта сильная любовь бѣднаго, задавленнаго и безсильнаго человѣка? Отъ чего можетъ защитить и куда можетъ привести такая любовь? Пользуясь этою любовью, Авдотья Романова Раскольникова такъ же точно можетъ очутиться въ безотчетномъ распоряженіи уличныхъ ловеласовъ, какъ очутилась въ ихъ распоряженіи Софья Семеновна Мармеладова. Невозможно разсчитывать навѣрное даже и на тотъ исходъ, что самоубійство спасетъ Авдотью Романовну отъ вынужденнаго разврата. Можетъ быть, Софья Семеновна также сумѣла бы броситься въ Неву; но, бросаясь въ Неву, она не могла бы выложить на столъ предъ Катериною Ивановною тридцать цѣлковыхъ, въ которыхъ заключается весь смыслъ и все оправданіе ея безнравственнаго поступка. Бываютъ въ жизни такія положенія, которыя убѣждаютъ безпристрастнаго наблюдателя въ томъ, что самоубійство есть роскошь, доступная и позволительная только обезпеченнымъ людямъ. Очутившись въ такомъ положеніи, человѣкъ научается понимать выразительную пословицу: куда ни кинь, все клинъ. Къ такому положенію оказываются непримѣнимыми правила и предписанія общепринятой житейской нравственности. Въ такомъ положеніи, точное соблюденіе каждаго изъ этихъ превосходныхъ правилъ и предписаній приводитъ человѣка къ какому-нибудь вопіющему абсурду. То, что при обыкновенныхъ условіяхъ было бы священною обязанностью, начинаетъ казаться человѣку, попавшему въ исключительное положеніе, презрѣннымъ малодушіемъ или даже явнымъ преступленіемъ; то, что при обыкновенныхъ условіяхъ возбудило бы въ человѣкѣ ужасъ и отвращеніе, начинаетъ казаться ему необходимымъ шагомъ или геройскимъ подвигомъ, когда онъ находится подъ гнетомъ своего исключительнаго положенія. И не только самъ человѣкъ, подавленный исключительнымъ положеніемъ, теряетъ способность рѣшать нравственные вопросы такъ, какъ они рѣшаются огромнымъ большинствомъ его современниковъ и соотечественниковъ, но даже и безпристрастный наблюдатель, вдумываясь въ такое исключительное положеніе, останавливается въ недоумѣніи и начинаетъ испытывать такое ощущеніе, какъ будто бы онъ попалъ въ новый особенный, совершенно фантастическій міръ, гдѣ все

дѣлается навыворотъ, и гдѣ наши обыкновенныя понятія о добрѣ и злѣ не могутъ имѣть никакой обязательной силы. Что вы скажете, въ самомъ дѣлѣ, о поступкѣ Софьи Семеновны? Какое чувство возбудитъ въ васъ этотъ поступокъ: презрѣніе или благоговѣніе? Какъ вы назовете ее за этотъ поступокъ: грязною потаскушкою, бросившею въ уличную лужу святыню своей женской чести, или великодушною героинею, принявшею съ спокойнымъ достоинствомъ свой мученическій вѣнецъ? Какой голосъ эта дѣвушка должна принять за голосъ совѣсти, тотъ ли, который ей говорилъ: „сиди дома и терпи до конца; умирай съ голоду вмѣстѣ съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и съ сестрами, но сохраняй до послѣдней минуты свою нравственную чистоту“, — или тотъ, который говорилъ: не жалѣй себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси, утѣшь, поддержи этихъ людей, накорми и обогрѣй ихъ хоть на недѣлю, во что бы то ни стало? Я очень завидую тѣмъ изъ моихъ читателей, которые могутъ и умѣютъ рѣшать съ плеча, безъ оглядки и безъ колебаній вопросы, подобные предыдущему. Я самъ долженъ сознаться, что передъ такими вопросами я становлюсь въ тупикъ; противоположныя воззрѣнія и доказательства сталкиваются между собою; мысли путаются и мѣшаются въ моей головѣ; я теряю способность оріентироваться и анализировать; начинается тревожное и мучительное исканіе какой-нибудь твердой точки и какого-нибудь возможнаго выхода изъ заколдованнаго круга, созданнаго исключительнымъ положеніемъ. Кончается-ли это исканіе какимъ-нибудь положительнымъ результатомъ, нахожу-ли я точку опоры и удается-ли мнѣ замѣтить выходъ—объ этомъ я не скажу моимъ читателямъ ни одного слова.

Если здѣсь возможенъ какой-нибудь положительный результатъ, то онъ во всякомъ случаѣ долженъ показаться читателямъ такою выдумкою, которая въ высшей степени похожа на абсурдъ или на парадоксъ. Но, такъ какъ, съ одной стороны, бросать бисеръ передъ свиньями нерасчетливо и неблагоразумно, то, съ другой стороны, также неблагоразумно и нерасчетливо, и, кромѣ того, даже очень невѣжливо предлагать предметы, годные только для свиней, какъ то жолуди и отруби, такимъ особамъ, передъ которыми слѣдуетъ разсыпать чистый бисеръ. Поэтому, если бы даже я имѣлъ несчастье

добраться путемъ моихъ размышленій до обильнаго запаса желудей и отрубей, то я бы тщательно скрылъ отъ моихъ благовоспитанныхъ читателей мое неприличное открытіе. Это было бы тѣмъ болѣе удобно, что, въ настоящемъ случаѣ, насъ занимаетъ исключительно вопросъ о томъ: какимъ образомъ разсказъ Мармеладова о поступкѣ Сони долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова? Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительныхъ колебаній во взглядѣ на этотъ поступокъ. Раскольниковъ не могъ быть безпристрастнымъ наблюдателемъ. Раскольниковъ самъ былъ въ высшей степени ожесточенъ трудностями своего собственнаго положенія: на его душѣ накопилось, какъ мы уже видѣли выше, много злобнаго презрѣнія къ обществу, къ его законамъ и ко всѣмъ его установившимся нравственнымъ понятіямъ. Онъ самъ уже былъ коротко знакомъ съ тою опасною мыслью, что бѣднякъ, которому общество отказываетъ въ работѣ и въ кускѣ хлѣба, долженъ поневолѣ вступить въ открытую войну съ этимъ обществомъ, и вести эту войну всѣми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и безсовѣстно всѣ предписанія нравственнаго закона. То обстоятельство, что Соня шла наперекоръ общественному мнѣнію, должно было подкупить Раскольникова въ пользу ея поступка. Въ этомъ поступкѣ онъ могъ видѣть только то высокое самоотверженіе, съ которымъ Соня рѣшилась надѣть мученическій вѣнецъ и выпить до дна чашу униженія и страданія. Онъ могъ только почувствовать къ Сонѣ восторженное уваженіе за то, что она, подобно Курцію, бросилась въ пропасть и согласилась сдѣлаться искупительною жертвою за цѣлое семейство. При этомъ, разумѣется, онъ долженъ былъ также сообразить, что пропасть, въ которую бросилась Соня, все-таки остается открытою, и что семейство, за которое принесена жертва, все-таки остается неискупленнымъ, такъ что младшія сестры Сони сохраняютъ за собою всѣ шансы отправиться въ свое время по ея слѣдамъ. Примѣръ Сони долженъ былъ, съ одной стороны, возбудить въ немъ соревнованіе, а съ другой стороны, подѣйствовать на него, какъ предостереженіе. Съ одной стороны, онъ долженъ былъ подумать: вѣдь вотъ въ самомъ дѣлѣ, эта Соня! Семнадцатилѣтняя дѣвушка, слабая, робкая, безотвѣтная, забитая, не развитая, опутанная всякими рутинными понятіями и пред-

разсудками,—а какъ пришлось очень круто, такъ сумѣла же рѣшиться, и нашла возможность дѣйствовать. Не осталась же она дома, чтобы сидѣть сложа руки, хныкать надъ пьянымъ отцомъ, надъ больною мачихою, надъ голодными ребятами, или въ тысячный разъ затыкать трудовыми копеечками такую прорѣху, на которую очевидно требовались рубли, добытые какими бы то ни было средствами. Нѣтъ. Посидѣла, поплакала, надумалась, вышла на улицу, бросилась прямо въ грязь и выкопала изъ этой грязи тридцать рублей для семейнаго бюджета. А я то чего же смотрю. Я то, мужчина, сильный человѣкъ, свободный мыслитель, строгій судья существующихъ нелѣпостей! Развѣ я неспособенъ понять, что мое положеніе не поправляется грошевыми уроками? Развѣ я считать не умѣю? Или я, можетъ быть, боюсь столкновенія съ существующими понятіями, боюсь того, чего не боялась Соня? Или я жду того, чтобы сестра Дуня приняла на себя обязанности искупительной жертвы за наше семейство и погибла бы такъ же безтолково и такъ же безплодно, какъ погибла эта Соня? Или я просто на словахъ города беру, а на дѣлѣ поджимаю хвостъ передъ простымъ городовымъ.

Съ другой стороны, онъ долженъ былъ подумать: не стоитъ мараться по мелочамъ и изъ-за пустяковъ. Ужъ если бросаться въ грязь, то бросаться не изъ-за тридцати цѣлковыхъ, и ужъ, конечно, не такъ нерасчетливо, какъ бросилась эта Соня. Надо сильно рискнуть, чтобы много выиграть. Надо такъ—или панъ или пропалъ!—А то ужъ лучше лежать дома на диванѣ, хлебать вчерашнія Настасьины щи, прятаться отъ хозяйки, бѣгать высуня языкъ за грошевыми уроками, какъ за кладомъ, который все не дается въ руки,—и при этомъ утѣшать себя пріятнымъ сознаніемъ своей незапятнанной честности.—Я убѣдительно прошу читателей не думать, что я сколько-нибудь одобряю эти размышленія Раскольникова; я нахожу напротивъ того, что его ироническія отношенія къ незапятнанной честности и къ упорному труду, получающему копеечное вознагражденіе, въ высшей степени предосудительны; я вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что его мысли—дурныя, вредныя и опасныя мысли. Я только осмѣливаюсь утверждать и стараюсь доказывать, что эти мысли были неизбѣжными продуктами его невыносимаго положенія; въ этихъ мысляхъ проявилась та болѣзнь, которая развилась въ немъ

подъ вліяніемъ его лишеній и разнообразныхъ страданій, та болѣзнь, которую нельзя назвать помѣшательствомъ, но которая все-таки ведетъ и должна вести человѣка къ нелѣпымъ и безобразнымъ поступкамъ. При тѣхъ условіяхъ, которыя давили Раскольникова, у него не могло быть никакихъ другихъ мыслей. Поставьте на мѣсто Раскольникова какого-нибудь другого человѣка обыкновенныхъ размѣровъ, развивавшагося иначе и смотрящаго на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тотъ же самый результатъ. Невыносимое положеніе воспитаетъ въ немъ ту же самую болѣзнь, и всѣ его мысли примутъ то же самое вредное и опасное направленіе. Онъ убѣдитъ себя въ томъ, что общество обращается съ нимъ, какъ съ голоднымъ волкомъ, и что ему остается только принять на себя эту странную роль со всѣми ея возможными послѣдствіями, со всѣми ея своеобразными правами и обязанностями, со всѣми ея удобствами и неудобствами.

Будемъ теперь слѣдить дальше за тѣми впечатлѣніями, которыя доставались на долю Раскольникова и могли обнаруживать на общее теченіе его мыслей то или другое вліяніе. На другой день послѣ посѣщенія распивочной, Раскольниковъ получаетъ письмо отъ своей матери. Видъ этого письма дѣйствуетъ на него очень сильно: „Письмо, говоритъ г. Достоевскій, дрожало въ рукахъ его; онъ не хотѣлъ распечатывать при ней (при Настасьѣ): ему хотѣлось остаться *наединѣ* съ этимъ письмомъ. Когда Настасья вышла, онъ быстро поднесъ его къ губамъ и поцѣловалъ, потомъ долго еще вглядывался въ почеркъ адреса, въ знакомый и милый ему мелкій почеркъ его матери, учившей его когда-то читать и писать. Онъ медлилъ; онъ даже какъ будто боялся чего-то“. Если человѣкъ такимъ образомъ принимаетъ и держитъ нераспечатанное письмо, то вы можете себѣ представить, какъ онъ будетъ читать его по строкамъ, и между строками, какъ онъ будетъ всматриваться въ каждый оттѣнокъ и поворотъ мысли, какъ онъ въ словахъ и подъ словами будетъ отыскивать затаенную мысль, отыскивать то, что лежало, быть можетъ, тяжелымъ камнемъ на душѣ писавшей особы, и что скрывалось самымъ тщательнымъ образомъ отъ пытливыхъ глазъ любимаго сына. Начинается чтеніе. Начинается одна изъ самыхъ утонченныхъ пытокъ,

какія только могутъ выпасть на долю бѣднаго человѣка, еще не доведеннаго гнетущею нищетою до тупости, безчувственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Изъ этихъ драгоцѣнныхъ строкъ, согрѣтыхъ кроткимъ и мягкимъ сіяніемъ безпредѣльной материнской нѣжности, сыплются на изнемогающаго Раскольникова такіе жгучіе удары, которые могутъ быть нанесены ему именно только рукою любящей матери. Письмо написано самымъ добрымъ и веселымъ тономъ, и наполнено самыми пріятными извѣстіями, и вслѣдствіе этого мучительность пытки становится еще болѣе утонченною. Письмо начинается самыми горячими выраженіями любви: „ты знаешь, какъ я люблю тебя, ты одинъ у насъ, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упованіе наше“. Затѣмъ слѣдуютъ извѣстія о сестрѣ: „Слава тебѣ Господи, кончились ея истязанія, но разскажу тебѣ все попорядку, чтобы ты узналъ, какъ все было, и что мы отъ тебя до сихъ поръ скрывали“. Такъ какъ Раскольникову пишутъ объ *окончившихся* истязаніяхъ, и при этомъ признаются, что отъ него *до сихъ поръ* скрывали многое, или даже все, то ему представляется полнѣйшее право думать, что теперь начинаются новыя истязанія, которыя также будутъ отъ него скрываться до тѣхъ поръ, пока они въ свою очередь не превратятся въ окончившіяся. Раскольниковъ, конечно, съ внимательностью, свойственною сильно любящему человѣку, наматываетъ себѣ на усъ это полезное указаніе, и продолжаетъ чтеніе съ твердою рѣшимостью разглядѣть между радостными строками эти начинающіяся или уже начавшіяся истязанія. Касательно окончившихся истязаній въ письмѣ сообщаются слѣдующія подробности. Дуня поступила гувернанткою въ домъ господъ Свидригайловыхъ, и забрала впередъ *цѣлыхъ сто рублей*, „болѣе для того, чтобы выслать тебѣ шестьдесятъ рублей, въ которыхъ ты тогда такъ нуждался, и которые ты и получилъ отъ насъ въ прошломъ году“. Закабаливъ себя такимъ образомъ на нѣсколько мѣсяцевъ, Дуня принуждена была переносить грубости г. Свидригайлова, стараго кутилы, трактирнаго героя и уличнаго донъ-Жуана, который, какъ сказано въ письмѣ, *по старой привычкѣ своей, находился часто подъ вліяніемъ Бахуса*. Отъ грубостей и насмѣшекъ г. Свидригайловъ перешелъ къ настойчивому ухаживанію и усиленно сталъ приглашать Дуню

къ побѣгу за границу. Супруга г. Свидригайлова, Марѳа Петровна, влюбленная въ мужа по уши, въ высшей степени взбалмошная и ревнивая до крайности, подслушала *своего мужа умоляющаго Дунечку въ саду*, перепутала въ своей убогой головѣ всѣ обстоятельства дѣла, выскочила изъ своей засады какъ бѣшеная кошка, собственноручно отколотила Дуню, „не хотѣла ничего слушать, а сама цѣлый часъ кричала, и, наконецъ, приказала тотчасъ же отвезти Дуню въ городъ, на простой крестьянской телѣгѣ, въ которую сбросили всѣ ея вещи, бѣлье, платья, все какъ случилось, неувязанное и неуложенное. А тутъ поднялся проливной дождь, и Дуня оскорбленная и опозоренная, должна была проѣхать съ мужикомъ цѣлыхъ семнадцать верстъ въ некрытой телѣгѣ". Этимъ мщеніемъ не удовлетворилась разгнѣванная Юнона. Пріѣхавъ въ городъ, она стала такъ успѣшно звонить во всѣхъ домахъ о своихъ семейныхъ несчастіяхъ и о преступленіяхъ безстыжей дѣвки Авдотьи Раскольниковой, что мать и сестра нашего героя были принуждены запереться дома *отъ подозрительныхъ взглядовъ и шептаній*. Всѣ знакомые отъ нихъ отстранились, всѣ перестали имъ кланяться; шайка негодяевъ изъ купеческихъ приказчиковъ и канцелярскихъ писцовъ, всегда готовыхъ бить и оплевывать всякаго лежачаго, стремилась даже принять на себя роль мстителей за outrage à la morale publique, и собиралась вымазать дегтемъ ворота того дома, въ которомъ жила коварная соблазнительница цѣломудреннаго г. Свидригайлова. Хозяева дома, пылая тѣмъ же добродѣтельнымъ негодованіемъ и преклоняясь передъ непогрѣшимымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія, коноводомъ котораго являлась постоянно бѣшеная дура Марѳа Петровна, потребовали даже, чтобы госпожи Раскольниковы очистили квартиру отъ своего тлетворнаго и компрометирующаго присутствія.

Наконецъ, дѣло разъяснилось. Свидригайловъ предъявилъ своей бѣсноватой супругѣ письмо Авдотьи Романовны, написанное задолго до трагической сцены въ саду, и доказывавшее очевидно, что во всемъ былъ виноватъ только одинъ старый селадонъ. Изъ этого письма Марѳа Петровна извлекла себѣ новыя и въ высшей степени драгоцѣнныя средства разнообразить, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, безконечные досуги своей сытой и сонной жизни. Съ искреннимъ увлеченіемъ

праздной и пустой женщины, которая со скуки готова съ одинаковымъ наслажденіемъ злословить и благотворить, клеветать и вышивать подвѣски къ паникадиламъ, устраивать концерты въ пользу бѣдныхъ и сѣчь на конюшнѣ беременныхъ горничныхъ,— Марѳа Петровна напустила на себя раскаяніе, прискакала въ городъ, влетѣла въ квартиру Раскольниковыхъ, наводнила эту квартиру потоками своихъ дешевыхъ слезъ, попробовала задушить Дуню и ея мать въ своихъ непрошеныхъ объятіяхъ, и потомъ принялась бѣгать по городу и перезванивать по новому всю исторію, съ приличнымъ акомпаниментомъ вздоховъ, криковъ, рыданій, сморканій и пѣвучихъ проклятій, направленныхъ на коварнаго изверга и жестокаго тирана ея нѣжной и пылающей души. Почтенные обитатели города встрепенулись и обрадовались новому обороту дѣла, которое уже казалось поконченнымъ, обрадовались такъ же безкорыстно и простодушно, какъ они обрадовались бы извѣстію о томъ, что въ ихъ городѣ родился поросенокъ о двухъ головахъ, или что черезъ ихъ захолустье проѣдетъ въ скоромъ времени какое-нибудь белуджистанское посольство. Нашлась для людей неожиданная возможность о чемъ-то говорить и прикидываться въ продолженіе нѣсколькихъ дней, что они о чемъ-то думаютъ и чѣмъ-то озабочены. Дунечка сдѣлалась героинею дня, то-есть, всѣ пошляки и негодяи города, всѣ сплетники и сплетницы, всѣ безмозглые и бездушные руководители и руководительницы такъ называемаго общественнаго мнѣнія, присвоили себѣ право и вмѣнили себѣ въ священную обязанность заглядывать своими глупыми глазами въ душу оскорбленной дѣвушки, ходить своими грязными руками и ногами по всѣмъ закоулкамъ ея недавняго страданія, и комментировать силами своихъ куриныхъ умовъ такіе оттѣнки чувства и проблески мысли, до которыхъ имъ самимъ удастся возвыситься только тогда, когда они сумѣютъ укусить собственный локоть. Дунечка сдѣлалась поводомъ для цѣлаго ряда литературныхъ чтеній. Марѳѣ Петровнѣ „пришлось нѣсколько дней сряду объѣзжать всѣхъ въ городѣ, такъ какъ иные стали обижаться, что другимъ оказано было предпочтеніе, и такимъ образомъ завелись очереди; такъ что въ каждомъ домѣ уже ждали заранѣе и всѣ знали, что въ такой-то день Марѳа Петровна будетъ тамъ-то читать это письмо, и на каждое чтеніе опять-таки собирались даже и

тѣ, которые письмо уже нѣсколько разъ прослушали и у себя въ домахъ и у другихъ знакомыхъ, по очереди". Къ довершенію благополучія и къ окончательному увѣнчанію оправданной добродѣтели, почтенный и солидный человѣкъ, *уже надворный совѣтникъ,* составившій себѣ капиталъ, и раздѣляющій во многомъ, какъ онъ самъ выражается, *убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ,* словомъ, ходячая квинтессенція всей приличной и самодовольной пошлости, украшающей своимъ существованіемъ тотъ городъ, въ которомъ живутъ госпожи Раскольниковы, подноситъ Авдотьѣ Романовнѣ руку и сердце, въ видѣ высокой и торжественной награды за незаслуженныя страданія. Имя этого благодѣтеля—Петръ Петровичъ Лужинъ. Онъ дальній родственникъ Марѳы Петровны, которая очень горячо мастеритъ это дѣло, потому что она женщина богатая, вліятельная, великодушная и подверженная припадкамъ внезапнаго вдохновенія, потому что она вольна казнить, вольна и миловать ничтожество, подобное Дунѣ Раскольниковой, и еще потому, что это казненіе и милованіе, игриво чередуясь между собою, пріятно разнообразятъ идиллію ея сельской жизни. Все вниманіе Раскольникова сосредоточивается на Петрѣ Васильевичѣ Лужинѣ; Раскольниковъ догадывается съ первыхъ словъ письма объ этомъ щекотливомъ сюжетѣ, что начинающіяся истязанія, о которыхъ ему, разумѣется, не пишутъ и не будутъ писать, какъ не писали о грубостяхъ и любезностяхъ г. Свидригайлова и о воинственныхъ подвигахъ его супруги,— идутъ теперь отъ солиднаго человѣка, уже составившаго себѣ капиталъ и раздѣляющаго во многомъ убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ. Въ своемъ письмѣ, мать Раскольникова, Пульхерія Александровна, говоря о Лужинѣ, носится между Сциллою и Харибдою. Съ одной стороны, ей необходимо расположить сына въ пользу Петра Петровича, чтобы состоялась свадьба, на которой основываются многія ея надежды. Съ другой стороны, ей надо соблюдать въ похвалахъ очень большую осторожность и умѣренность, потому что ея сыну предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ личная встрѣча съ Петромъ Петровичемъ, встрѣча, которая, въ случаѣ сильнаго разочарованія со стороны молодого и пылкаго Раскольникова, можетъ кончиться неожиданнымъ и рѣшительнымъ разрывомъ. Дуня уже дала Петру Петровичу

свое согласіе, и мать старается убѣдить себя, что ея дочь будетъ, если и не совсѣмъ счастлива, то, по крайней мѣрѣ, и не слишкомъ несчастлива. Она видитъ ясно въ Лужинѣ черствость, мелочность, скаредность и тщеславіе; ее коробитъ отъ всѣхъ этихъ украшеній того человѣка, въ рукахъ котораго будетъ находиться жизнь ея дочери, она чувствуетъ, что Дуня добровольно и сознательно беретъ на себя очень тяжелый крестъ; но и мать и дочь, обѣ дорожатъ предположеннымъ бракомъ и считаютъ его за счастье, потому что онъ дастъ имъ возможность, по крайней мѣрѣ, неопредѣленную надежду вытащить безцѣннаго Родю, то-есть нашего героя, изъ болота нищеты на гладкую и твердую дорогу. Въ своемъ письмѣ, Пульхерія Александровна старается говорить о Лужинѣ спокойно, весело и развязно; она старается показать, что онѣ съ дочерью не обманываютъ себя фантастическими надеждами, что онѣ видятъ ясно всѣ достоинства и недостатки жениха, всѣ удобства и неудобства предположеннаго брака, и что ихъ согласіе дано послѣ зрѣлаго и хладнокровнаго обсужденія вопроса со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Но Раскольниковъ изъ письма своей матери выноситъ совсѣмъ не то впечатлѣніе, на которое разсчитывала Пульхерія Александровна. Раскольниковъ видитъ ясно, что тутъ не было никакого хладнокровія и никакого обсужденія; онъ видитъ, что все было рѣшено обѣими женщинами въ чаду самопожертвованія, и что онѣ обѣ, и мать и дочь, стараются поддерживать этотъ чадъ, занимаясь построеніемъ воздушныхъ замковъ, которые, разумѣется, всѣ безъ исключенія относятся къ участи Родіона Романовича Раскольникова. Въ письмѣ говорится, что Лужинъ *и тебѣ можетъ быть весьма полезенъ, и что ты, даже съ теперешняго же дня, могъ бы опредѣленно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно опредѣлившеюся*... Дуня только и мечтаетъ объ этомъ... Дуня ни о чемъ, кромѣ этого, и не думаетъ. Она теперь, уже нѣсколько дней, просто въ какомъ-то жару и составила уже цѣлый проектъ о томъ, что впослѣдствіи ты можешь быть товарищемъ и даже компаніономъ Петра Петровича по его тяжебнымъ занятіямъ, тѣмъ болѣе, что ты самъ на юридическомъ факультетѣ“.

То дѣйствіе, которое должно произвести на Раскольникова радостное письмо его матери о радостномъ событіи, случив-

шемся съ его сестрою, такъ ясно и понятно, что о немъ нечего много распространяться. Параллель между Сонею и Дунею сама собою напрашивается въ его голову; онъ думаетъ, что если только онъ позволитъ совершиться той жертвѣ, которая должна купить ему карьеру и обезпеченное существованіе, то онъ самъ упадетъ ниже отставного чиновника Мармеладова; у того есть, по крайней мѣрѣ, хоть несчастная страсть, которою объясняется его способность помириться съ чѣмъ бы то ни было; у того есть, по крайней мѣрѣ, та оговорка, что онъ человѣкъ мало развитой и уже достаточно принюхавшійся ко всевозможной грязи; а Раскольникову приходится идти на компромиссы съ своею совѣстью въ то время, когда онъ видитъ насквозь, до послѣднихъ подробностей, всю отвратительность этихъ компромиссовъ, когда его нравственная зоркость и чуткость непритуплены ни пьянствомъ, ни обществомъ грязныхъ кутилъ и погибшихъ горемыкъ, ни лѣтами. Раскольниковъ рѣшаетъ, что онъ ни за что не пойдетъ на такіе компромиссы. „Не бывать этому браку, пока я живъ, говоритъ онъ, и къ чорту г. Лужина". Письмо его матери кладетъ конецъ той апатіи, которая давила его въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль. Онъ видитъ ясно, что ему необходимо дѣйствовать; но теперь болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, онъ убѣждаетъ себя въ томъ, что честный трудъ, какъ бы онъ ни былъ упоренъ, не приведетъ его ни къ чему. „Не бывать? говоритъ онъ самъ себѣ. А что-же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имѣешь? Что ты имъ можешь обѣщать въ свою очередь, чтобы право такое имѣть? Всю судьбу свою, всю будущность имъ посвятить, *когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь?* Слышали мы это, да вѣдь это *буки,* а теперь? Вѣдь тутъ надо теперь же что-нибудь сдѣлать, понимаешь ты это? А ты что теперь дѣлаешь? Обираешь ихъ же. Вѣдь деньги-то имъ подъ сторублевый пенсіонъ, да подъ господъ Свидригайловыхъ подъ закладъ достаются! Отъ Свидригайловыхъ-то, отъ Аѳанасія-то Ивановича Вахрушина, чѣмъ ты ихъ убережешь, милліонеръ будущій, Зевесъ, ихъ судьбою располагающій? Черезъ десять-то лѣтъ? Да въ десять-то лѣтъ мать успѣетъ ослѣпнуть отъ косынокъ, а, пожалуй, что и отъ слезъ; отъ поста исчахнетъ; а сестра? Ну, придумай-ка, что можетъ случиться съ сестрой черезъ десять лѣтъ, али въ эти

десять лѣтъ? Догадался?“ Раскольниковъ находится въ такомъ положеніи, при которомъ всѣ лучшія силы человѣка поворачиваются противъ него самого и вовлекаютъ его въ безнадежную борьбу съ обществомъ. Самыя святыя чувства и самыя чистыя стремленія, тѣ чувства и стремленія, которыя обыкновенно поддерживаютъ, ободряютъ и облагороживаютъ человѣка, становятся вредными и разрушительными страстями, когда человѣкъ лишается возможности доставлять имъ правильное удовлетвореніе. Раскольникову хотѣлось во что бы то ни стало покоить и лелѣять свою старую мать, доставлять ей тѣ скромныя удобства жизни, которыя были ей необходимы, избавлять ее отъ томительныхъ заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба; ему хотѣлось далѣе, чтобы сестра его была ограждена въ настоящемъ отъ дерзостей разныхъ Свидригайловыхъ, а въ будущемъ отъ участи, постигшей Соню Мармеладову; или отъ необходимости выйти замужъ безъ любви за какого-нибудь деревяннаго человѣка, подобнаго г. Лужину. Самый строгій моралистъ не найдетъ въ этихъ желаніяхъ ничего предосудительнаго или нескромнаго; самый строгій моралистъ даже похвалитъ Раскольникова за эти желанія, и пожелаетъ, въ интересахъ его собственнаго нравственнаго совершенствованія, чтобы Раскольниковъ, въ теченіе всей своей жизни, постоянно любилъ мать и сестру, и самымъ ревностнымъ образомъ, не жалѣя силъ и энергіи, заботился объ ихъ участи. Моралистъ нашелъ бы даже, по всей вѣроятности, что Раскольниковъ поступилъ бы очень дурно, если бы сбавилъ что-нибудь изъ своихъ требованій, потому что сбавлять нечего, и всякая сбавка сопряжена съ очевиднымъ и неизбѣжнымъ ущербомъ для человѣческаго достоинства его матери и его сестры. Но эти требованія остаются законными, разумными и похвальными только до тѣхъ поръ, пока у Раскольникова имѣются матеріальныя средства, которыми онъ дѣйствительно можетъ покоить свою мать и спасать отъ безчестія свою сестру. Пока Раскольниковъ обезпеченъ имѣніемъ, капиталомъ или трудомъ, до тѣхъ поръ ему предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать ихъ отъ лишеній и оскорбленій, и даже въ случаѣ надобности, принимать на самого себя тѣ удары судьбы, которые предназначаются имъ, слабымъ и безотвѣтнымъ женщинамъ. Но какъ только матеріальныя сред-

ства истощаются, такъ тотчасъ же, вмѣстѣ съ этими средствами, у Раскольникова отбирается право носить въ груди человѣческія чувства, такъ точно, какъ у обанкротившагося купца отбирается право числиться въ той или въ другой гильдіи. Любовь къ матери и къ сестрѣ, и желаніе покоить и защищать ихъ становятся противозаконными и противообщественными чувствами и стремленіями съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Кто не можетъ по-человѣчески кормиться и одѣваться, тотъ не долженъ также думать и чувствовать по-человѣчески. Въ противномъ случаѣ, человѣческія мысли и чувства разрѣшатся такими поступками, которые произведутъ неизбѣжную коллизію между личностью и обществомъ. Попавши въ свое исключительное положеніе, Раскольниковъ очутился на распутьѣ, очень похожемъ на то распутье, о которомъ говорится въ сказкахъ, и въ которомъ одна дорога обѣщаетъ гибель коню, другая—всаднику, а третья—обоимъ. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться отъ всего, что было ему дорого и свято въ себѣ самомъ и въ окружающемъ мірѣ, или вступить за свою святыню въ отчаянную борьбу съ обществомъ, въ такую борьбу, въ которой уже невозможно будетъ разбирать средствъ. „Или отказаться отъ жизни совсѣмъ, вскричалъ онъ вдругъ въ изступленіи, послушно принять судьбу, какъ она есть, разъ навсегда, и задушить въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права дѣйствовать, жить и любить!“ Раскольникову казалось, что ему надо непремѣнно или сдѣлаться трупомъ, подобнымъ Мармеладову, или рѣшиться на преступленіе, и что необходимо сдѣлать выборъ немедленно, прежде чѣмъ Дуня успѣетъ, въ видахъ его карьеры, обвѣнчаться съ Лужинымъ. Въ размышленіяхъ Раскольникова замѣтна значительная недодуманность. Онъ, повидимому, не понимаетъ, что выходъ посредствомъ преступленія не можетъ ни въ какомъ случаѣ дѣйствительно вывести его изъ затрудненія. Онъ соображаетъ очень основательно, что для спасенія матери и сестры отъ нищеты и отъ всякихъ ея послѣдствій, воплотившихся въ Свидригайловыхъ и Лужиныхъ, необходимы деньги, и что честнымъ трудомъ невозможно ихъ достать въ необходимомъ количествѣ. Значитъ, заключаетъ онъ, остается только достать ихъ безчестнымъ средствомъ. Заключеніе вѣрное. Кромѣ безчестныхъ средствъ, не

остается никакихъ. Но весь вопросъ въ томъ, дѣйствительно ли безчестныя средства достигаютъ въ данномъ случаѣ той цѣли, къ которой стремится Раскольниковъ. Этого вопроса самъ Раскольниковъ вовсе себѣ не задастъ. Положимъ, что ему удалось убить и ограбить процентщицу; положимъ, что онъ нашелъ у нея въ шкатулкѣ цѣлую калифорнію; положимъ, что онъ благополучно схоронилъ всѣ концы; положимъ, слѣдовательно, что все дѣло сложилось по его желанію во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ. Что же дальше? Какимъ образомъ онъ пуститъ ихъ именно въ то предпріятіе, которое ему всего дороже, и которое заставило его рѣшиться на преступленіе? Какъ онъ ухитрится провести эти деньги въ домашнюю жизнь матери и сестры такъ, чтобы эти деньги улучшили и обезпечили ихъ существованіе, и чтобы въ то же время мать и сестра не замѣтили этого неожиданнаго прилива денегъ, и не озадачили его настоятельными вопросами на счетъ ихъ происхожденія? Соблюдая должную осторожность и постепенность, Раскольниковъ могъ бы ускользнуть отъ подозрѣній полиціи, но ему, ни въ какомъ случаѣ, не удалось бы отвести глаза тѣмъ людямъ, которые сами должны наслаждаться плодами его преступленія, и которые привыкли въ бѣдности считать каждый кусокъ и беречь каждую старую тряпку. Это можно было и надо было предвидѣть заранѣе. Съ одной стороны, Раскольниковъ не могъ и подумать о томъ, что его мать и сестра согласятся когда-нибудь помириться съ его преступленіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, и спокойно проживать проценты съ капитала, облитаго кровью. Съ другой стороны, если Раскольниковъ считалъ возможнымъ постоянно обманывать мать и сестру, то ему необходимо было заранѣе придумать въ отношеніи къ нимъ цѣлый сложный и обширный планъ дѣйствій, цѣлую систему тонкихъ и стройныхъ мистификацій. Между тѣмъ, въ романѣ мы не находимъ ни одного намека на существованіе такого плана или такой системы. Раскольниковъ просто не додумалъ до конца, и рѣшилъ свою задачу, упустивъ изъ виду одинъ изъ важнѣйшихъ ея элементовъ. Онъ успѣлъ только понять, что тою дорогою, по которой идутъ честные работники, онъ идти не можетъ, потому что эта дорога совсѣмъ не приведетъ его, или приведетъ слишкомъ поздно, къ той цѣли, которую онъ имѣетъ въ виду; затѣмъ нить размышленій обор-

валась, и онъ бросился стремглавъ, очертя голову, безъ оглядки и безъ дальнѣйшихъ расчетовъ въ противоположную сторону, на ту грязную дорогу, которая одна казалась ему открытою, но которая на самомъ дѣлѣ ведетъ только въ бездну.

Послѣ письма, полученнаго отъ матери, всѣ мысли до такой степени перепутываются въ головѣ Раскольникова, что убійство превращается въ его глазахъ не только въ единственный выходъ, но даже въ какой-то неумолимый долгъ. Чтобы уклониться отъ исполненія этого долга, онъ ищетъ себѣ убѣжища въ своей слабости. „Нѣтъ, я не вытерплю, не вытерплю, говоритъ онъ. Пусть, пусть даже нѣтъ никакихъ сомнѣній во всѣхъ этихъ расчетахъ, будь это все, что рѣшено въ этотъ мѣсяцъ, ясно какъ день, справедливо, какъ ариѳметика,—Господи! вѣдь я все же равно не рѣшусь! Я вѣдь не вытерплю; не вытерплю!... Чего же, чего же я до сихъ поръ!“ Признавая слабостью то чувство, которое удерживаетъ его отъ проливанія человѣческой крови, Раскольниковъ въ то же время радуется этой слабости, и ухватывается за нее, какъ за спасительный якорь. Ему становится легко и весело, когда онъ чувствуетъ эту мнимую слабость, избавляющую его отъ исполненія такого же мнимаго долга. Подъ вліяніемъ своей мнимой слабости, онъ отказывается отъ мысли объ убійствѣ, и при этомъ переживаетъ такое радостное, уже давно неиспытанное ощущеніе, какъ будто „нарывъ на сердцѣ его, нарывавшійся весь мѣсяцъ, вдругъ прорвался“. Но на самомъ дѣлѣ нарывъ не прорвался; облегченіе было минутное. Въ немъ выразилось только послѣднее содроганіе человѣка передъ проступкомъ, совершенно противнымъ его природѣ... Всѣ колебанія Раскольникова прекратились въ ту минуту, когда онъ узналъ случайно, что старуха въ такомъ-то часу, въ такой-то день останется дома одна. За мгновеніе передъ тѣмъ, какъ онъ услышалъ разговоръ, заключавшій въ себѣ это извѣстіе, онъ чувствовалъ себя свободнымъ *„отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, обаянія, отъ наважденія,* онъ отрекся отъ *проклятой мечты* своей“, и смотрѣлъ на Неву и на яркій закатъ солнца съ тою тихою радостью, съ которою обыкновенно смотритъ на всю окружающую природу человѣкъ только-что оправившійся отъ тяжелой болѣзни и понемногу возвращающійся къ жизни здоровыхъ людей. Мгновеніе спустя, когда онъ, выслушавъ вни-

мательно и понявъ ясно каждое слово разговора, происходившаго между какимъ-то мѣщаниномъ и сестрою старухи, „онъ всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно“, и пошелъ домой „какъ приговоренный къ смерти“. Этотъ переворотъ произошелъ въ немъ отъ того, что обстоятельства вдругъ назначили ему для совершенія его замысла опредѣленный срокъ. Пропустить этотъ срокъ значило или совсѣмъ отказаться отъ всего предпріятія или, по крайней мѣрѣ, добровольно отнять у себя нѣсколько важнѣйшихъ шансовъ успѣха.

Но чтобы навсегда отказаться отъ плана, воспитаннаго и взлелѣяннаго нѣсколькими недѣлями уединеннаго размышленія, надо было снова передумать все съ самаго начала, и, кромѣ того, надо было пріискать какую-нибудь новую программу, на которой можно было бы успокоиться. На такой умственный трудъ Раскольниковъ, измученный бѣдностью, праздностью, апатіей и безобразнымъ фантазерствомъ уже не былъ способенъ. Въ его изнемогающемъ умѣ уже не было достаточно силъ на то, чтобы уничтожить *проклятую мечту* спокойнымъ и холоднымъ размышленіемъ. Онъ могъ только ужасаться, содрогаться и чувствовать припадки конвульсивнаго отвращенія къ тѣмъ гадостямъ, на которыя его наталкивала эта *проклятая мечта*. Ужасъ и отвращеніе могли иногда доходить въ въ немъ до такихъ размѣровъ, при которыхъ проклятая мечта начинала казаться ему совершенно неосуществимою и, слѣдовательно, неопасною. Въ такія минуты онъ могъ праздновать свое освобожденіе отъ чаръ, и смотрѣть на природу и на самого себя глазами выздоравливающаго человѣка, но ужасъ и отвращеніе, какъ бы они ни были сильны, не могли замѣнить ему спокойное размышленіе и передѣлать по новому плану то, что уже давно было построено упорною работою мысли, пошедшей по ложному и опасному пути. Какъ только обстоятельства притиснули его къ стѣнѣ рѣшительнымъ вопросомъ, требующимъ безотлагательнаго отвѣта, такъ онъ немедленно сдѣлался безотвѣтнымъ рабомъ своей проклятой мечты.

Во время своихъ послѣднихъ приготовленій къ убійству, Раскольниковъ уже не чувствовалъ ни ужаса ни отвращенія. Онъ потерялъ способность смотрѣть на свое дѣло со сто-

роны. Хороша или дурна его цѣль,—объ этомъ онъ уже не думалъ. Все его вниманіе было обращено на подробности выполненія и сосредоточено на борьбѣ съ препятствіями. Когда онъ услышалъ бой часовъ и чей-то возгласъ о томъ, что уже седьмой часъ—онъ испугался только той мысли, что можетъ опоздать. Когда онъ увидѣлъ невозможность утащить топоръ изъ хозяйкиной кухни,—онъ почувствовалъ только *тупую, звѣрскую злобу* противъ этого препятствія, которое въ первую минуту показалось ему неодолимымъ. Когда онъ, вслѣдъ за тѣмъ, разглядѣлъ топоръ въ дворницкой, и благополучно его спряталъ себѣ подъ пальто, онъ почувствовалъ только радость удачи. Словомъ, *проклятая мечта* господствовала надъ всѣмъ его существомъ и обусловливала собою всѣ его отношенія къ мелкимъ случайностямъ, встрѣтившимся на его пути. Тѣ случайности, которыя благопріятствовали осуществленію *проклятой мечты*, казались ему счастливыми и возбуждали въ немъ радость; тѣ случайности, которыя могли помѣшать успѣху предпріятія, казались ему несчастными, и доводили его до бѣшенства. Тутъ, очевидно, Раскольниковъ уже не думалъ и не хотѣлъ думать о томъ выздоровленіи, которое радовало его наканунѣ, и даже возбуждало въ немъ потребность молиться. Освобожденіе отъ чаръ было невозможно, самъ очарованный возмущался противъ тѣхъ случайностей, которыя сколько-нибудь были способны произвести это освобожденіе. Идя на квартиру старухи, Раскольниковъ не могъ думать о томъ дѣлѣ, которое ему предстояло. Придя на квартиру и пристукнувъ старуху обухомъ топора, онъ потерялъ способность думать даже о мелкихъ подробностяхъ выполненія, на которыхъ до сихъ поръ сосредоточивалось его вниманіе. Онъ растерялся, засуетился, сталъ дѣлать одну глупость за другою, и избавился отъ бѣды, то есть, не попался на мѣстѣ преступленія, только благодаря совершенно исключительному стеченію счастливыхъ случайностей.

Д. И. Писаревъ.

* * *

*) Нигилисты и нигилистки давно уже изображаются въ нашихъ романахъ и повѣстяхъ. Какъ же они въ нихъ изобра-

*) Н. Страховъ. „Отечественныя Записки“ 1867 г., № 3 и 4.

жаются? Стоитъ только вспомнить объ этихъ картинахъ, чтобы безъ всякаго колебанія отвѣчать на этотъ вопросъ. Читатели привыкли видѣть въ нигилистахъ, во первыхъ, людей скудоумныхъ и скудосердечныхъ, людей, лишенныхъ ясной силы ума и живой сердечной теплоты. Люди эти строятъ собственнымъ умомъ теоріи, совершенно оторванныя отъ жизни, доходящія до величайшихъ нелѣпостей. На основаніи этихъ теорій они извращаютъ свою и чужую жизнь, и живутъ въ этомъ извращеніи, не понимая и не чувствуя всего безобразія такой жизни. Поэтому нигилисты являются намъ существами смѣшными и гадкими, пошлыми и отталкивающими. Словомъ, они изображаются такъ, что по самой сущности дѣла могутъ возбудить не симпатію, а только насмѣшку и негодованіе. Посмотрите для примѣра, въ какомъ звѣрообразіи выставленъ нѣкоторый нигилистъ въ повѣсти „Повѣтріе“ (*Всемірный трудъ*, № 2). Да и вообще какихъ только гадостей, какихъ безобразій не было приписываемо нашимъ нигилистамъ!

Что же сдѣлалъ г. Достоевскій? Онъ очевидно взялъ задачу сколь возможно глубже, задачу болѣе трудную, чѣмъ осмѣиванье безобразій натуръ пустыхъ и малокровныхъ. Его Раскольниковъ хотя страдаетъ юношескимъ малодушіемъ и эгоизмомъ, но представляетъ намъ человѣка съ задатками твердаго ума и теплаго сердца. Это не фразеръ безъ крови и безъ нервовъ, это—настоящій человѣкъ. Этотъ юный человѣкъ тоже строитъ теорію, но теорію, которая именно въ силу его большей жизненности и большей силы ума, *гораздо глубже и окончательнѣе противорѣчитъ жизни*, чѣмъ, напримѣръ, теорія объ обидѣ, наносимой дамѣ цѣлованіемъ ея руки, или другія подобныя. Въ угоду своей теоріи онъ также ломаетъ свою жизнь; но онъ не впадаетъ въ смѣшное безобразіе и нелѣпости; онъ совершаетъ страшное дѣло, преступленіе. Вмѣсто комическихъ явленій, передъ нами совершается трагическое, то есть явленіе болѣе человѣчесское, достойное участія, а не одного смѣха и негодованія. Затѣмъ разрывъ съ жизнью, въ силу самой своей глубины, возбуждаетъ страшную реакцію въ душѣ юноши. Между тѣмъ какъ прочіе нигилисты спокойно наслаждаются жизнью, не цѣлуя рукъ у своихъ дамъ и не подавая имъ салоповъ, и даже гордясь этимъ. Раскольниковъ не выноситъ того отрицанія инстинктовъ че-

ловѣческой души, которое довело его до преступленія, и идетъ въ каторгу. Тамъ, послѣ долгихъ лѣтъ испытанія, онъ вѣроятно обновится и станетъ вполнѣ человѣкомъ, то есть теплою, живою человѣческою душою.

И такъ авторъ взялъ натуру болѣе глубокую, приписалъ ей болѣе глубокое уклоненіе отъ жизни, чѣмъ другіе писатели, касавшіеся нигилизма. Цѣль его была — изобразить страданія, которыя терпитъ живой человѣкъ, дойдя до такого разрыва съ жизнью. Совершенно ясно, что авторъ изображаетъ своего героя съ полнымъ состраданіемъ къ нему. Это не смѣхъ надъ молодымъ поколѣніемъ, не укоры и обвиненія, это—плачъ надъ нимъ. Несчастный убійца — теоретикъ, этотъ *честный убійца*, если можно только сопоставить эти два слова, выходитъ тысячекратно несчастнѣе простыхъ убійцъ. Ему было бы несравненно легче, если бы онъ совершилъ убійство изъ гнѣва, изъ ревности, изъ корысти, изъ какихъ хотите *житейскихъ* побужденій, но не изъ теоріи.

„Знаешь, Соня—говоритъ самъ Раскольниковъ — если бъ только я зарѣзалъ изъ того, что голоденъ былъ — то я бы теперь... *счастливъ* былъ". Съ невыразимымъ мученіемъ онъ чувствуетъ, что насиліе, совершенное имъ надъ своею нравственною природою, составляетъ большій грѣхъ, чѣмъ самый актъ убійства. Оно-то и есть настоящее преступленіе.

„Развѣ я старушонку убилъ? говоритъ онъ Сонѣ. — Я *себя убилъ*, а не старушонку. Такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя навѣки!... А старушонку эту чертъ убилъ, а не я"...

Въ этомъ заключается смыслъ романа, и приговоръ надъ Раскольниковымъ, произносимый авторомъ, вложенъ имъ въ уста Сони.

— „*Что вы, что вы надъ собой сдѣлали!* отчаянно проговорила она и, вскочивъ съ колѣнъ, бросилась ему на шею, обняла его и крѣпко-крѣпко сжала его руками.

— „Странная какая ты, Соня — обнимаешь и цѣлуешь, когда я тебѣ сказалъ *про это*. Себя ты не помнишь".

— „*Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!* воскликнула она, какъ въ изступленіи, не слыхавъ его замѣчанія, и вдругъ заплакала навзрыдъ, какъ въ истерикѣ".

И такъ въ первый разъ передъ нами изображенъ нигилистъ несчастный, нигилистъ глубоко человѣчески-страдающiй. Свойство *широкой симпатiи*, которое мы приписали автору, и здѣсь, очевидно, воодушевляло его. Онъ изобразилъ намъ нигилизмъ не какъ жалкое и дикое явленiе, а въ трагическомъ видѣ, какъ искаженiе души, сопровождаемое жестокимъ страданiемъ. По своему всегдашнему обычаю, онъ представилъ намъ *человѣка* въ самомъ убiйцѣ, какъ умѣлъ отыскать *людей* и во всѣхъ блудницахъ, пьяницахъ и другихъ жалкихъ лицахъ, которыми обставилъ своего героя.

Авторъ взялъ нигилизмъ въ самомъ крайнемъ его развитiи, въ той точкѣ, дальше которой уже почти некуда идти. Но замѣтимъ, что сущность каждаго явленiя всегда обнаруживается не въ его обыкновенныхъ ходячихъ формахъ, а именно въ крайнихъ высшихъ ступеняхъ развитiя. Здѣсь, очевидно, взявши крайнюю форму, авторъ получилъ возможность стать къ цѣлому явленiю въ совершенно правильныя отношенiя, въ тѣ отношенiя, въ которыя трудно стать къ другимъ формамъ того же явленiя. Возьмемъ, напримѣръ, Базарова (въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ Тургенева), перваго нигилиста, явившагося въ нашей литературѣ. Этотъ высокомѣрный, самолюбивый человѣкъ скорѣе отталкиваетъ, чѣмъ привлекаетъ. Да онъ и не проситъ вашего сочувствiя, онъ самодоволенъ. Пусть читатель переберетъ потомъ всѣ хорошо ему знакомыя формы нигилизма. Молодая дѣвушка обрѣзываетъ свою великолѣпную косу и надѣваетъ синiя очки. Со стороны безобразно, а между тѣмъ она очень довольна собою, какъ будто надѣла нарядъ красивѣе того, который прежде носила. Она бросаетъ романы и читаетъ „Физiологiю обыденной жизни“ Льюиса. Сначала она запинается, но дѣлаетъ надъ собою усилiе и принимается свободно толковать о пятнахъ и мочевыхъ органахъ. Что же? Ощущается новое удовольствiе. Пойдемъ далѣе—дѣвушка уходитъ отъ родителей и совершенно *теоретически* отдается нѣкоторому юношѣ, чуждому предразсудковъ и толкующему ей о необходимости завести на какомъ-нибудь необитаемомъ островѣ новое человѣчество. Или бываетъ иначе. Братъ дѣвушки самъ устраиваетъ ея гражданскiй бракъ съ прiятелемъ. Точно также на основанiи теорiи мужъ бросаетъ жену, жена мужа, или устраивается коммуна, въ которой случается, что одинъ мужчина имѣетъ связь съ двумя

женщинами, краснорѣчиво проповѣдывая имъ, что ревность—фальшивое чувство. И что же? Вся эта ломка самихъ себя, все это искаженіе жизни совершается совершенно хладнокровно. Всѣ довольны и счастливы, смотрятъ на себя съ великимъ уваженіемъ и гонятъ отъ себя всякія нелѣпыя чувства, мѣшающія людямъ идти по пути прогресса. Спрашивается, какимъ же образомъ можно отнестись къ этимъ людямъ? Всего легче смѣяться надъ ними и презирать ихъ. Такъ какъ они сами упорно выдаютъ себя за какихъ-то счастливцевъ, то общество не чувствуетъ въ себѣ никакого позыва пожалѣть ихъ — скорѣе оно бываетъ расположено видѣть въ этомъ безстрастномъ и холодномъ коверканьи своей и чужой жизни присутствіе какихъ-нибудь темныхъ страстей, напримѣръ, сластолюбія.

Между тѣмъ, въ сущности вѣдь ихъ слѣдуетъ пожалѣть. Вѣдь нѣтъ никакого сомнѣнія, что душа у нихъ все-таки просыпается съ своими вѣчными требованіями. Притомъ не всѣ же они пусты и сухи. Есть, конечно, и между ними люди, въ которыхъ эта ломка своей природы отзовется долгими, неизгладимыми страданіями. И слѣдовательно, ко всѣмъ имъ, ко всей этой сферѣ кажущихся счастливцевъ, устраивающихъ свою жизнь на новыхъ основаніяхъ, можно обратиться съ словами любящей Сони: *что вы, что вы надъ собой сдѣлали?*

Отъ дѣвушки, изъ теоріи обстригающей себѣ косу, до Раскольникова, изъ теоріи убивающаго старуху, разстояніе велико, но все-таки эти явленія однородныя. Вѣдь и косы жалко, такъ какъ же не пожалѣть погубившаго себя Раскольникова? Сожалѣніе — вотъ то отношеніе, въ которое авторъ сталъ къ нигилизму — отношеніе, почти новое, а въ такой силѣ, въ какой оно здѣсь является, никѣмъ еще неразвитое.

Но если такъ, то какъ же могло случиться, что автора обвинили въ какомъ-то желаніи опозорить наше молодое поколѣніе, поголовно обвинить его въ покушеніяхъ на убійство? Случилось это въ силу новаго отношенія къ дѣлу, отношенія, котораго сразу не могли понять. Всѣ привыкли къ старому отношенію, всѣмъ извѣстно, что нигилисты и нигилистки бросаютъ своихъ родныхъ, теряютъ своихъ женъ, лишаются своихъ косъ и своей дѣвичьей чести и т. д. не

только безъ горя и печали, но совершенно хладнокровно и даже съ гордостью и торжествомъ. И вотъ въ романѣ Достоевскаго многимъ мерещится точно такое же изображеніе, то есть какъ будто нѣкто совершаетъ убійство, *считая себя правымъ*, и слѣдовательно хладнокровно и оставаясь вполнѣ спокойнымъ. Такъ, вѣроятно, совершали фанатики свои поджоги и свои тайныя убійства. Отъ этого-то такіе поджоги и убійства и могли быть весьма часты, могли совершаться множествомъ людей. Есть ли же что-нибудь подобное въ романѣ г. Достоевскаго? Вся сущность романа заключается въ томъ, что Раскольниковъ, хотя и считаетъ себя правымъ, но совершаетъ свое дѣло не хладнокровно, и не только не остается спокойнымъ, а подвергается жестокимъ мукамъ. Если прямо держаться романа, то окажется, что преступленіе изъ теоріи несравненно тяжелѣе для преступника, чѣмъ всякое другое, что душа человѣческая менѣе всего можетъ выносить подобное уклоненіе отъ своихъ вѣчныхъ законовъ. И, слѣдовательно, если бы случилось, что нигилистъ оказался преступникомъ, то всего вѣрнѣе предполагать, что и онъ, подобно прочимъ людямъ, совершилъ преступленіе изъ мести, ревности, корысти и проч., а не изъ теоріи. Однимъ словомъ, черта, которую взялъ г. Достоевскій, изображена имъ вполнѣ вѣрно. Читая романъ, вы чувствуете, что преступленіе Раскольникова есть явленіе *необычайно рѣдкое*, есть случай въ высокой степени характеристическій, но исключительный, совершенно выходящій изъ ряду вонъ.

Такъ говоритъ о немъ самъ преступникъ. Онъ нигдѣ не выдаетъ свою *теорію* за что-нибудь общераспространенное; онъ постоянно называетъ ее *своею* теоріею, *своею идеею;* въ минуты, когда онъ находится подъ властью этой идеи, онъ даже съ презрѣніемъ отзывается о другихъ нигилистахъ. „О, отрицатели и мудрецы въ пятачокъ серебра — восклицаетъ онъ—зачѣмъ вы останавливаетесь на полдорогѣ!"

Нужно всегда помнить, что жизнь, натура останавливаетъ нигилистовъ, какъ и другихъ людей, не только на *полдорогѣ*, но даже и на *первомъ шагѣ* какой-нибудь дороги, да притомъ— что и дороги у нихъ бываютъ различныя. Это сопротивленіе жизни, этотъ ея отпоръ противъ власти теорій и фантазій, потрясающимъ образомъ представлены г. Достоевскимъ. Показать, какъ въ душѣ человѣка борется жизнь и теорія,

показать эту схватку на томъ случаѣ, гдѣ она доходитъ до высшей степени силы, и показать, что побѣда осталась за жизнью—такова была задача романа.

То же самое нужно, конечно, отнести и къ другимъ явленіямъ, ко всѣмъ безчисленнымъ формамъ столкновенія теоріи съ жизнью. Вездѣ жизнь останавливаетъ противное ей движеніе, вездѣ успѣшно борется съ насиліемъ, которое надъ нею дѣлаютъ. Есть, напримѣръ, женщины, усвоившія себѣ безцеремонный мужской тонъ; но ихъ очень немного. Другія, какъ ни стараются, а все запнутся, когда заведутъ рѣчь о регулахъ или мочевыхъ органахъ. Казалось бы, чего проще, какъ то, что называется *гражданскимъ бракомъ*? Между тѣмъ этотъ бракъ, какъ и всѣ другія безобразія, составляетъ лишь исключеніе. Обыкновенно нигилисты и нигилистки вѣнчаются въ церквахъ, подобно другимъ смертнымъ. Большая свобода въ обращеніи, которую позволили себѣ молодые люди подъ вліяніемъ нигилизма, повела, какъ извѣстно, къ заключенію множества супружествъ, столь же чистыхъ и, можетъ быть, болѣе счастливыхъ, чѣмъ иные браки, въ которыхъ нигилизмъ не принималъ никакого участія.

И такъ никакой разумный человѣкъ, понимающій, какъ идутъ дѣла въ жизни, не повѣритъ въ этомъ случаѣ никакимъ повальнымъ обвиненіямъ, если бы они и раздавались. Всего же менѣе можно извлечь повальное обвиненіе изъ романа г. Достоевскаго; это было бы во сто разъ нелѣпѣе, чѣмъ, напримѣръ, извлечь изъ „Отелло" Шекспира, что всѣ ревнивые мужья убиваютъ своихъ женъ, или изъ „Моцарто и Сальери" Пушкина, что всѣ завистники отравляютъ своихъ даровитыхъ пріятелей.

Докажемъ теперь выписками изъ романа, что наша постановка дѣла совершенно правильна. Что Раскольниковъ не сумасшедшій, это даже странно доказывать. Въ самомъ романѣ лица, близкія къ Раскольникову, видя его мученія и не понимая источниковъ того страннаго поведенія, къ которому его приводятъ внутреннія терзанія, начинаютъ подозрѣвать, не сходитъ ли онъ съ ума. Но потомъ загадка разрѣшается. Открывается дѣло *несравненно менѣе вѣроятное*, именно, что онъ не *сумасшедшій*, *а преступникъ*. Романъ написанъ объективной манерой, при которой авторъ не говоритъ въ отвлеченныхъ выраженіяхъ объ умѣ, характерѣ

своихъ героевъ, а прямо заставляетъ ихъ дѣйствовать, мыслить и чувствовать. Раскольникова же, какъ главное дѣйствующее лицо, авторъ въ особенности почти ни въ чемъ не характеризуетъ отъ себя; но вездѣ Раскольниковъ является человѣкомъ съ задатками яснаго ума, твердаго характера, благороднаго сердца. Таковъ онъ во всѣхъ другихъ поступкахъ, кромѣ своего преступленія. Такъ на него смотрятъ и остальныя дѣйствующія лица, надъ которыми, *по своимъ возможностямъ*, онъ очевидно возвышается. Вотъ какъ отзывается о Раскольниковѣ слѣдователь Порфирій, отзывается ему въ глаза:

„Понимаю я, каково все это перетащить на себѣ человѣку удрученному, но гордому, властному и нетерпѣливому, въ особенности нетерпѣливому! Я васъ, во всякомъ случаѣ, за человѣка наиблагороднѣйшаго почитаю-съ и даже съ зачатками великодушія-съ“...

Даже самое страшное дѣло, совершенное Раскольниковымъ, для людей, коротко его узнавшихъ, указываетъ на силу души, хотя извращенную и заблудшуюся.

„Вышло-то подло, это правда—продолжаетъ тотъ-же Порфирій — да вы-то все-таки не безнадежный подлецъ! По крайней мѣрѣ, долго себя не морочилъ, разомъ до послѣднихъ столбовъ дошелъ. Я вѣдь васъ за кого почитаю? Я васъ почитаю за одного изъ такихъ, которымъ хоть кишки вырѣзай, а онъ будетъ стоять да съ улыбкой смотрѣть на мучителей— если только вѣру или Бога найдетъ. Ну, и найдите, и будете жить“.

Авторъ, очевидно, хотѣлъ представить крѣпкую душу, человѣка исполненнаго жизни, а не слабосильнаго и помѣшаннаго. Тайна авторскихъ желаній въ особености ясно открывается въ словахъ, вложенныхъ имъ въ уста Свидригайлова. Свидригайловъ объясняетъ сестрѣ Раскольникова поступокъ ея брата и говоритъ:

„Теперь *все помутилось*, то-есть оно и никогда въ порядкѣ то особенномъ не было. *Русскіе люди* вообще *широкіе люди*, Авдотья Романовна, широкіе, какъ ихъ земля, и чрезвычайно склонны къ фантастическому, къ безпорядочному, но бѣда *быть широкимъ безъ особенной геніальности*. А помните, какъ много мы въ этомъ же родѣ и на эту же тему переговорили съ вами вдвоемъ, сидя по вечерамъ на террасѣ въ саду,

каждый разъ послѣ ужина? Кто знаетъ, можетъ, въ то же самое время и говорили, когда онъ здѣсь лежалъ, да свое обдумывалъ. *У насъ въ образованномъ обществѣ особенно священныхъ преданій вѣдь нѣтъ*, Авдотья Романовна: развѣ кто какъ-нибудь себѣ по книгамъ составитъ... али изъ лѣтописей что-нибудь выведетъ. Но вѣдь это больше ученые и, знаете, въ своемъ родѣ колпаки, такъ что даже и неприлично свѣтскому человѣку".

Здѣсь открывается вся дальность замысловъ автора. Онъ хотѣлъ изобразить широкую русскую натуру, то-есть натуру живучую, мало склонную идти по пробитымъ торнымъ колеямъ жизни, способную жить и чувствовать на разные лады. Такую натуру, живую и вмѣстѣ неопредѣленную, авторъ окружилъ средою, въ которой *все помутилось*, въ которой *особенно священныхъ преданій* давно уже не существуетъ. Самъ Свидригайловъ, высказывающій это повальное обвиненіе противъ нашего образованнаго общества (вотъ оно, то обвиненіе, котораго такъ искали), представляетъ нѣчто въ родѣ стараго поколѣнія тѣхъ-же натуръ и того же общества, въ параллель Раскольникову, члену новаго поколѣнія. Несмотря на фантастичность Свидригайлова, въ немъ все-таки возможно разсмотрѣть очень знакомыя черты еще не далеко ушедшаго отъ насъ состоянія нашего образованнаго и зажиточнаго сословія. Развратъ, жестокость съ крѣпостными, доходящая до смертоубійствъ, тайныя злодѣянія и отсутствіе всего святого въ душѣ—въ эту сторону тоже бросались широкія русскія натуры, чтобы на что-нибудь тратить свои силы. Раскольниковъ есть тоже человѣкъ, которому очень хочется жить, которому поскорѣе нуженъ выходъ, нужно дѣло. Такія люди не могутъ оставаться въ бездѣйствіи; жажда жизни, *какой бы то ни было*, но только сейчасъ, поскорѣе, доводитъ ихъ до нелѣпостей, до ломки своей души и даже до полной гибели.

Въ газетахъ писали, что будто бы Раскольниковъ совершаетъ свое убійство изъ филантропическихъ цѣлей, что онъ оправдываетъ его благотворительными намѣреніями. Но дѣло вовсе не такъ просто. Главный корень, изъ котораго выросло чудовищное намѣреніе Раскольникова, заключается въ нѣкоторой теоріи, которую онъ неоднократно и послѣдовательно развиваетъ; самое же убійство произошло изъ непремѣннаго желанія *приложить къ дѣлу* свою теорію. Вотъ какъ харак-

теризуетъ поступокъ Раскольникова слѣдователь Порфирій.

„Тутъ дѣло фантастическое, мрачное, нашего времени случай-съ, когда *помутилось сердце человѣческое;* когда цитуется фраза, что *кровь* „освѣжаетъ“; когда вся жизнь проповѣдуется въ комфортѣ. Тутъ книжныя мечты-съ, тутъ *теоретически раздраженное сердце;* тутъ видна *рѣшимость на первый шагъ*, но рѣшимость особаго рода—рѣшился, да какъ съ горы упалъ, или съ колокольни слетѣлъ, да и на преступленіе-то словно *не своими ногами пришелъ*. Дверь за собой забылъ притворить, а убилъ, двухъ убилъ, по теоріи. Убилъ да и денегъ взять не сумѣлъ, а что успѣлъ захватить, то подъ камень снесъ“. „Убилъ, да за честнаго человѣка себя почитаетъ, *людей презираетъ,* блѣднымъ ангеломъ ходитъ“.

Въ чемъ же заключается та *теорія,* которая такъ увлекла и замучила этого юношу? Въ романѣ она во многихъ мѣстахъ излагается подробно и отчетливо; это очень ясная и логически связная теорія. Притомъ, она не поражаетъ чѣмъ-либо страннымъ; это не логика сумасшедшаго; напротивъ, по замѣчанію Разумихина, „это не ново, и *похоже* на все, что мы тысячу разъ читали и слышали“.

Эту теорію, какъ намъ кажется, можно свести на три главныя точки. *Первая* состоитъ въ очень гордомъ, презрительномъ взглядѣ на людей, основанномъ на сознаніи своего умственнаго превосходства. Раскольниковъ былъ очень гордъ въ этомъ отношеніи. „Инымъ товарищамъ его—говоритъ авторъ—казалось, что онъ смотритъ на нихъ на всѣхъ, какъ на дѣтей, свысока, какъ будто онъ всѣхъ ихъ опередилъ и развитіемъ, и знаніемъ, и убѣжденіями, и что на ихъ убѣжденія и интересы онъ смотритъ, какъ на что-то низшее“.

Изъ этой гордости рождается презрительный, высокомѣрный взглядъ на людей, какъ бы отрицаніе у нихъ правъ на человѣческое достоинство. Старуха процентщица, для Раскольникова, есть *вошь*, а не человѣкъ. Уже долго спустя послѣ преступленія, уже тогда, когда онъ рѣшился донести на себя и вышелъ съ этой цѣлью на улицу, онъ еще разъ испытываетъ порывъ гордости и такъ выражаетъ свое пониманіе людей: „Вотъ они—говоритъ онъ—снуютъ всѣ по улицѣ взадъ и впередъ, и вѣдь всякій-то изъ нихъ подлецъ и разбойникъ уже по натурѣ своей: *хуже того—идіотъ*“.

Второй пунктъ теоріи заключается въ извѣстномъ взглядѣ на ходъ человѣческихъ дѣлъ, на исторію; взглядъ этотъ прямо вытекаетъ изъ презрительнаго взгляда на людей вообще.

„Я все себя спрашивалъ: зачѣмъ я такъ глупъ, что если другіе глупы, и коли я *знаю ужъ навѣрно, что они глупы*, то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, что если ждать, пока всѣ станутъ умными, то слишкомъ ужъ долго будетъ... Потомъ я еще узналъ, что никогда этого и не будетъ, что не перемѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому, и трудъ не стоитъ терять! Да, это такъ! Это ихъ законъ!.. И теперь я знаю, что кто крѣпокъ и силенъ умомъ и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ. *Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ*. Кто на большое можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ правѣе! Такъ доселѣ велось, и такъ всегда будетъ! Только слѣпой не разглядитъ!"

„—Я догадался тогда, продолжалъ онъ восторженно:—что власть дается только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять ее. Тутъ одно только, одно: стоитъ только посмѣть! У меня тогда одна мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце, представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не посмѣлъ и не смѣетъ, проходя мимо *всей этой нелѣпости, взять просто запросто все за хвостъ и стряхнуть къ черту!* Я... я захотѣлъ *осмѣлиться*".

Читатели, конечно, хорошо знаютъ эти отрицанія правды и смысла въ исторіи, тотъ взглядъ на историческія явленія, по которому всѣ онѣ происходили отъ насилія, опиравшагося на заблужденія. Этотъ взглядъ, взглядъ *просвѣщеннаго деспотизма,* породилъ на западѣ Европы огромныя революціи и до сихъ поръ порождаетъ тамъ людей, которыя разрѣшаютъ себѣ *всѣ средства,* чтобы измѣнить ходъ всемірной исторіи, которые считаютъ себя въ правѣ домогаться мѣста законодателей и учредителей новаго, разумнаго порядка вещей. Эти люди уже не живутъ подъ какимъ-нибудь авторитетомъ, потому что сами поставляютъ себя авторитетомъ для человѣчества. Они, подобно Раскольникову, желали бы, если бы могли, „взять все за хвостъ и стряхнуть къ чорту". Но эти люди дѣйствуютъ, считая своею цѣлью *благо человѣчества*, и они имѣютъ дѣло съ исто-

ріей народовъ. Поэтому, съ одной стороны, ихъ усилія получаютъ характеръ безкорыстія, самоотверженія, съ другой стороны—ихъ дѣятельность никогда не бываетъ удачною. Исторія ихъ не слушается, и идетъ *своимъ* порядкомъ. Глупые народы не понимаютъ того *блага*, которое имъ предлагаютъ умные люди.

Подъ вліяніемъ эгоизма молодости Раскольниковъ сдѣлалъ еще одинъ шагъ на пути этихъ мнѣній. Этотъ-то шагъ и составляетъ ту мысль, которая, по его словамъ, *выдумалась у него одного и которой никто никогда еще не выдумывалъ*. Такимъ образомъ онъ дошелъ до третьяго и послѣдняго пункта своей теоріи. Приведемъ мѣсто, гдѣ всего ярче высказывается эта мысль. Раскольниковъ смѣется про себя надъ соціалистами:

„За что давеча дурачокъ Разумихинъ соціалистовъ бранилъ? Трудолюбивый народъ и торговый: *общимъ счастьемъ* занимаются... Нѣтъ, мнѣ жизнь однажды дается и никогда ея больше не будетъ; я не хочу дожидаться *всеобщаго счастья*. Я и самъ хочу жить, а то лучше ужъ и не жить. Что-жъ? Я только не захотѣлъ проходить мимо голодной матери, зажимая въ карманѣ свой рубль, въ ожиданіи „всеобщаго счастія". „Несу, дескать, кирпичекъ на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствіе сердца". „Нельзя-съ! Зачѣмъ же вы меня-то пропустили? Я вѣдь всего однажды живу, я тоже хочу..."

И вотъ Раскольниковъ рѣшился нарушить обыкновенный ходъ дѣлъ и дозволить себѣ всякія средства не для того, чтобы измѣнить ходъ всемірной исторіи, а для измѣненія своей личной судьбы и судьбы своихъ близкихъ. Чего онъ хотѣлъ въ этомъ отношеніи, онъ подробно объясняетъ Сонѣ.

„У матери моей почти ничего нѣтъ. Сестра получила воспитаніе случайно, и осуждена таскаться въ гувернанткахъ. Всѣ ихъ надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя въ университетѣ не могъ, и на время принужденъ былъ выйти. Если бы даже и такъ тянулось, то лѣтъ черезъ десять, двѣнадцать (если бы обернулись хорошо обстоятельства), я все-таки могъ надѣяться стать какимъ-нибудь учителемъ или чиновникомъ, съ тысячью рублями жалованья... (Онъ говорилъ *какъ будто заученное*). А къ тому времени мать высохла бы отъ заботъ и отъ горя, и мнѣ,

все-таки, не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, съ сестрой могло бы еще и хуже случиться!... Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и отъ всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, напримѣръ, почтительно перенесть? Для чего? Для того ли, чтобы ихъ схоронивъ, новыхъ нажить—жену да дѣтей, и тоже потомъ безъ гроша и безъ куска оставить? Ну... вотъ я и рѣшилъ, завладѣвъ старухиными деньгами, употребить ихъ на мои первые годы, не мучая мать, на обезпеченіе себя въ университетѣ, на первые шаги послѣ университета,—и сдѣлать это широко, радикально, такъ, чтобъ ужъ совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать".

Таковы цѣли, которыя имѣлъ въ виду Раскольниковъ. Но эти цѣли не составляли прямыхъ побужденій къ преступленію. Онѣ могли внушить Раскольникову самыя разнообразныя усилія; непремѣнное убійство никакъ логически изъ нихъ не вытекаетъ. Напротивъ, оно строго вытекаетъ изъ его эгоистической теоріи. Вотъ почему тотчасъ послѣ приведенной рѣчи самъ Раскольниковъ начинаетъ говорить, что „это не то," что онъ „вретъ, давно уже вретъ" и проч. очевидно, главное, что его двигало, что распаляло его воображеніе, было требованіе приложить свою теорію *осуществить на дѣлѣ то, что позволилъ себѣ въ мысли.*

Въ другомъ мѣстѣ онъ ясно высказываетъ это главное побужденіе къ преступленію.

„Старушонка вздоръ! думалъ онъ горячо и порывисто:— старуха, пожалуй, что и ошибка, не въ ней дѣло! Старуха была только болѣзнь... *Я переступить скорѣе хотѣлъ... я не человѣка убилъ, я принципъ убилъ!*"

Вотъ самая суть преступленія. Это *убійство принципа.* Не три тысячи рублей тянули Раскольникова; странно сказать, между тѣмъ вѣрно—что если бы эти деньги могли достаться ему черезъ воровство, плутовство въ карты, или другое мелочное мошенничество, онъ едва ли бы на него рѣшился. Его тянуло убить принципъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ покушается на самую жизнь своей души; но, убивши, онъ по страшнымъ мукамъ своимъ понялъ, *какое* преступленіе онъ совершилъ.

Вотъ задачи, предположенныя себѣ авторомъ. Задачи огромныя, имѣющія несравненную важность. Глубочайшее извра-

щеніе нравственнаго пониманія и затѣмъ возвращеніе души къ истинно-человѣческимъ чувствамъ и понятіямъ—вотъ общая тема, на которую написанъ романъ г. Достоевскаго.

* * *

*) Раскольниковъ не есть типъ. То есть онъ не настолько своеобразенъ, не представляетъ такихъ опредѣленныхъ и органически связанныхъ между собою чертъ, чтобы его образъ носился передъ нами, какъ живое лицо. Въ частности же—это не есть типъ нигилистическій, не видоизмѣненіе того типа настоящаго нигилиста, который всѣмъ болѣе или менѣе знакомъ и который всѣхъ раньше и всѣхъ мѣтче былъ угаданъ Тургеневымъ въ его *Базаровѣ*. Что же? Мѣшаетъ это роману? Тѣ, кто читалъ романъ, мы думаемъ, согласятся съ нами, что отсутствіе большей типичности здѣсь не вредитъ, и даже какъ будто способствуетъ дѣлу. Неопредѣленность, *молодая* неопредѣленность и неустановленность Раскольникова очень идетъ къ его *фантастическому* (по словамъ Порфирія) поступку. Кромѣ того, невольно чувствуется, что Базаровъ никакимъ образомъ не совершилъ бы *такъ* и *такого* дѣла. Человѣкъ, слѣдовательно, выбранъ г. Достоевскимъ нельзя сказать, чтобы не вѣрно.

Но главное, очевидно, здѣсь не въ человѣкѣ, не въ обрисовкѣ извѣстнаго типа. Не здѣсь центръ тяжести романа. Цѣль романа состоитъ не въ томъ, чтобы вывести передъ глазами читателей какой-нибудь новый типъ, изобразить намъ „бѣдныхъ людей“, „подпольнаго человѣка“, людей „мертваго дома“, „отцовъ и дѣтей“ и т. д. Весь романъ сосредоточился около одного поступка, около того, какъ родилось и совершилось нѣкоторое *дѣйствіе*, и какія повлекло за собою послѣдствія въ душѣ совершившаго. Такъ романъ и называется; на немъ надписано не имя человѣка, а названіе событія, съ нимъ случившагося. Предметъ обозначенъ вполнѣ ясно: дѣло идетъ о *преступленіи и наказаніи*.

И въ этомъ отношеніи всякій согласится, что романъ г. Достоевскаго очень типиченъ. Удивительно типично изображены всѣ тѣ процессы, которые совершаются въ душѣ пре-

*) Онъ же (Н. Страховъ). „Отечественныя Записки“ 1867 г., № 4.

ступника; вотъ что составляетъ главную тему романа и что поражаетъ въ немъ читателей. Живо и глубоко схвачено въ немъ то, какъ идея преступленія зарождается и укрѣпляется въ человѣкѣ, какъ борется съ нею душа, инстинктивно чувствуя ужасъ этой идеи: какъ человѣкъ, вскормившій въ себѣ злую мысль, почти лишается, наконецъ, воли и разума, и слѣпо повинуется ей; какъ онъ *механически* совершаетъ преступленіе, долго созрѣвавшее въ немъ органически; какъ пробуждается въ немъ потомъ боязнь, подозрительность, злоба къ людямъ, отъ которыхъ ему грозитъ кара; какъ начинаетъ онъ чувствовать омерзеніе къ себѣ и къ своему дѣлу; какъ прикосновеніе живой и теплой жизни пробуждаетъ въ немъ муки безсознательнаго раскаянія; какъ, наконецъ, ожесточенная душа не выдерживаетъ и размягчается до чувства умиленія.

Передъ этимъ страшнымъ процессомъ личность Раскольникова съ ея особенностями совершенно сглаживается и исчезаетъ. Сперва поглотила его извращенная идея, а потомъ въ немъ съ неодолимою силою просыпается *человѣкъ*, человѣческая душа, и мучитъ его своимъ пробужденіемъ, съ которымъ онъ старается совладать. При такихъ явленіяхъ индивидуальность дѣйствующаго лица естественно должна отступить на задній планъ. Такъ слѣдуетъ это изъ самаго смысла романа. Преступленіе вовсе не есть дѣйствіе, характеристическое для личности Раскольникова; люди, въ характеристику которыхъ входитъ преступленіе, совершаютъ дѣла этого рода гораздо легче и совершенно *иначе*. Раскольникову же просто довелось *перенести* на себѣ преступленіе; можно сказать, что *оно съ нимъ случилось*, и душа его отозвалась на него такъ, какъ отозвалась бы, вообще говоря, душа *всякаго* человѣка.

И такъ понятно, что личность Раскольникова подавлена самымъ событіемъ, и не представляетъ яснаго типическаго образа. Въ этомъ отношеніи самая тема автора ставила его въ выгодное положеніе, именно давала ему возможность высказать всю силу таланта, несмотря на недостатокъ полной типичности. Гораздо правильнѣе мы можемъ требовать болѣе ясной типичности отъ остальныхъ лицъ романа. Ихъ очень много и они выполнены очень не равномѣрно. Наиболѣе удавшимися и даже вполнѣ удачными слѣдуетъ признать пьяницу Мармеладова и его жену Катерину Ивановну. Это

дѣйствительные типы, ярко, отчетливо очерченные. Въ нихъ ясно выразились главныя достоинства таланта г. Достоевскаго. Онъ открылъ читателямъ, какъ возможно относиться симпатически къ этимъ людямъ, такимъ слабымъ, смѣшнымъ, жалкимъ, потерявшимъ всю силу владѣть собою и походить на другихъ людей. Но главная сила автора, какъ мы уже замѣтили, не въ типахъ, а въ изображеніи положеній, въ умѣньи глубоко схватывать отдѣльныя движенія и потрясенія человѣческой души. Въ этомъ отношеніи онъ достигъ во многихъ мѣстахъ своего новаго романа до полнаго и удивительнаго мастерства. Романъ задуманъ и расположенъ очень просто, но вмѣстѣ правильно и строго.

Послѣ совершенія преступленія, для Раскольникова начинается двоякій рядъ мученій. Во-первыхъ, мученія страха. Несмотря на то, что всѣ концы спрятаны, подозрительность не оставляетъ его ни на минуту, и малѣйшій поводъ къ опасенію нагоняетъ на него мучительный страхъ. Второй рядъ мученій заключается въ тѣхъ чувствахъ, которыя испытываетъ убійца при сближеніи съ другими людьми, съ лицами, у которыхъ нѣтъ ничего на душѣ, которыя полны теплотою и жизнью. Сближеніе это происходитъ двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, самого преступника тянетъ къ живымъ людямъ, потому что ему хотѣлось бы стать съ ними наравнѣ, отбросить ту преграду, которую онъ самъ положилъ между ними и собою. Вотъ отчего Раскольниковъ отправляется къ Разумихину. „Сказалъ я (думаетъ онъ про себя) третьяго дня... что къ нему послѣ *того* на другой день пойду, ну что-жъ, и пойду! *Будто ужъ я не могу теперь зайти...* По этой же причинѣ онъ такъ усердно начинаетъ хлопотать о раздавленномъ Мармеладовѣ и сближается съ его осиротѣвшимъ семействомъ, особенно съ Сонею. Второе обстоятельство, по которому Раскольниковъ очутился среди людей живыхъ и имѣющихъ близкія къ нему отношенія, заключается въ пріѣздѣ его семейства въ Петербургъ. То письмо, которое было послѣднимъ толчкомъ къ убійству, содержало въ себѣ извѣстіе, что мать и сестра Раскольникова должны явиться въ Петербургъ, гдѣ сестра и пожертвуетъ собою, вышедши за Лужина. Такимъ образомъ Раскольниковъ, бывшій до тѣхъ поръ одинокимъ и удалявшійся отъ людей, теперь волею и неволею окруженъ людьми, съ которыми связанъ всего ближе.

Читатель чувствуетъ, что если бы эти люди были около Раскольникова прежде, то онъ никогда бы не совершилъ преступленія. Теперь же, когда преступленіе совершено, эти люди даютъ поводъ къ пробужденію въ душѣ преступника всевозможныхъ мукъ, вызываемыхъ прикосновеніемъ жизни въ душѣ, извратившей себя и коснѣющей въ своемъ извращеніи. Таково весьма простое, но вмѣстѣ очень правильное и искусное построеніе романа.

Очень правильно также развита извѣстная постепенность въ душевныхъ страданіяхъ преступника. Сперва Раскольниковъ совершенно подавленъ случившимся и даже заболѣваетъ. Первая его попытка сойтись съ живыми людьми, свиданіе съ Разумихинымъ, просто ошеломляетъ его. „Подымаясь къ Разумихину, онъ не подумалъ о томъ, что съ нимъ, стало-быть, лицомъ къ лицу сойтись долженъ. Теперь же, въ одно мгновеніе, догадался онъ уже на опытѣ, что *всего меньше расположенъ* въ эту минуту сходиться лицомъ къ лицу съ кѣмъ бы то ни было на свѣтѣ“. Онъ уходитъ, не владѣя собою. Точно такъ первыя муки отъ боязни подавляютъ его. Онѣ разрѣшаются страшнымъ, томительнымъ сновидѣніемъ (удивительныя двѣ страницы), послѣ котораго Раскольниковъ заболѣваетъ.

Мало-по-малу, однако же, преступникъ становится крѣпче. Онъ сходится съ Разумихинымъ, хитритъ съ Заметовымъ, принимаетъ дѣятельное участіе въ судьбѣ семейства Мармеладовыхъ, въ судьбѣ своей сестры, увертывается отъ хитраго слѣдователя Порфирія, открываетъ свою тайну Сонѣ и пр. Но, по мѣрѣ того, какъ преступникъ овладѣваетъ собою, страданіе его не ослабѣваетъ, а становится только постояннѣе и опредѣленнѣе. Сначала онъ еще чувствуетъ порывы радости, когда страхъ, нагнанный какою-нибудь случайностію, отлегаетъ вдругъ отъ сердца, или когда ему удастся сблизиться съ другими людьми и почувствовать себя все еще человѣкомъ. Но потомъ эти колебанія исчезаютъ.

Какая-то особенная тоска—разсказываетъ авторъ—начала сказываться ему въ послѣднее время. Въ ней не было чего-нибудь особенно ѣдкаго, жгучаго; но отъ нея вѣяло чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вѣчность на „аршинѣ пространства“.

Вотъ тѣ мотивы, на которые написана самая большая, центральная часть романа. Можно замѣтить — хотя, право, въ подобныхъ вещахъ трудно полагаться на собственное сужденіе и лучше довѣриться проницательности художника — что въ душѣ Раскольникова, сверхъ страха и боли, должна бы еще занимать большое мѣсто третья тема — *воспоминаніе о преступленіи*. Воображеніе и память преступника, казалось бы, должны чаще обращаться къ картинѣ страшнаго дѣла.

Н. Страховъ.

* * *

*) Для человѣка извѣстнаго круга и воспитанія, съ извѣстнымъ складомъ привычекъ, стремленій и проч. изо всѣхъ бѣдствій нѣтъ, можетъ-быть, ни одного, которое было бы такъ страшно, какъ нищета (разумѣя подъ нищетою, конечно, не нищенство, а только послѣднюю степень бѣдности). Почему именно нищета? Почему она, для иныхъ, страшнѣе болѣзни и смерти?.. Голодъ, нечистота, зависимость, конечно, большія бѣдствія; но хотя всѣ они очень легко возможны для неимущаго, тѣмъ не менѣе ни одно изъ нихъ не связано съ нищетой неразрывно. Неимущій можетъ трудиться и можетъ быть сытъ; онъ можетъ работать на чистомъ воздухѣ и будетъ здоровъ; нечистоты легко избѣжать тому, кто ея не терпитъ. Щетка, вода и мыло не дорого стоютъ. Зависимость тяжела, разумѣется, но надо быть уже очень достаточнымъ человѣкомъ, чтобъ быть дѣйствительно независимымъ. Сотни тысячъ людей не имѣютъ рѣшительно ничего, кромѣ рукъ для работы, и однако же никакъ нельзя утверждать, чтобы всѣ они были несчастны. Большая часть, если и не совсѣмъ довольны своимъ положеніемъ, то и тяготятся имъ уже никакъ не болѣе многихъ людей достаточныхъ. Они привыкли къ опасностямъ, ихъ окружающимъ, привыкли бороться съ ними, и это даетъ имъ стойкость, самонадѣянность и спокойствіе, которыхъ люди, взросшіе за перилами, въ ихъ положеніи не могли бы имѣть. Сознаніе этого недостатка и есть та первая, общая всѣмъ послѣднимъ причина, которая дѣлаетъ нищету, въ ихъ глазахъ,

*) Николай Ахшарумовъ. „Преступленіе и Наказаніе“. „Всемірный Трудъ“ 1867 г., № 3.

самымъ ужаснѣйшимъ изъ несчастій. Они не могутъ себя вообразить на этой узкой площадкѣ вверху, безъ перилъ, не воображая съ тѣмъ вмѣстѣ ужаснѣйшей изъ всѣхъ нравственныхъ мукъ. Это первое. Вслѣдъ за этимъ является самолюбіе. У людей, мало развитыхъ въ нравственномъ отношеніи, оно выражается просто и грубо, презрѣніемъ къ нищему, къ труду изъ-за хлѣба насущнаго, къ зависимости отъ всѣхъ, съ кѣмъ имѣешь дѣло, и страхомъ стать въ уровень съ тѣмъ, что для нихъ презрительно. Тутъ нѣтъ анализа; этого рода люди не дѣлятъ себя отъ своего положенія и потерять его, въ ихъ глазахъ, значитъ просто погибнуть. Развитіе и привычка къ анализу ведутъ человѣка дальше. Въ немъ есть уже ясное пониманіе, что достоинство человѣка одна вещь, а случайная обстановка его положенія совершенно другая. Такой человѣкъ не презираетъ нищаго за его нищету; но это еще не мѣшаетъ ему призирать его вдвое за его грубость, невѣжество. Онъ не считаетъ себя выше его, потому что онъ обезпеченъ, но онъ переноситъ балансъ на другую сторону и цѣнитъ въ себѣ несоразмѣрно высоко то, что, конечно, ближе ему принадлежитъ, свой развитый умъ, очищенный вкусъ и расширенный взглядъ на вещи. Для такихъ людей нищета не есть просто гибель, а нѣчто еще того горшее и ужаснѣйшее:—гибель нравственная. Они хорошо понимаютъ, что все превосходство ихъ гроша не стоитъ, если они попадутъ однажды въ такую сферу, гдѣ некогда сберегать дорогой свой товаръ въ кладовой и ждать, пока его купятъ оптомъ, гдѣ нѣтъ никакой отсрочки, гдѣ утренній трудъ съѣдается къ вечеру безъ остатка, подъ страхомъ голодной смерти. Къ тому же, чувство ежеминутной опасности плохой товарищъ для умственнаго труда... А далѣе?.. Далѣе, всякій товаръ, не имѣющій сбыта, падаетъ быстро въ цѣнѣ, и мелочная лавчонка беретъ перевѣсъ надъ богатою кладовою... Что же?.. Идти въ ученики къ нѣмцу, ремесленнику;—или стоять за прилавкомъ да продавать гнилыя селедки и ржавые огурцы, и ждать покуда твой мозгъ также заржавѣетъ и прокиснетъ, и ты огрубѣешь, станешь такимъ же скотомъ, какъ всѣ эти сиволапы, сермяжники?.. И все-таки будешь ниже ихъ; потому что они, несмотря на ихъ грубость, не пропадутъ, а ты пропадешь. Они сумѣютъ найтись и стерпѣть и выкарабкаться изъ этой вонючей тины, а ты не стерпишь и не найдешься;—

тебя засосетъ. И тутъ-то является у тебя украдкой сознаніе, оскорбительное для твоего высокаго мнѣнія о себѣ, сознаніе, что у этого сиволапа, сермяжника, есть нѣкоторыя нравственныя достоинства, которыхъ у тебя нѣтъ; есть выдержка, смѣлость, находчивость, стойкость;—что онъ боецъ, а ты мямля и трусъ.

Вотъ точка анализа, на которой Раскольниковъ повернулъ съ общей дороги подобныхъ ему людей на свой особливый путь, а потому мы, оставивъ общую сторону вопроса, пойдемъ вслѣдъ за нимъ. Моментъ, на которомъ его застаетъ начало разсказа, нѣсколько позже этого поворота. Онъ представляетъ его уже разрѣшившимъ вопросъ, ясную постановку котораго и самый способъ рѣшенія мы находимъ у автора только впослѣдствіи; но для насъ это все равно, потому что, во всякомъ случаѣ, намъ пришлось бы начать съ того же. Человѣкъ этотъ очень молодъ еще;—онъ не кончилъ университетскаго курса; но онъ ужъ развитъ не по лѣтамъ. Давно уже онъ успѣлъ понять свое положеніе и убѣдиться, что онъ не можетъ идти тою дорогою, которою началъ. Невозможность эта лежитъ безъ сомнѣнія не въ одной его бѣдности. Есть люди гибкіе, умѣющіе согнуться, гдѣ нужно, и проскользнуть въ такую узкую щелочку, которой другіе и не примѣтятъ. Раскольниковъ очевидно не изъ такихъ. Въ немъ нѣтъ изворотливости и находчивости, а съ другой стороны есть спесь, не позволяющая ему сгибаться. Такой человѣкъ долженъ былъ, разумѣется, чувствовать вдвое сильнѣе всѣ нравственныя мученія нищеты; но оскорбительное сознаніе, о которомъ мы говорили недавно, сознаніе, что всякій поденщикъ, въ его положеніи, нашелъ бы въ себѣ болѣе смѣлости и болѣе силы выбиться изъ болота, грозящаго его засосать, сознаніе это, у человѣка съ такимъ свирѣпымъ высокомѣріемъ, естественно—приняло нѣсколько измѣненный видъ. Дорога, на которой онъ встрѣтилъ преградою крайнюю бѣдность, должна была стать въ глазахъ его вдвое заманчивѣе, и цѣль, къ которой она вела, неизмѣримо возвышеннѣе, чѣмъ все это, вѣроятно, казалось бы, еслибъ оно случайно не сдѣлалось для него запрещеннымъ плодомъ и не одѣлось его искусительною прелестью. Такой человѣкъ, какъ онъ, съ его широкимъ взглядомъ на вещи, съ его умомъ, съ его волею, до чего онъ не могъ бы достичь, если бъ не эта тупая и унизительная пре-

града? Самый тотъ фактъ, что онъ не могъ миновать ее обыкновеннымъ путемъ, не долженъ ли онъ былъ стать, въ его глазахъ, вѣрною порукою, что онъ не похожъ на этихъ другихъ и не можетъ себя измѣрять обыкновенною мѣркою? Вмѣсто того, чтобъ сравнить себя съ обыкновеннымъ поденщикомъ и, понявъ со стыдомъ, что этотъ послѣдній, во многомъ, существенно человѣческомъ, выше и лучше его, поставить задачею для своего самолюбія какъ можно быстрѣе пополнить такой недостатокъ, человѣкъ этотъ предпочелъ просто выдѣлить себя изъ толпы и признать за единицу другого порядка, за одно изъ тѣхъ высшихъ существъ, для которыхъ обыкновенный путь не указанъ. Процессъ, приведшій его къ этому выводу, былъ процессъ чисто личныхъ иллюзій. Свое спесивое отвращеніе къ обыкновенной дорогѣ онъ принялъ за неспособность идти этой дорогой, а неспособность эта, въ его глазахъ, стала вѣрнѣйшею порукою, что онъ способенъ къ чему-то другому, лучшему. Чтобы оправдать эти иллюзіи, онъ долженъ былъ, разумѣется, положить въ основаніе ихъ общіе взгляды, успѣвшіе уже пріобрѣсть всѣ свойства авторитета, взгляды, конечно, выработанные не имъ, но которые приходились ему съ руки, и главнѣйшимъ изъ нихъ явилось весьма естественно: отрицаніе естественнаго порядка. Оно было съ руки ему и естественно въ его положеніи, потому что, не находя себѣ мѣста въ этомъ порядкѣ, онъ, разумѣется, былъ не слишкомъ расположенъ его уважать. Но мы изложимъ его воззрѣнія на этотъ предметъ собственными его словами.— „Люди"—говоритъ онъ,—„по закону природы, раздѣляются *вообще* на два разряда:—на низшій, обыкновенный, то есть, такъ сказать, на матеріалъ, служащій единственно для зарожденія себѣ подобныхъ, и собственно на людей, т. е. имѣющихъ даръ или талантъ сказать въ средѣ своей *новое слово*. Подраздѣленія тутъ, разумѣется, безконечныя, но отличительныя черты обоихъ разрядовъ довольно рѣзкія: *первый разрядъ*, т. е. матеріалъ, говоря вообще, люди по натурѣ своей консервативные, чинные, живутъ въ послушаніи и любятъ быть послушными. По моему, они обязаны быть послушными, потому что это ихъ назначеніе, и тутъ рѣшительно нѣтъ ничего для нихъ унизительнаго.—*Второй разрядъ*,—всѣ преступаютъ законъ, разрушители, или склонны къ тому, смотря по способностямъ. Преступленія этихъ людей, разумѣется, относительны и много-

различны: большею частію они требуютъ, въ весьма разнообразныхъ явленіяхъ, разрушенія настоящаго во имя лучшаго будущаго... Первый разрядъ всегда господинъ настоящаго, второй разрядъ—господинъ будущаго. Первые сохраняютъ міръ и пріумножаютъ его численно; вторые двигаютъ міръ и ведутъ его къ цѣли. И тѣ и другіе имѣютъ совершенно одинаковое право существовать (впослѣдствіи однако оказывается, что не одинаковое). Однимъ словомъ, у меня всѣ равносильное право имѣютъ, и vive la querre éternelle! до новаго Іерусалима разумѣется“...

Изъ этого мы уже видимъ ясно, что Раскольниковъ сдѣлалъ скачокъ. Отъ неспособности своей быть простымъ поденщикомъ онъ перескакнулъ однимъ взмахомъ къ способности двигать міръ и вести его къ лучшей цѣли; разстояніе изумительное, и мы еще лучше могли бы измѣрить его, если бы знали ясно: какая это такая цѣль?... Ужъ не *новый ли Іерусалимъ,* о которомъ онъ говоритъ въ концѣ? Но въ этомъ онъ очевидно и самъ не дастъ себѣ обстоятельнаго отчета или, вѣрнѣе сказать, впадаетъ, по поводу этого, въ противорѣчія. На счетъ того, что собственно онъ разумѣетъ подъ *новымъ Іерусалимомъ*, сомнѣнія нѣтъ. Это тотъ новый порядокъ жизни, къ которому клонятся всѣ стремленія соціалистовъ, порядокъ, въ которомъ *всеобщее счастье* можетъ осуществиться, и Раскольниковъ готовъ вѣрить въ возможность такого порядка, по крайней мѣрѣ, онъ не оспариваетъ его возможности, но такъ какъ исходная точка его была чисто личный разладъ его съ жизнію, то и вся дальнѣйшая часть его тенденціи сохраняетъ въ себѣ личный характеръ. Возможность *всеобщаго счастья* слишкомъ ужъ далека для него... „Нѣтъ“, говоритъ онъ,—„мнѣ жизнь однажды дана и никогда ея больше не будетъ; — я не хочу дожидаться *всеобщаго счастья*. Я и самъ хочу жить; а то лучше ужъ и не жить...“ Вотъ ключъ къ тому настроенію, въ которомъ мы застаемъ его не задолго до его рокового *шага*. Этого мало еще, конечно, чтобъ все объяснить; это не болѣе какъ простой анализъ, который, самъ по себѣ, могъ вовсе и не имѣть послѣдствій, но въ головѣ человѣка съ такимъ бѣдовымъ характеромъ онъ уже много значитъ. Такой человѣкъ, какъ онъ, не могъ на этомъ остановиться; онъ долженъ былъ пойти непремѣнно далѣе и гораздо далѣе, такъ далеко, какъ онъ, можетъ быть,

не созналь бы въ себѣ и силы идти, если бы онъ могъ предвидѣть конецъ заранѣе, потому что онъ былъ не изъ сильныхъ, не былъ даже изъ очень смѣлыхъ людей, а былъ только прытокъ и дерзокъ, да при этомъ еще и неповоротливъ, такъ что прямая дорога по одному направленію:—отъ анализа прямо къ выводу, а отъ вывода прямо къ дѣлу, обусловлена была для него скорѣе его неспособностью извернуться, чѣмъ свободнымъ выборомъ силы, сознающей себя достаточною. Тысячи были въ его положеніи, и изъ нихъ очень многіе, можетъ быть, даже и думали такъ какъ онъ; но у очень немногихъ сочетаніе ихъ образа мыслей съ общимъ болѣзненнымъ настроеніемъ духа могло бы родить такія послѣдствія.

Въ дѣтствѣ Раскольниковъ былъ мягкій и добрый ребенокъ, съ слабыми нервами и съ очень чувствительнымъ сердцемъ. Онъ не могъ видѣть чужого страданья. Впечатлительность эта осталась въ немъ и впослѣдствіи, и она то была причиною, что когда ему довелось самому терпѣть, онъ старательно избѣгалъ всякаго жесткаго столкновенія съ жизнію и уходилъ боязливо въ себя. Отъ этого-то въ *университетѣ* онъ почти не имѣлъ товарищей, всѣхъ чуждался, ни къ кому не ходилъ и у себя принималъ тяжело. Былъ онъ очень бѣденъ и какъ-то надменно гордъ и несообщителенъ, какъ будто что-то таилъ про себя... Ни въ общихъ сходкахъ, ни въ разговорахъ, ни въ забавахъ, ни въ чемъ онъ какъ-то не принималъ участія... Разумѣется, и отъ него скоро всѣ отвернулись. Занимался сначала усиленно, не жалѣя себя, жилъ уроками и тѣмъ, что бѣдная мать высылала ему изъ губерніи; но все это было ничтожно. Мать и сама получала всего 120 рублей пенсіона, а за уроки платили ему полтинниками, которыхъ едва хватало на сапоги. Другой, конечно, можетъ быть справился бы и съ этимъ; были такіе между его товарищами, которые находили возможность это выдерживать,—онъ не могъ. Онъ былъ непаходчивъ, неловокъ и гордъ. Года въ два-три онъ упалъ совершенно духомъ, перестал посѣщать лекціи, потерялъ уроки, отшатнулся рѣшительно отъ всего и заперся въ самомъ скверномъ кварталѣ города, въ пяти шагахъ отъ Сѣнной, въ душной каморкѣ, подъ самою кровлею пяти-этажнаго дома... Входъ съ черной лѣстницы мимо кухни хозяйки, у которой онъ въ неоплат-

номъ долгу. Въ каморкѣ пыль, духота, столъ съ книгами и тетрадями, до которыхъ ни чья рука давно уже не касалась, софа въ лохмотьяхъ, на которой онъ часто спалъ, какъ былъ, не раздѣваясь, безъ простыни, покрываясь старымъ, ветхимъ студенческимъ пальто и съ одною маленькою подушкою въ головахъ, подъ которую онъ подкладывалъ все, что было бѣлья чистаго и заношеннаго, чтобъ было повыше;—и надъ всѣмъ этимъ потолокъ, подъ которымъ можно было едва стоять, не касаясь до него головой... Четыре мѣсяца тому назадъ онъ получилъ отъ матери пятнадцать рублей, потомъ закладывалъ кое-какія бездѣлки, но всего этого, разумѣется, далеко не хватало. Квартирная хозяйка двѣ недѣли уже, какъ перестала ему отпускать кушанье. Настасья, единственная служанка хозяйкина, обязанная ему прислуживать, совсѣмъ перестала у него убирать и мести, и такъ только, въ недѣлю разъ, нечаянно бралась иногда за вѣникъ. Въ одеждѣ своей, какъ и во всемъ остальномъ, онъ опустился и обнеряшился до послѣдней степени. Онъ былъ до того худо одѣтъ, что иной и привычный посовѣстился бы выходить въ такихъ лохмотьяхъ на улицу; но и улицы вокругъ дома его были не лучше. Близость Сѣнной, пропасть распивочныхъ, пьянство и толкотня, духота, вонь,—все это было въ согласіи съ болѣе близкой къ нему обстановкой и замыкало безвыходный кругъ, въ которомъ мы застаемъ Раскольникова. Давно уже онъ томился въ этомъ кругу и, наконецъ, болѣзненное его настроеніе дошло до послѣдней степени. Глубочайшее отвращеніе ко всему, ненависть къ жизни и людямъ запирали всѣ выходы. О насущныхъ дѣлахъ своихъ онъ перестала совершенно заботиться, голодалъ по суткамъ, бродилъ по улицамъ, не замѣчая пути и не видя прохожихъ. Ему случалось нерѣдко возвратиться домой, напримѣръ, и совершенно не помнить дороги, по которой онъ шелъ, и онъ уже привыкъ такъ ходить. Чувство какой-то болѣзненной и трусливой вражды закипало въ немъ при малѣйшемъ прикосновеніи съ чужими, незнакомыми ему лицами. Онъ оборвалъ всякую связь съ окружающимъ, оттолкнулся рѣшительно отъ всего, ушелъ отъ всѣхъ, какъ черепаха въ свою скорлупу, и даже лицо служанки, заглядывавшей иногда въ его комнату, возбуждало въ немъ желчь и конвульсіи. Такъ бываетъ, по замѣчанію автора, у иныхъ мономановъ слиш-

комъ на чемъ-нибудь сосредоточившихся... И это вѣрно. Такое разъединеніе со всѣмъ внѣшнимъ заставляетъ необходимо предполагать съ другой стороны не менѣе сильную концентрацію. Весь огонь, вся энергія этой молодой жизни сосредоточились въ головѣ. Это была единственная его мастерская, и въ ней, какъ въ пылающемъ фокусѣ очага, кипѣла работа усиленная и спѣшная... Онъ думалъ... Цѣлые длинные зимніе вечера лежа одинъ у себя въ каморкѣ, въ потьмахъ, безъ свѣчей,.. онъ думалъ; далѣе этого ему нечего было болѣе дѣлать и некуда больше идти. „А понимаете-ли вы, милостивый государь, что значитъ, когда уже некуда больше идти?.. Ибо надо, чтобъ всякому человѣку хоть куда-нибудь было можно пойти"... А если некуда, совсѣмъ уже некуда, тогда что?.. Тогда ему остается стоически обернуться лицомъ къ стѣнѣ и умереть; или... переступить барьеръ, поставленный для стада обыкновенныхъ людей закономъ, которому ихъ назначеніе повиноваться, но который не обязателенъ для людей другого разряда, людей, стремящихся къ разрушенію стараго во имя чего-нибудь новаго, лучшаго...

Въ томъ, что Раскольниковъ думалъ объ этомъ вопросѣ долго съ теоретической его стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія. Въ этомъ свидѣтельствуетъ его статья, написанная два мѣсяца передъ тѣмъ и главною темою которой было *преступленіе*. Въ этой статьѣ, онъ успѣлъ ужъ додуматься до довольно рискованныхъ заключеній. Онъ успѣлъ, напримѣръ, убѣдить себя: „что необыкновенный человѣкъ имѣетъ право... то есть не официальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти... перешагнуть черезъ иныя препятствія, и единственно въ томъ только случаѣ, если исполненіе его идеи (иногда спасительной, можетъ быть, для цѣлаго человѣчества) того потребуетъ. Такъ, напримѣръ, если бы Кеплеровы, Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ-нибудь комбинацій, никакимъ образомъ не могли бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ бы этому открытію, или ставшихъ-бы на пути, какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ бы право и даже былъ бы обязанъ... *устранить* этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать извѣстными свои открытія всему человѣчеству..." Все это далеко не ново и такъ не хитро, что человѣкъ, умственно зрѣлый можетъ и самъ

понять, гдѣ тутъ кроется ложь; а потому мы и займемся этимъ впослѣдствіи, на досугѣ; теперь же посмотримъ, что далѣе?.. Далѣе—„всѣ, ну, напримѣръ, хоть законодатели и установители человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и т. д., всѣ до единаго были преступники уже тѣмъ однимъ, что давая новый законъ, тѣмъ самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отъ отцовъ перешедшій, и ужъ, конечно, не останавливались и передъ кровью, если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая за древній законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшные кровопроливцы...“ Выводъ такой,—„что и всѣ, не то что великіе, но и чуть-чуть изъ колеи выходящіе люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что нибудь новенькое, должны по природѣ своей быть непремѣнно преступниками, болѣе или менѣе разумѣется. Иначе имъ трудно выйти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ, они, конечно, не могутъ согласиться, опять-таки по природѣ своей, а по моему, такъ даже и обязаны не соглашаться“.

Выводъ весьма замѣчательный, потому что онъ намъ указываетъ, куда, можетъ быть, непримѣтно для самого Раскольникова, но тѣмъ не менѣе очевидно для насъ, клонилась умственная его работа. Съ высоты историческихъ парадоксовъ, олицетворенныхъ имъ въ колоссальныхъ фигурахъ Наполеона и Магомета, онъ инстинктивно стремился сойти къ той крайне неопредѣленной чертѣ, которая отдѣляетъ послѣдній разборъ общественныхъ дѣятелей и людей, выходящихъ изъ ряда, отъ несмѣтнаго множества двусмысленныхъ личностей, *чуть-чуть выходящихъ изъ колеи, чуть-чуть способныхъ сказать что-нибудь новенькое*, отъ такихъ, однимъ словомъ, на счетъ которыхъ весьма мудрено рѣшить: вышли-ли они изъ колеи по природѣ своей или по просту соскочили съ рельсовъ.

Въ началѣ статьи мы указали точку, съ которой Раскольниковъ повернулъ на теорію; —здѣсь мы находимъ другую, съ которой работа мысли его начала опять принимать оборотъ практическій. Въ суммѣ эти два поворота образовали изгибъ, направленный безсознательно, но неуклонно къ тому, чтобы обойти препятствія, загородившія ему торный путь, и оставить ихъ позади себя однимъ взмахомъ, не вступая съ

ними въ открытый упорный бой. Къ несчастью, на изгибѣ этомъ его ожидало нѣчто весьма для него непріятное, и чего никакими софизмами онъ не могъ обойти:—это *законъ*, черезъ который надо было ступить фактически, и такимъ образомъ совершить положительно, самолично то, что называется *преступленіемъ*. Теоретически онъ былъ смѣлъ, и справлялся съ этимъ легко. Вопросъ о преступленіи вообще, какъ мы видѣли, занималъ его очень сильно и былъ обдуманъ имъ съ разныхъ сторонъ. Но *преступленіе вообще*, преступленіе какъ простое понятіе, и преступленіе въ образѣ дѣла, имѣющаго осуществиться—двѣ вещи весьма различныя.

...Что нужно сдѣлать?... Гдѣ и когда и какимъ образомъ? И точно-ли онъ изъ тѣхъ, которые могутъ себѣ разрѣшить это по совѣсти, ради высшихъ цѣлей? И гдѣ у него эти высшія цѣли?... Гдѣ силы Наполеона и гдѣ открытія Кеплера?... И кто стоитъ у него на дорогѣ, препятствуя ему сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества?... Все это страшно сбивало и путало мысленную его работу, а тутъ нужда стегаетъ его своимъ тяжелымъ бичомъ, какъ пугливую лошадь, упершуюся въ пяти шагахъ отъ барьера, и онъ дошелъ до послѣдней крайности, и идти больше некуда; а понимаете ли, что значитъ: когда человѣку некуда уже больше идти?... Какъ замкнутъ долженъ быть человѣкъ въ себѣ, какъ удаленъ отъ всякаго освѣжающаго дуновенія извнѣ и съ какимъ лихорадочнымъ жаромъ должна въ немъ работать мысль, отыскивая какую-нибудь щелочку, какой-нибудь выходъ!... И какъ болѣзненно раздражена должна быть фантазія, какіе сны должны грезиться, какія предчувствія мучить, какой легкій доступъ для суевѣрія съ его одуряющей темною силой!... Какое фатальное впечатлѣніе можетъ произвести малѣйшій намекъ извнѣ, самый ничтожный случай, дающій хотя и обманчивую, но все-таки какую-нибудь точку опоры для мысли, изнемогающей въ колебаніяхъ и отступающей на каждомъ шагу?... На все это мы находимъ отвѣтъ въ романѣ... *)

И вотъ, наконецъ, въ уединенной его мастерской, изъ этого мучительнаго процесса мысли вылупился, какъ цыпленокъ изъ яйца, первый зародышъ *дѣла*, первое, ясное пред-

*) Послѣ этого Ахшарумовъ приводитъ изъ романа разсказъ въ трактирѣ, имѣвшій роковое вліяніе на Раскольникова.

Примѣч. В. Зелинскаго.

ставленіе: куда надо идти и что именно сдѣлать. Голодная мысль набросилась на этотъ отвратительный кусокъ пищи съ неудержимою жадностью, и несмотря на то, что его при этомъ почти непрерывно тошнило, онъ далъ ей полную волю. Что за бѣда? Вѣдь это не дѣло еще, это только простой расчетъ и прикидка, не обязывающіе его ни къ чему. Въ его волѣ всегда будетъ сдѣлать или не сдѣлать; но на тотъ случай, если бы послѣ когда-нибудь, неизвѣстно когда, онъ нашелъ нужнымъ *сдѣлать*, то почему не обдумать сперва?... И вотъ онъ началъ обдумывать, не замѣчая того, что въ этомъ обдумываніи есть притягательная сила, противъ которой весьма мудрено устоять. Творческій процессъ мысли, посредствомъ котораго она зарождаетъ дѣло, начинается нечувствительно, безсознательно, но чѣмъ далѣе онъ подвигается, тѣмъ менѣе отъ нея зависитъ остановить его и истребить зародышъ въ зернѣ. Онъ крѣпнетъ, растетъ, перетягиваетъ въ себя всѣ силы матери и, наконецъ, отдѣливъ себя отъ нея, какъ нѣчто самостоятельное, становится властелиномъ ея, подчиняетъ ее себѣ совершенно. Нѣчто подобное произошло и съ Раскольниковымъ. Блудливое любопытство нужды и отсутствіе всякихъ другихъ занятій заставляли его сперва играть съ этимъ зародышемъ мысли, какъ съ страшной игрушкой, и онъ такъ привыкъ къ этой игрѣ, такъ былъ убѣжденъ, что это только игра и что изъ мысли не выйдетъ дѣла, что незамѣтно втянулся въ эту игру до того, что сталъ чувствовать, наконецъ, какъ роли перемѣнились, и то, чѣмъ онъ забавлялся, овладѣвъ имъ, стало его давить и тянуть къ себѣ, и онъ самъ сталъ игрушкою у него въ рукахъ. Тогда то онъ струсилъ и сталъ закрывать глаза, чтобы не видѣть пронзрожденія своей мысли, но оно было въ немъ, и онъ видѣлъ его, не могъ не видѣть его ежеминутно. Оно выросло, и всѣ члены его были развиты, готовы къ дѣйствію. Онъ самъ способствовалъ этому, самъ все придумалъ и подготовилъ давно. Топоръ выбранъ былъ какъ орудіе, и гдѣ его взять рѣшено. Петля подъ пальто, подъ лѣвою мышкою, чтобы привѣсить и скрыть топоръ, также была придумана; иголки и нитки, чтобы пришить ее, были давно уже приготовлены и лежали на столѣ, въ бумажкѣ. Въ маленькой щели, между его „турецкимъ" диваномъ и поломъ, приготовленъ и спрятанъ былъ *мнимый закладъ*. Дѣло дошло наконецъ до того

что и обманывать себя далѣе было уже невозможно; — съ ужасомъ онъ убѣдился, что это ужъ болѣе не простая фантазія, а положительный и серьезный умыселъ. Онъ былъ отвратителенъ для Раскольникова, но Раскольниковъ ужъ не могъ отъ него отказаться надолго, не могъ оттолкнуть его отъ себя, и только пятился отъ него, колебался въ мучительной нерѣшимости, трусилъ, дрожалъ...

Это была та минута, когда онъ почувствовалъ, что его начинаетъ *втягивать*; но онъ сдѣлалъ еще одно послѣднее и отчаянное усиліе... Почти въ горячкѣ, въ бреду, мы находимъ его просыпающимся на Петровскомъ, въ кустахъ, куда онъ забрелъ наканунѣ, не сознавая зачѣмъ и гдѣ онъ уснулъ отъ утомленія. Страшный сонъ еще мерещится ему наяву. Весь ужасъ того, что ему предстоитъ, разомъ обрисовался въ его глазахъ, и онъ вдругъ рѣшилъ, что этого быть не можетъ, что этому не бывать... Свобода отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, обаянія, наважденія, показалась ему возможна еще. Собравъ послѣднія силы, онъ торжественно отрекся отъ всего имъ задуманнаго и шелъ уже домой съ чувствомъ отраднаго успокоенія на душѣ, какъ вдругъ, совершенно нечаянно, онъ попалъ на Сѣнную, и это его удивило, потому что Сѣнная была не по дорогѣ ему; но ужасъ смѣнилъ его удивленіе, когда онъ вдругъ, внезапно и совершенно неожиданно, изъ разговора, подслушаннаго имъ мимоходомъ, узналъ, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ея сожительницы, дома не будетъ и что, стало быть, старуха, ровно въ семь часовъ вечера, *останется дома одна*. Этотъ ничтожный самъ въ себѣ случай сталъ для него приговоромъ судьбы... „Онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно“.

Такова сущность психологическаго анализа. Глубокая правда его сообщаетъ разсказу характеръ живой, не выдуманной дѣйствительности. Въ результатѣ мы видимъ передъ собою ярко очерченный образъ Раскольникова. Это слабый, болѣзненно-впечатлительный и задавленный обстоятельствами юноша, подъ вліяніемъ раздраженной мысли вообразившій себя Титаномъ и самъ, на каждомъ шагу, инстинктивно чувствующій свою

ошибку, но не имѣющій силы освободиться изъ-подъ обаятельнаго вліянія. Заносчивый и блудливый, но ограниченный умъ его, на первой попыткѣ выбиться изъ рутины, на первыхъ шагахъ къ самостоятельному развитію, увязъ въ кругу узкой, парадоксальной теоріи, и до конца не могъ выбиться изъ нея, до конца не могъ сбросить съ себя это иго. Взглянемъ на эту теорію, — она недалеко хватаетъ, и потому не задержитъ насъ долго.

Раскольниковъ дѣлитъ людей на людей и на не людей. Первые у него имѣютъ смыслъ сами въ себѣ, вторые только по отношенію къ первымъ, какъ матеріалъ, необходимый для ихъ производства. Это уже довольно странно, но еще гораздо страннѣе выводъ, который изъ этого дѣлается. Еслибъ онъ вывелъ, что первые должны жить для себя, а вторые для первыхъ, то это по меньшей мѣрѣ было бы хоть послѣдовательно; но онъ заключаетъ наоборотъ. Первые у него живутъ для послѣднихъ и признаются *людьми* потому только, что они имѣютъ способность и назначеніе быть ихъ благодѣтелями.

Затѣмъ, восходя въ сферу права, онъ дѣлитъ это понятіе, какъ провіантъ, между всѣми людьми, безъ различія, поголовно, и въ случаяхъ спорныхъ рѣшаетъ ариѳметически. Гдѣ больше число головъ, тамъ право является съ плюсомъ, какъ нѣчто дѣйствительное и положительное; а гдѣ меньше, тамъ съ минусомъ, какъ мнимое, отрицательное, и потому въ дѣйствительности не существующее. Въ суммѣ, весь этотъ вздоръ можно опредѣлить пятью словами. Это попытка ввести въ сферу нравственной истины систему ариѳметическихъ отношеній. Попытка несбыточная, потому что понятіе недѣлимо. Право у единой личности и право милліоновъ людей равно, потому что тутъ нѣтъ двухъ правъ, а есть только одно, и нельзя его отрицать, съ одной стороны, у одного человѣка, не отрицая тѣмъ самымъ, съ другой, у всѣхъ остальныхъ. Объ эту-то *недѣлимость понятія* и спотыкается прежде всего парадоксъ Раскольникова. Сто разъ задаетъ онъ себѣ все тотъ же вопросъ и сто разъ попадаетъ въ безвыходный кругъ противорѣчивыхъ его разрѣшеній, а одного, простого и совершенно съ собою согласнаго не усматриваетъ. Ему мерещутся Магометы, Наполеоны, путь этихъ людей, залитый кровью, и тѣ вѣнцы, которыми ихъ вѣнчали, это съ

одной стороны, а съ другой, онъ, бѣдный студентъ, Раскольниковъ, за которымъ не признаютъ даже права убить одну ничтожную, гадкую старушонку, несмотря на то, что онъ клятвенно обѣщаетъ загладить это мизерное отступленіе отъ закона рядомъ благодѣяній!... Гдѣ тутъ справедливость? Да, разумѣется, ее тутъ вовсе нѣтъ, и мы не можемъ понять, въ чемъ онъ тутъ видитъ противорѣчіе. Справедливости нѣтъ ни въ томъ, что дѣлали Магометы съ Наполеонами, ни въ томъ, что онъ сдѣлалъ; а если ихъ и вѣнчала толпа, то вѣдь онъ-же за то и презираетъ толпу. Чего-жъ ему больше, и если бы его толпа увѣнчала за его пакость, то развѣ это было бы причиною меньше его презирать? Или онъ думаетъ не шутя, что эти Титаны были увѣнчаны за тѣ благодѣянія, которыми они надѣлили людей? Но это ужъ было бы слишкомъ наивно, и хотя мы считаемъ Раскольникова ограниченнымъ человѣкомъ, но все же не до такой степени.

Вотъ связный отчетъ о томъ, какимъ путемъ Раскольниковъ пришелъ къ дѣлу. Къ сожалѣнію, составляя его, мы не могли воспользоваться всею массою матеріала, умѣстившагося въ шести частяхъ. Имѣя въ виду прежде всего связь и послѣдовательность, мы должны были выбрать то, что, по нашему убѣжденію, ближе подходитъ къ истинѣ и по возможности меньше противорѣчитъ цѣлому. Исполнивъ это безъ оговорки и безъ упрековъ, мы повторимъ еще разъ, что взглядъ автора на психологическую задачу, ему предстоявшую, въ коренныхъ основаніяхъ своихъ, вѣренъ, и затѣмъ сочтемъ себя уже въ полномъ правѣ, также безъ оговорокъ, высказать нѣкоторыя сомнѣнія, оставшіяся у насъ послѣ внимательной и подробной оцѣнки *всѣхъ данныхъ*.

Теоретическихъ противорѣчій мы не беремъ въ расчетъ. Мало ли что совмѣщается въ головѣ, чего никакъ нельзя совмѣстить на дѣлѣ. Мы видали примѣры и не такой путаницы. Поэтому мы легко поймемъ, что додуматься до подобной пакости Раскольниковъ могъ и оправдывать ее могъ. Но какимъ образомъ такой лирикъ, Гамлетъ, такой малодушный и слабонервный мечтатель могъ когда-нибудь найти въ себѣ столько рѣшимости, чтобы исполнить дѣйствительно имъ задуманное, это не такъ-то ясно. Онъ понималъ хорошо весь ужасъ его ожидающій, всю мерзость подобнаго дѣла; его возмущало, тошнило при одной мысли о томъ, какъ онъ возьметъ въ

руки топоръ и станетъ бить старуху по головѣ;—онъ самъ признается сто разъ, что зналъ заранѣе, до какой степени онъ не способенъ на этого рода вещи, и мы вѣримъ ему, намъ кажется и самимъ, что онъ былъ не способенъ. У людей съ такимъ пылкимъ воображеніемъ и съ такою болѣзненною впечатлительностію,—энергія страсти обыкновенно бываетъ слаба. Они тратятъ ее въ такомъ количествѣ и такъ постоянно на дѣло воображаемое, что ее не хватаетъ на дѣло дѣйствительное. А что Раскольниковъ былъ такой именно человѣкъ, то на это и въ первой части (изъ которой мы извлекли главнѣйшіе матеріалы для нашего отчета) мы находимъ намеки, весьма недвусмысленные;—что же сказать объ остальныхъ пяти?... Такой ужасъ, такіе трансы и такая глубокая, тонкая, поэтическая, мѣстами даже юмористическая оцѣнка всего происходящаго съ нимъ, откуда оно взялось у этого человѣка? Не убійство же со всею его неизреченною мерзостію сдѣлало изъ него такого поэта; а обратно предположить, что такой поэтъ могъ сдѣлать такую мерзость,—опять не приходится. Догматы узкой теоріи, горячая, отвлеченная голова, фанатизмъ, сосредоточивающій всѣ страсти въ пылающемъ фокусѣ, одной безотвязной идеи, все это отлично подходитъ къ убійству, и могло бы намъ объяснить его очень достаточно, и на все это есть намеки мѣстами, но это не все и далеко не такъ очевидно, а очевидное, что намъ встрѣчается сплошь и подъ рядъ и въ чемъ сомнѣваться почти нельзя, это то, что Раскольниковъ былъ поэтъ. Эта черта господствуетъ. Припомнимъ сонъ его наканунѣ убійства, припомнимъ тѣ фантастическіе и яркіе образы, въ которыхъ ему рисуется его положеніе, и его разговоръ въ трактирѣ съ Заметовымъ и тотъ тонкій юморъ, съ которымъ онъ самъ осмѣиваетъ свои ошибки, и вѣрный—отчетъ, который безъ зову, съ неудержимой навязчивостью является у него въ минуты страшнѣйшей опасности, отчетъ о томъ, что онъ чувствуетъ и что съ нимъ происходитъ, и, наконецъ, его тонкую, инстинктивную и безошибочную оцѣнку людей съ перваго взгляда, съ перваго слова,—сообразимъ это все и повторимъ еще разъ: да, Раскольниковъ былъ поэтъ, и поэтъ, меньше всего способный къ жестокому дѣлу,—поэтъ лирическій. Затѣмъ остается вопросъ: какимъ образомъ онъ могъ окунуться въ такую грязь и, несмотря на весь ужасъ дѣла, сознавае-

мый имъ яснѣе, чѣмъ кѣмъ бы то ни было, не только задумать его, не только рѣшиться,—но и исполнить дѣйствительно?... Не спятилъ ли онъ совсѣмъ съ ума за нѣсколько времени передъ дѣломъ и потомъ уже, по немногу пришелъ въ разсудокъ? Но, во-первыхъ, мы ни одной минуты до дѣла или во время дѣла не видимъ его въ безсознательномъ состояніи. Во-вторыхъ, если бы это дѣйствительно было такъ, то авторъ, конечно, не оставилъ бы насъ въ сомнѣніи. Нѣтъ, авторъ не думалъ этого, и въ этомъ ручаются намъ нѣсколько строкъ его эпилога, въ которыхъ онъ явно смѣется надъ модной теоріей *временнаго умопомѣшательства*. Къ тому же существенный смыслъ большей половины романа и одна изъ главнѣйшихъ причинъ его объема очевидно то, что авторъ имѣлъ въ виду довесть преступника до раскаянія. Все это было бы лишнее и не имѣло бы даже смысла, если бъ Раскольниковъ былъ мономанъ, а не преступникъ. Толкованіе этого рода, стало быть, мы не можемъ никакъ допустить. Затѣмъ остается только одно и, по нашему мнѣнію, единственное возможное. Мы должны допустить, что авторъ сдѣлалъ ошибку, не отдѣливъ достаточно ясной чертой себя отъ своего созданія. Онъ былъ, какъ говорили у насъ во время оно, недостаточно объективенъ. Его собственный, мѣстами высоко-лирическій, мѣстами неподражаемо-юмористическій взглядъ на Раскольникова и на его поступокъ, въ жару увлеченія нечувствительно ускользнулъ отъ него, перешелъ къ Раскольникову и съ свойственною этому послѣднему дерзостью усвоенъ былъ имъ. Очень полезно для того, чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, какъ говорится, на мѣстѣ его, войти въ его положеніе и пережить его собственнымъ сердцемъ; но сердце сердцу рознь. Того, что чувствовалъ бы такой поэтъ, какъ г-нъ Достоевскій, если бы онъ какимъ-нибудь колдовствомъ могъ очутиться дѣйствительно въ положеніи Раскольникова, того не могъ, даже и приблизительно, чувствовать настоящій Раскольниковъ, а если бы могъ, то онъ никогда не сдѣлалъ бы такой мерзости. Это была ошибка,—ошибка существенная, и разъ убѣдясь въ ней, не трудно себѣ объяснить, какія она имѣла послѣдствія. Анализъ, въ основѣ своей глубоко-вѣрный, получилъ ложный оттѣнокъ, и этотъ ложный оттѣнокъ явился вокругъ головы Раскольникова какою-то блѣдною ореолою падшаго

ангела, которая вовсе ему не къ лицу. Что это былъ за человѣкъ въ сущности, объ этомъ не трудно составить себѣ понятie, стоитъ только припомнить двѣ, три черты. Вспомнимъ, напримѣръ, какъ онъ унижался передъ полицiей или хоть то, что во все время слѣдствiя, ему не случилось ни разу даже и пожалѣть, что другихъ, невинныхъ людей держатъ изъ-за него въ острогѣ, что они лѣзли въ петлю отъ ужаса и что ихъ могутъ сослать на каторгу. Это ему казалось естественно, и онъ этому былъ даже радъ, боялся только, чтобъ истина, наконецъ, не открылась. И такой человѣкъ, едва успѣвъ вынырнуть изъ кровавой лужи, въ которую онъ окунулся, вдругъ поднимаетъ голову и смотритъ на все съ высоты неприступной. На сердцѣ у него всемiрное горе, на языкѣ язвительная сатира; это уже не мальчикъ, не доучившiйся въ школѣ и съ голодухи ослобленный, а со злости додумавшiйся до чертиковъ,—это Гамлетъ или Фаустъ, человѣкъ совершенно зрѣлый и эстетически развитой!...

Но оставимъ эстетику и вернемся къ разсказу.

За *преступленiемъ* слѣдуетъ *наказанie*.—„Слѣдуетъ“, впрочемъ, мало сказать, это слово далеко не передаетъ той неразрывной связи, какую авторъ провелъ между двумя сторонами своей задачи. Наказанie начинается раньше, чѣмъ дѣло совершено. Оно родилось вмѣстѣ съ нимъ, срослось съ нимъ въ зародышѣ, неразлучно идетъ съ нимъ рядомъ, съ первой идеи о немъ, съ перваго представленiя. Муки, переносимыя Раскольниковымъ, подъ конецъ, когда дѣло ужъ сдѣлано, до того превосходятъ слабую силу его, что мы удивляемся, какъ онъ ихъ вынесъ. Въ сравненiи съ этими муками всякая казнь блѣднѣетъ. Это сто разъ хуже казни, это пытка и злѣйшая изъ всѣхъ, — пытка нравственная. Нѣсколько разъ она до того доходитъ, что онъ не можетъ ужъ дольше терпѣть, и идетъ объявить на себя, чтобъ только чѣмъ-нибудь кончить, но дѣло случайно затягивается и вдругъ принимаетъ другой оборотъ. Въ одну изъ тѣхъ страшныхъ минутъ, когда онъ чувствуетъ полное омерзѣнie къ жизни, чувствуетъ себя отъ всѣхъ какъ ножницами отрѣзаннымъ и не можетъ себѣ представить, чтобы когда-нибудь между людьми и нимъ могло быть что нибудь общее,—бѣдствie одного недавно знакомаго ему семейства затрогиваетъ въ немъ живую струну, и онъ дѣ-

лаетъ доброе дѣло, маленькое, едва примѣтное доброе дѣльце, но оно упадаетъ, какъ капля небесной воды на запекшіяся отъ жажды губы того несчастнаго грѣшника, о которомъ разсказываетъ намъ притча... Чистый ребенокъ, дѣвочка — догоняетъ его на лѣстницѣ, лепечетъ ему сквозь слезы слова искренней благодарности, обнимаетъ его своими худенькими рученками и цѣлуетъ,—цѣлуетъ его—*убійцу!..* Все это вдругъ освѣжило его удивительнымъ образомъ. Это была первая минута отдыха, настоящаго отдыха, первый намекъ, что не все для него еще кончено, что въ жизни есть нѣчно еще, отъ чего и онъ не оторванъ, и это нѣчто такъ чисто, такъ хорошо!.. Вслѣдъ за этимъ на сцену является другой падшій ангелъ,—ангелъ—увы! съ желтымъ билетомъ!—Это кроткая Соня! Главная роль послѣ Раскольникова, по смыслу разсказа, должна принадлежать ей. Это несчастный, но великодушный ребенокъ, продающій себя для поддержки такой же несчастной семьи.

Семья Мармеладовыхъ принадлежитъ къ числу лучшихъ вещей, когда-нибудь созданныхъ авторомъ, и совершенно во вкусѣ его. Несмотря на ужасный смыслъ ихъ положенія и ихъ отношеній другъ къ другу, общее впечатлѣніе до того горячо и чисто, и дышитъ такимъ истинно человѣческимъ пониманіемъ человѣка и любовію къ человѣку, что мы почти отдыхаемъ на немъ отъ удушливой атмосферы ужаса и отчаянія, въ которой авторъ заставляетъ насъ вращаться все остальное время. Катерина Ивановна — вотъ настоящая героиня. Ничего меньше похожаго на идеалъ, но вмѣстѣ и ничего, въ чемъ истинная энергія женщины заявила бы себя правдивѣе, громче и явственнѣе. Это безвыходное, отчаянное несчастіе, это отсутствіе всякой опоры и всякаго утѣшенія, и въ виду всего этого такая борьба! Борьба ежедневная, ежечастная, безъ одной минуты отдыха, безъ малѣйшей надежды на помощь или побѣду, борьба безъ уступки и сдачи, борьба до послѣдняго вздоха и до послѣдняго замиранія сердца!.. Что долженъ былъ чувствовать такой человѣкъ, какъ Раскольниковъ, встрѣтясь лицомъ къ лицу съ такою женщиной? Не долженъ ли онъ былъ сгорѣть отъ стыда, не долженъ ли онъ былъ показаться самъ себѣ грязною тряпкою?..

Совершенно другого рода контрастъ съ Катериной Иванов-

ной мы находимъ въ мужѣ ея. Что это за лицо? и откуда взялъ авторъ такія краски, чтобы его написать? Послѣ всѣхъ блестящихъ попытокъ г. Островскаго въ этомъ родѣ, послѣ всего, что мы встрѣчали въ жизни и въ литературѣ, намъ кажется, что мы никогда еще не видали пьяницу, настоящаго, записного пьяницу и никогда не знали, до чего на этой дорогѣ можетъ дойти человѣкъ, не дѣлаясь между тѣмъ совершеннымъ скотомъ, и все еще сохраняя въ себѣ теплую душу и мысли истинно-человѣческія...

Что же сказать о Сонѣ?.. Лицо это глубоко-идеальное, и задача автора была невыразимо трудна; поэтому, можетъ быть, исполненіе ея и кажется намъ слабо. Задумана она хорошо, но ей тѣла не достаетъ; — несмотря на то, что она безпрестанно у насъ на глазахъ, мы какъ-то не видимъ ее. Все, что о ней говорятъ, полно смысла и рисуетъ ее гораздо лучше, чѣмъ то, что она сама отъ себя говоритъ. Отношенія этой особы къ Раскольникову довольно ясны. Это былъ единственный человѣкъ изъ всѣхъ окружающихъ, передъ которымъ у него хватило духу открыться и въ которомъ онъ могъ найти себѣ точку опоры. Она, съ одной стороны по крайней мѣрѣ, была для него или, по крайней мѣрѣ, казалась ровнею; — но онъ, конечно, не могъ такъ скоро понять, до какой неизмѣримой степени эта женщина выше его во всемъ остальномъ. Послѣ онъ понялъ, и тогда онъ упалъ передъ ней на колѣни, тогда онъ отдалъ ей душу свою навсегда.

Все это однако, въ романѣ, выходитъ вяло и блѣдно не столько въ сравненіи съ энергическимъ колоритомъ другихъ мѣстъ разсказа, сколько само по себѣ. Идеалъ не вошелъ въ плоть и кровь, а такъ и остался для насъ въ идеальномъ туманѣ. Короче сказать, все это вышло жидко, неосязательно...

Порфирій неподражаемъ!.. Неговоря ужъ о томъ, что онъ выполненъ въ совершенствѣ; это въ глаза бросается. Картина полна и выходитъ изъ рамки; ни одной черточки не найдешь прибавить или убавить, совершенно живой человѣкъ; а вглядитесь въ него попристальнѣе и увидите, что такихъ людей нѣтъ. Идеалъ, да какой еще! Идеалъ слѣдователя, глубочайшаго знатока по своей части, психолога, одареннаго самымъ тонкимъ психологическимъ чутьемъ, понимающаго людей насквозь и читающаго у нихъ въ душѣ,

какъ въ открытой книгѣ! Такого слѣдователя не встрѣтишь даже и между *приводчиками*, на которыхъ онъ, кстати сказать, до такой степени не похожъ, что мы удивляемся: какимъ образомъ автору пришло въ голову записать его въ этотъ цехъ? Порфирій играетъ съ Раскольниковымъ, какъ съ малымъ ребенкомъ, и видитъ его игру насквозь. Не имѣя въ рукахъ ни одной черточки, за которую онъ бы могъ ухватиться, онъ доводитъ противника до того, что тотъ кружится, какъ обожженная муха вокругъ огня и, наконецъ, попадаетъ въ него. Раскольниковъ самъ, безъ зову, лѣзетъ къ нему и неловкимъ стараніемъ скрыть игру открываетъ ему, одну за одной, всѣ карты. Это уже сдѣлало бы величайшую честь любому слѣдователю; но и этого мало еще. Замотавъ совершенно Раскольникова, побѣдитель великодушно отказывается отъ трофеевъ своей побѣды. Онъ не хочетъ его гонять и травить какъ зайца, да это ему и не нужно. Онъ говоритъ ему прямо и совершенно искренно: вы въ моихъ рукахъ, но я васъ жалѣю по-человѣчески и хочу вамъ помочь, насколько это возможно. Мой дружескій вамъ совѣтъ: поймите, что вамъ больше нечего дѣлать, и явитесь съ повинною; это будетъ вамъ безконечно-выгоднѣе...

Мы жалѣемъ, что авторъ Свидригайлова очертилъ второпяхъ и далъ ему роль совершенно побочную. Свидригайловъ выходитъ особнякомъ въ романѣ; въ немъ много загадочнаго, и даже его отношенія къ Дунѣ, сестрѣ Раскольникова, не довольно ясны. Намъ остается неясно чувство его къ этой женщинѣ: была ли это одна сухая, звѣрская страсть или тутъ замѣшалось что-нибудь чище этого? Послѣднее вѣроятнѣе, потому что снимаетъ всякій укоръ въ утрировкѣ и придаетъ человѣческій образъ даже такому скоту. Сцена его съ сестрою Раскольникова отзывается мелодрамой; но и въ этомъ не онъ виноватъ. Будь на мѣстѣ ея живое лицо, могло бы выйти удачнѣе. Болтливая рѣчь Свидригайлова, при встрѣчахъ его съ Раскольниковымъ, рисуетъ отлично эту фигуру, рисуетъ ее во всю богатырскую ея ширину, и мы отдыхаемъ на этой картинѣ цѣлой, не сломанной силы отъ спазмодическихъ трансовъ Раскольникова. Свидригайловъ тоже убійца, можетъ быть, даже и хуже того, и въ немъ нѣтъ ничего штучнаго, разнорѣчиваго; онъ весь, безъ всякихъ противорѣчій, подлецъ, а между тѣмъ, — и намъ какъ-то странно признаться, — онъ

симпатичнѣе г-на Раскольникова. Сила, въ какую бы сторону она ни была направлена, все-таки сила, и мы не можемъ ей отказать совершенно, не то чтобы въ сочувствіи, это много сказать, а въ нѣкоторомъ, невольномъ къ ней уваженіи... Шулеръ, мерзавецъ, человѣкъ, придавшій себя старухѣ и потомъ уходившій эту старуху, человѣкъ, готовый растлить все молодое и свѣжее!.. Какъ низокъ долженъ быть въ нашихъ глазахъ Раскольниковъ, чтобы стать если не ниже еще, то по крайней мѣрѣ противнѣе. Его эстетическая брюзгливость во время послѣдней бесѣды его съ Свидригайловымъ и тотъ невозмутимо-циническій, полунасмѣшливый тонъ, съ которымъ послѣдній ему говоритъ: ну да ужъ и вы-то вѣдь тоже!.. Все это полно оригинальнаго юмора... Черты суевѣрія очень понятны въ такомъ характерѣ, понятна и щедрость и то, что онъ является человѣкомъ, такъ, иногда, для развлеченія, потому, что *вѣдь не привилегію же онъ взялъ въ самомъ дѣлѣ дѣлать одно только злое*. Но что остается темно, такъ это его самоубійство. Мы не считаемъ несбыточною эту развязку; напротивъ, она весьма возможна: но между ею и всѣмъ остальнымъ человѣкомъ есть пробѣлъ, въ романѣ ничѣмъ незаполненный. Мы можемъ только догадываться: какимъ образомъ онъ дошелъ до того, но данныхъ, чтобы повѣрить наши догадки, авторъ намъ не далъ, а потому мы и не видимъ нужды ихъ сообщать.

Николай Ахшарумовъ.

* * *

*) Задача этого романа была чрезвычайно трудна; она могла оказаться по силамъ только такому высоко даровитому автору, какъ Достоевскій. Изобразить въ 1-й части романа весь процессъ преступленія, затѣмъ, въ слѣдующихъ частяхъ,—не что иное, какъ дальнѣйшее психологическое развитіе душевнаго состоянія преступника, сквозь которое проглядывало бы и душевное настроеніе, предшествовавшее преступленію и его подготовившее—тема въ высшей степени тяжелая по своему гнетущему однообразію и по ужасному впечатлѣнію на читателя. И что-же? читаешь—и духъ замираетъ, однако

*) О. Миллеръ. „Публичныя Лекціи“. Спб. 1874 г. и 2-е изд. Спб. 1878 г.

же, какъ всѣмъ хорошо извѣстно, не можешь оторваться отъ книги. Кто же является тутъ преступникомъ?—Личность вполнѣ развитая, студентъ. Какое преступленіе совершаетъ онъ? Ни болѣе ни менѣе, какъ убійство для грабежа. Нельзя не сознаться, какъ и замѣтила въ свое время критика, что это случай въ полномъ смыслѣ слова исключительный, нѣчто совершенно особенное, выходящее изъ ряда; между тѣмъ читаешь—и поневолѣ вѣришь, что все это возможно, до такой степени психологически вѣренъ весь процессъ развитія преступленія и его послѣдствій. Преступникъ—бѣднякъ. но бѣднякъ мыслящій, стало быть, такой, которому несравненно тяжелѣе всякаго другого бѣдняка. Онъ долженъ для того, чтобы только просуществовать въ свое учебное время, заниматься обученіемъ дѣтей за мѣдный грошъ. При томъ усиленномъ умственномъ трудѣ, какого требуетъ университетская наука, онъ лишенъ какихъ бы то ни было удобствъ. лишенъ и высшихъ наслажденій, въ родѣ театра—всего, что доставляетъ человѣку совершенно законный отдыхъ отъ умственнаго труда. Бѣдность забила его въ душную конуру гдѣ-то на чердакѣ. Правда, онъ самъ говоритъ: „другіе трудятся, другіе выносятъ все это, и я могъ бы еще трудиться; работаетъ же Разумихинъ“, указываетъ онъ на выносливаго своего товарища, „да я озлился и не захотѣлъ. Я, какъ паукъ, къ себѣ въ уголъ забился“.

Но авторъ умѣетъ показать намъ, что озлобленіе, доведшее Раскольникова до празднаго лежанія въ своемъ углу, до того, что онъ умышленно опустилъ руки и пересталъ работать,—это озлобленіе возникло не изъ однѣхъ только личныхъ причинъ. *Раскольниковъ—одна изъ тѣхъ натуръ, которыя любитъ Достоевскій,—одна изъ натуръ, исполненныхъ участія къ чужому горю.* Во время его процесса оказалось, что онъ, самъ бѣднякъ, въ продолженіе полугода поддерживалъ своего больного товарища; когда же тотъ умеръ, онъ взялъ на свои руки его больного отца, помѣстилъ въ больницу и похоронилъ на свои трудовыя деньги. При всей своей бѣдности, онъ хотѣлъ было жениться на дочери своей квартирной хозяйки, и что же его привлекало къ ней? „Право не знаю“, говоритъ онъ впослѣдствіи, уже послѣ ея смерти, „право не знаю“, за что я къ ней тогда привязался, кажется за то, что всегда больная... Будь она еще хромая, или горбатая, я

бы, кажется, еще больше ее полюбилъ...“ И при этой-то сильно развитой сострадательности, при этой чуткости сердца, онъ долженъ постоянно удерживать руку, которая такъ и протягивается у него на помощь кому бы то ни было; онъ долженъ удерживать ее потому, что у него самого ничего нѣтъ, и если онъ станетъ слишкомъ щедро дѣлиться своими трудовыми деньгами, то ему придется быть въ тягость своей матери, которая, сама бѣдная, готова ему отдать послѣднее. А между тѣмъ мало ли видитъ онъ вокругъ себя такихъ рукъ, которымъ было бы такъ легко протянуться къ переполненному сундуку, чтобы вынуть оттуда и не малую даже ленту на помощь ближнему, но руки эти преспокойно остаются себѣ неподвижными. А тутъ еще это ожесточающее впечатлѣніе, производимое старухой ростовщицей, къ которой Раскольникову, какъ и многимъ другимъ, приходится прибѣгать. Вспомните тотъ моментъ, когда онъ идетъ къ ней, чтобы заложить послѣднее, что у него осталось—часы своего покойнаго отца. Съ какимъ хладнокровіемъ она оцѣниваетъ ихъ въ полтора рубля и при этомъ еще усчитываетъ проценты. У него же эти полтора рубля исчезаютъ рѣшительно незамѣтно, потому что онъ, по обыкновенію, сейчасъ же дѣлится ими съ другими. За посѣщеніемъ ростовщицы, какъ извѣстно, слѣдуетъ страшная сцена въ распивочной, гдѣ является Мармеладовъ,—одна изъ тѣхъ сценъ, въ которыхъ кажущійся комизмъ рѣшительно поглощается самымъ ужаснымъ трагизмомъ. И какими глазами долженъ глядѣть Раскольниковъ на этого пьянаго Мармеладова, съ такой откровенностью высказывающаго все, что у него на душѣ, нисколько себя не прикрашивая и не извиняя? Ему, конечно, невольно должно приходить въ голову: „не то же ли довело этого человѣка до пьянства, что меня довело до лежанія въ моей конурѣ?“ Какъ не прійти къ подобному заключенію послѣ слѣдующаго обращенія Мармеладова къ содержателю распивочной: „Думаешь ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и пріобрѣлъ; а пожалѣетъ насъ Тотъ, Кто всѣхъ пожалѣлъ, и Кто всѣхъ и вся понималъ, Онъ единый, Онъ и Судія. Пріидетъ въ тотъ день и спроситъ: „А гдѣ дщерь, что мачихѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ малолѣтнимъ себя предала? Гдѣ дщерь, что отца своего земного,

пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла? И скажетъ: „Пріиди! Я уже простилъ тебя разъ... Простилъ тебя разъ—прощаются же и теперь грѣхи твои многи, за то, что возлюбила много...“

Всего болѣе, конечно, должна поразить Раскольникова участь этой Сони, которая „для мачихи злой, для дѣтей чужихъ себя предала“. И что же? Возвращаясь домой послѣ этой потрясающей сцены, онъ застаетъ письмо отъ матери, изъ котораго видитъ, что сестра его, проживая гувернанткою у г. Свидригайлова, чуть-чуть не попала въ положеніе Сони. Ей удалось спастись оттуда, но она рѣшается схватиться за выгодный бракъ съ г. Лужинымъ, „котораго она, конечно, не любитъ“, какъ сознается сама мать въ письмѣ, „но который, кажется, человѣкъ хорошій“.—Это *кажется* всего великолѣпнѣе“, восклицаетъ Раскольниковъ, „и эта же Дунечка за это же *кажется* замужъ идетъ!“—Понятно послѣ этого дѣлаемое Раскольниковымъ сопоставленіе: „тутъ мы и отъ Сонечкина жребія, пожалуй, что не откажемся? Сонечка, Сонечка Мармеладова, вѣчная Сонечка, пока міръ стоитъ! Жертву-то, жертву-то обѣ вы измѣрили ли вполнѣ? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкинъ жребій ничѣмъ не сквернѣе жребія съ г. Лужинымъ? *Любви тутъ не можетъ быть*, пишетъ мамаша“. Онъ человѣкъ достаточный; съ нимъ можно поправить свои обстоятельства, а также и обстоятельства брата... Но вѣдь то, что предпринимаетъ Дунечка, продолжаетъ внутренно разсуждать Раскольниковъ, „можетъ быть хуже, гаже, подлѣе того, что выбрала Сонечка, потому что у васъ, сестрица, все-таки на излишекъ комфорта расчетъ, а тамъ просто о голодной смерти дѣло идетъ...“ А что ежели этотъ расчетъ — главнымъ образомъ для него, для милаго братца Родіона Романовича? „Не бывать тому!“ рѣшаетъ онъ. „А что же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Всю судьбу свою, всю будущность свою имъ посвятишь, когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь? Слышали мы это, да вѣдь это *буки*, а теперь?...“

И послѣ этого письма, обнаружившаго передъ нимъ всю отталкивающую некрасоту его положенія — положенія человѣка, для котораго осмѣливаются приносить подобнаго рода жертвы—вдругъ эта нечаянная встрѣча на бульварѣ съ дѣвочкой, которую кто-то подпоилъ, и съ господиномъ, подсте-

регающимъ ее издали—конечно, не изъ состраданія. И какая ужасающая иронія сказывается въ разсужденіи Раскольникова о тѣхъ двадцати копейкахъ, которыя далъ онъ городовому, чтобы нанять извозчика и отвезти дѣвочку: „двадцать копеекъ мои унесъ... ну пусть и съ того тоже возьметъ, да и отпуститъ съ нимъ дѣвочку, тѣмъ и кончится... И чего я взялся тутъ помогать! Ну мнѣ ли помогать? Имѣю ли я право помогать? Да пусть ихъ переглотаютъ другъ друга живьемъ,—мнѣ-то чего! И какъ я смѣлъ отдать эти двадцать копеекъ? Развѣ они мои?“ Дѣло въ томъ, что помощь, оказанная имъ,—„капля въ морѣ“; да и не глупо ли такъ ребячески протестовать противъ неизбѣжнаго порядка вещей?! „Такой процентъ, говорятъ, долженъ уходить всякій годъ, куда-то... къ чорту, должно быть, чтобы остальныхъ освѣжать и имъ не мѣшать. Процентъ! Славныя, право, у нихъ словечки: они такія успокоительныя, научныя. Сказано — процентъ, стало быть, и тревожиться нечего.... А что, коль и Дунечка какъ-нибудь въ процентъ попадетъ! Не въ тотъ, такъ въ другой?...“

Вотъ послѣ этого-то и приходится ему случайно подслушать разговоръ между студентомъ и офицеромъ, одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые иногда происходятъ нечаянно и безъ всякихъ дальнѣйшихъ послѣдствій, — но тутъ, послѣ всего предшествующаго, чужой разговоръ получаетъ для Раскольникова роковое значеніе. Студентъ говоритъ о той же ростовщицѣ, которая такъ хорошо знакома Раскольникову, выставляетъ эту гадкую, тщедушную старушонку мучительницею своей здоровой, крѣпкой, но кроткой и забитой сестры. Но что же ожидаетъ и впередъ эту кроткую Лизавету за ея долговременное терпѣніе и тяжелую, трудовую жизнь? Старуха далека отъ мысли о томъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, отказать ей послѣ себя хотя какую нибудь частичку своихъ стяжаній. Все должно послужить для нея же самой по ту сторону гроба. Не даромъ же она обходилась всю жизнь безъ удобствъ, и только *копила:* посредствомъ накопленнаго она разсчитываетъ, въ религіозномъ своемъ эгоизмѣ, припасти себѣ тепленькое мѣстечко *тамъ,* для чего и отказываетъ все свое состояніе въ монастырь. А что, если бы иначе употребить это состояніе? — вотъ вопросъ, невольно представляющійся студенту, разговаривающему съ офицеромъ. „Молодыя, свѣжія силы, пропадающія даромъ, безъ поддержки, и это

тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрыхъ дѣлъ и начинаній, которыя можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь! Сотни, тысячи, можетъ быть, существованій, направленныхъ на дорогу; десятки семействъ, спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложенія, отъ гибели, отъ разврата.... и все это на ея деньги! Убей ее и возьми ея деньги съ тѣмъ, чтобы съ ихъ помощью посвятить потомъ себя на служеніе всему человѣчеству и общему дѣлу: какъ ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрыхъ дѣлъ? За одну жизнь — тысячи жизней, спасенныхъ отъ гніенія и разложенія; одна смерть — и сто жизней взамѣнъ, — да, вѣдь, тутъ ариѳметика!" Правда, на вопросъ, сдѣланный студенту офицеромъ: „убилъ ли бы онъ самъ старуху?" студентъ отвѣчаетъ: „Разумѣется нѣтъ... не во мнѣ тутъ дѣло". Но Раскольникову, послѣ всего, что онъ перечувствовалъ и передумалъ, невольно представляется мысль: не онъ ли на это призванъ? Ему, конечно, случалось и прежде слышать подобные разговоры и никогда они не пропадали для него даромъ. Однажды онъ написалъ даже цѣлую статью о томъ, что многое только принято называть преступленіемъ, и что эта кличка удерживаетъ робкихъ людей отъ того, что на самомъ дѣлѣ было бы вовсе не преступленіемъ. Въ статьѣ этой развивалось софистическое ученіе о томъ, что есть люди обыкновенные, и есть люди необыкновенные. Необыкновенные люди—это „власть имущіе"; они имѣютъ право переступать ту черту, которая удерживаетъ другихъ. Необыкновенные люди одарены смѣлостью, которая и увѣнчиваетъ ихъ поступки успѣхомъ, обращающимъ эти поступки въ великія дѣла, въ подвиги; тогда какъ при неуспѣхѣ тотъ же самый поступокъ представляется преступленіемъ. Для того, чтобы провести какую-нибудь новую мысль, необыкновенные люди будто бы и могутъ и должны всячески устранять всѣ преграды.

Вотъ ученіе, развитое Раскольниковымъ въ его статьѣ: вся сила только въ томъ, чтобы *умѣть „дерзнуть"*. Статья написана за нѣсколько мѣсяцевъ до преступленія, подготовлявшагося съ величайшею постепенностью. Статья, надо думать, обдумывалась въ тѣ дни, когда Раскольниковъ, повидимому, праздно лежалъ въ своей конурѣ, на самомъ же дѣлѣ внутренно работалъ надъ тѣмъ, что давалъ ему тяжелый жиз-

ненный опытъ. Долго статья эта могла имѣть для него только теоретическое значеніе. Для практическаго примѣненія она пригодилась ему лишь тогда, когда накопились новыя, но все въ томъ же родѣ, жизненныя впечатлѣнія—впечатлѣнія отъ различныхъ роковыхъ встрѣчъ и отъ несчастнаго письма матери. Отъ этихъ встрѣчъ и этого письма созрѣвшая въ немъ мысль переходитъ въ жажду дѣла, которая и обращаетъ его, наконецъ, въ своего раба. Но авторъ, поставивъ своего героя на такую дорогу, заставивъ его этимъ путемъ прійти къ преступленію, сильно рисковалъ выставить его однимъ изъ тѣхъ мелодраматическихъ героевъ, какихъ мы можемъ найти не мало, особливо во французской литературѣ. Опасность, однако, вполнѣ избѣгнута нашимъ авторомъ. Раскольниковъ вовсе не становится героемъ; Достоевскій не поднимаетъ его на ходули—его преступленіе такъ и остается *преступленіемъ*. Раскольниковъ совершаетъ его какъ невольникъ всецѣло имъ овладѣвшей идеи, какъ своего рода мономанъ. Оттого-то и забываетъ онъ о необходимыхъ предосторожностяхъ,—прежде всего о томъ, что надо запереть дверь; въ эту-то дверь и входитъ несчастная Лизавета, которой приходится стать его второй, уже совершенно нечаянной жертвой. Съ Раскольниковымъ такимъ образомъ происходитъ то, что обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ: за однимъ предумышленнымъ убійствомъ непосредственно слѣдуетъ другое, случайное: чувство самосохраненія, вдругъ пробудившееся въ Раскольниковѣ, заставляетъ его поразить роковымъ топоромъ и эту несчастную, которую самъ онъ такъ всегда жалѣлъ. Уже этого одного довольно, чтобы не дать ему возможности вообразить себя героемъ.

„О, какъ я ненавижу теперь эту старушонку!“ говоритъ онъ впослѣдствіи, — „кажется бы, другой разъ убилъ, если бы очнулась!“ Но удивить можетъ то, чему удивляется и онъ самъ — *почему онъ при этомъ почти не думаетъ о Лизаветѣ, точно и не убивалъ ее.* Но это психологическая тонкость, объясняемая тѣмъ, что въ сознаніи Раскольникова особенно живо то, что входило въ первоначальный, долговременно выношенный замыселъ преступленія, а убійство Лизаветы—случайность, въ него не входившая. Но какъ тяготитъ его эта случайность въ тѣ минуты, когда она возникаетъ въ его сознаніи, видно изъ слѣдующихъ словъ: „...Бѣдная Ли-

завета! Зачѣмъ она тутъ подвернулась!... Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткія, съ глазами кроткими, милыя!"...

Совершивъ уже вовсе неразсчитанное второе убійство, невольно вытекшее изъ перваго, онъ не рѣшается воспользоваться деньгами. Сперва, въ попыхахъ, онъ себѣ набиваетъ карманы, но, даже не глядя, много ли имъ взято, спѣшитъ поскорѣе избавиться отъ награбленнаго, поскорѣе зарыть это все гдѣ-то тамъ подъ камнемъ. *Авторъ, склонный къ мелодраматизму, совершенно иначе распорядился бы этими деньгами: онъ заставилъ бы своего героя тотчасъ же употребить ихъ съ широкими цѣлями и этимъ употребленіемъ возвысить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ.* А вѣдь поводъ къ тому представился очень скоро. За преступленіемъ слѣдуетъ несчастный случай съ Мармеладовымъ: на него наѣзжаетъ карета и расшибаетъ его до смерти. Раскольниковъ, какъ извѣстно, отвозитъ его домой, гдѣ онъ и умираетъ, оставляя окончательно нищими жену и дѣтей. Вотъ тутъ-то, казалось бы, и воспользоваться старухиными деньгами, поспѣшить ихъ достать изъ-подъ камня и отдать Мармеладовой, чтобы затѣмъ имѣть право сказать: „я, при всемъ моемъ преступленіи, — благодѣтель человѣческаго рода". Ничего подобнаго нѣтъ у нашего автора, просто и правдиво наблюдающаго человѣческую природу. Раскольниковъ даетъ вдовѣ тѣ трудовыя деньги своей матери, которыя она ему только что выслала. Но авторъ, съ другой стороны, показываетъ, нисколько все-таки не впадая въ ложный идеализмъ, что этотъ поступокъ на время доставляетъ отраду Раскольникову. „...Онъ сходилъ тихо, не торопясь (съ лѣстницы дома Мармеладовыхъ), весь въ лихорадкѣ, и не сознавая того, полный одного, новаго, необъятнаго ощущенія вдругъ прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущеніе могло походить на ощущеніе приговореннаго къ смертной казни, которому вдругъ и неожиданно объявляютъ прощеніе"... Изъ-подъ вліянія страшныхъ ощущеній, соединенныхъ съ убійствомъ, онъ вдругъ попадаетъ въ положеніе иного рода: онъ только-что утеръ другимъ людямъ слезы, онъ, стало-быть, — нужный членъ въ человѣческой семьѣ. Вотъ онъ уходитъ, унося съ собою это живительное сознаніе, и его догоняетъ малютка Поленька, посланная старшей сестрой, чтобы узнать имя ихъ благодѣтеля. „Онъ положилъ ей обѣ руки на плечи и съ какимъ-то

счастьемъ глядѣлъ на нее“... „...Тоненькія, какъ спички, руки ея обхватили его крѣпко, крѣпко, голова склонилась къ его плечу, и дѣвочка тихо заплакала“, прижимаясь лицомъ къ нему все крѣпче и крѣпче... „Папочку жалко!“ проговорила она, съ такой чистой любовью повѣряя ему свое горе, вовсе въ немъ не подозрѣвая преступника, да и не зная даже, въ дѣтской своей чистотѣ, что на свѣтѣ есть преступленія.

Но душевное счастье, конечно, достается Раскольникову не надолго,—ощущеніе совершеннаго передъ тѣмъ преступленія опять полновластно занимаетъ мѣсто въ его душѣ. Вспомните картину поминокъ по Мармеладовѣ, картину, въ которой его вдова разыгрываетъ такую странную роль, кажущуюся сначала чуть не карикатурною, но вполнѣ объясняющуюся помѣшательствомъ этой несчастной женщины. Вспомните то униженіе, которое приходится тутъ вынести Сонечкѣ, заподозрѣнной въ кражѣ г. Лужинымъ, подготовившимъ съ особеннымъ злостнымъ стараніемъ эту ужасную сцену;—и что же?—у Раскольникова не хватаетъ тутъ духу выступить защитникомъ Сонечки. Видя, что ея и безъ того уже горькая чаша окончательно переполнилась, онъ только удивляется ея терпѣнію и выносливости, и думаетъ найти въ ней опору самому себѣ. Вмѣсто того, чтобы громко принять ея сторону, онъ только думаетъ про себя: пойду потомъ къ ней, разскажу ей все, ей одной исповѣдаю все, что я совершилъ; она одна это вынесетъ, она одна поддержитъ меня. Прійдя къ ней и ставъ передъ ней на колѣни, онъ цѣлуетъ ея ноги и говоритъ: „*я не тебѣ поклонился, я всему страданію человѣческому поклонился*“. Черта эта, отдѣльно взятая, можетъ показаться нѣсколько изысканною, но въ связи со всѣмъ остальнымъ она является совершенно естественною: поклонъ этотъ усладителенъ для Раскольникова, потому что это поклонъ существу, также заклейменному печатью отверженія, потому что это поклонъ тому, изъ чего вытекаетъ множество преступленій и чѣмъ эти преступленія выкупаются. Въ этомъ поклонѣ Раскольникова нѣтъ ни малѣйшей рисовки, расчета на эффектъ; это окончательно подтверждается тѣмъ, что слѣдуетъ далѣе. Вспомните всю эту картину: убійца и грѣшница въ пустой, холодной комнатѣ, при догорающемъ огаркѣ — какая опять благодарная почва

для мелодрамы! Какъ много они могли бы сказать громкихъ фразъ, въ родѣ, напримѣръ, такихъ: „да, мы преступники, но мы выше, мы лучше всѣхъ остальныхъ!“ Но у Достоевскаго ничего этого и въ поминѣ нѣтъ: онъ заставляетъ Сонечку прочесть Раскольникову главу о воскрешеніи Лазаря, по книгѣ, которую не задолго до своей смерти принесла ей бѣдная Лизавета, убитая этимъ самымъ Раскольниковымъ, безотвѣтно слушающимъ теперь чтеніе изъ этой книги, горячее чтеніе глубоко-проникнутой вѣрою грѣшницы.

Но тутъ онъ еще не открывается Сонѣ; онъ къ ней приходитъ вторично и тогда лишь высказываетъ ей все, а она отвѣчаетъ простыми, вырвавшимися изъ сердца словами: „Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ свѣтѣ!“ т. е. она сердцемъ постигаетъ тотъ взглядъ на преступника, который, какъ видѣли мы, проведенъ Достоевскимъ черезъ „Записки изъ Мертваго Дома“. Раскольниковъ, открываясь Сонѣ, нисколько не старается прикрасить преступленіе благовидными побужденіями; напротивъ, онъ производитъ у нея на глазахъ самый страшный разлагающій анализъ самого себя, и все сколько-нибудь благовидное, способное благопріятно подѣйствовать на нее, положительно въ себѣ отрицаетъ. „Не для того, говоритъ онъ, чтобы матери помочь, я убилъ — вздоръ!.. Не для того я убилъ, чтобы, получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ человѣчества... другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда и поскорѣй узнать, смогу ли я *переступить,* или не могу? Тварь ли я дрожащая или право имѣю?“... Вотъ что онъ говоритъ ей, этой рѣшительно чуждой разсудочныхъ ухищреній Сонѣ; если бы онъ хотѣлъ рисоваться, то долженъ бы былъ говорить совершенно другое, потому что именно этого „право имѣю“ она и не въ состояніи понять. „...Право кровь проливать!“ говоритъ она ему съ ужасомъ. Если бы онъ хотѣлъ оправдать себя передъ ней, онъ бы ей сталъ говорить о тѣхъ симпатическихъ чувствахъ, которыхъ въ немъ дѣйствительно много, но которыхъ онъ какъ-будто уже и не сознаетъ въ себѣ. Онъ знаетъ, что ее привело въ ея унизительное положеніе, что дало ей силу „позоръ принять“ и „съ жизнію не покончить“; онъ знаетъ, что силу эту дала ей любовь, самоотверженная любовь къ бѣднымъ чужимъ дѣтямъ, къ полусумасшедшей мачихѣ. Соня требуетъ отъ

него, чтобы онъ пошелъ и объявилъ о томъ, что онъ сдѣлалъ: съ ея точки зрѣнія иначе онъ поступить не можетъ.— „Пойди, поцѣлуй землю, которую ты обагрилъ кровью, и скажи—„я убилъ“, говоритъ она ему. „Зачѣмъ пойду, что имъ скажу?“ отвѣчаетъ онъ, такъ смиренно поклонившійся ей и въ лицѣ ея человѣческому страданію, но не способный, какъ она, совершенно смириться. Дѣло въ томъ, что къ нему, сравнительно съ нею, можно бы было примѣнить извѣстный эпитетъ Ап. Григорьева—*хищный*. Онъ хищенъ и гордъ своею хищностью въ томъ же смыслѣ, въ какомъ горды ею герои „Мертваго Дома“. „Что имъ скажу? Они сами милліонами людей изводятъ, да еще за добродѣтель почитаютъ“, говоритъ Раскольниковъ. Кончается однако же тѣмъ, что онъ идетъ и объявляетъ о своемъ преступленіи, какъ дѣлаетъ это многое множество преступниковъ, остающихся тѣмъ не менѣе и гордыми и озлобленными въ глубинѣ души. Та же гордость и озлобленіе сохраняются и въ Раскольниковѣ и во время суда и долгое время на каторгѣ. „Его гордость сильно была уязвлена, онъ строго судилъ себя, и ожесточенная совѣсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ его прошедшемъ, кромѣ развѣ простого промаха“.

Только мало-по-малу это озлобленіе уступаетъ вліянію несчастной многолюбящей Сони, которая слѣдуетъ за нимъ и на каторгу, гдѣ она умягчительно дѣйствуетъ и на сердца другихъ, вовсе ей незнакомыхъ, каторжниковъ. „Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша нѣжная, болѣзная!“ обращались къ ней эти грубые люди, столь чуткіе, какъ мы знаемъ по „Мертвому Дому“, къ малѣйшему проявленію человѣчности въ обращеніи съ ними. Ея-то беззавѣтная любовь къ людямъ пробуждаетъ, наконецъ, и въ Раскольниковѣ угасшую вѣру въ человѣка; въ немъ происходитъ то, что онъ самъ какъ бы предвидѣлъ заранѣе, заставивъ ее прочесть себѣ о воскрешеніи Лазаря. То нравственное чудо, которое совершается въ церкви „Мертваго Дома“ высшею христіанскою любовью, призывающею и преступниковъ, наравнѣ съ другими, къ одной уравнивающей всѣхъ чашѣ, — то же чудо совершается тутъ надъ Раскольниковымъ неотразимымъ вліяніемъ его спутницы, несмотря ни на что не озлобившейся и не переставшей „много любить“.

Но въ „Преступленіи и Наказаніи“ есть и другіе характеры, служащіе болѣе или менѣе для того, чтобы, при сопоставленіи съ ними, ярче выдавалась впередъ личность Раскольникова. Вотъ, во-первыхъ, въ высшей степени приличный, трудомъ себѣ проложившій дорогу, строго нравственный, какъ онъ думаетъ самъ и какъ думаютъ о немъ люди, Петръ Петровичъ Лужинъ; — но авторъ живо даетъ почувствовать, что этою благовидностью поступковъ, съ которою, разумѣется, онъ никогда не попадетъ подъ судъ, прикрывается самый отвратительный, всепоглощающій эгоизмъ. Совершенно другое лицо Свидригайловъ — широкая необузданная натура, человѣкъ не разъ называющій себя, въ глаза Раскольникову, „одного съ нимъ поля ягодой“, и, конечно, не безъ извѣстнаго основанія. Раскольниковъ вліяніемъ различныхъ жизненныхъ впечатлѣній доведенъ до теоріи, по которой вся сила въ томъ, чтобы „дерзнуть“; — Свидригайловъ безъ всякихъ теорій давно и постоянно дерзалъ“, практически предоставивъ себѣ свободу, не знающую закона самоограниченія. Но въ натурѣ этого человѣка существуютъ и симпатическія поползновенія: передъ смертью онъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, обезпечиваетъ семейство Мармеладовыхъ. Къ Дунечкѣ, какъ мы убѣждаемся, онъ питалъ постоянную, глубокую страсть, которая проникается, наконецъ, и уваженіемъ къ ней, заставляющимъ его уважать свободу ея воли, а потомъ, съ отчаянія въ томъ, что любилъ безотвѣтно, покончить съ самимъ собою. Свидригайловъ служитъ въ романѣ и къ тому, чтобы окончательно не допустить поднять на пьедесталъ Раскольникова, и къ тому, чтобы не дать подняться рукѣ съ побивающимъ камнемъ даже и на самыхъ, повидимому, развращенныхъ людей.

Самымъ выдающимся лицомъ послѣ Раскольникова является постоянно противопоставляемый ему въ романѣ товарищъ его Разумихинъ; но въ этой личности, т. е. въ ея художественномъ воспроизведеніи, могутъ легко быть различены двѣ стороны. Разумихинъ—это добрякъ, прямая душа, притомъ дѣловикъ, постоянно трудящаяся, выносливая и неувлекающаяся натура; это одинъ изъ тѣхъ людей, которые не пропадутъ никогда и нигдѣ. Всѣ эти черты такъ стройно соединены въ немъ, что изъ нихъ слагается вполнѣ живой человѣкъ. Но, съ другой стороны, ему приписаны авторомъ многіе взгляды,

которыхъ назначеніе, очевидно, служить только отпоромъ для взглядовъ Раскольникова, а равно и выраженіемъ взглядовъ самого автора. Разумихинъ много говоритъ о нашей „недѣловитости“, о томъ, что мы чуть „не двѣсти лѣтъ какъ отъ всякаго дѣла отучены“, т. е. надо думать, со временъ петровской реформы отучены отъ всякой самостоятельной дѣятельности. Онъ не разъ возвращается къ этой точкѣ зрѣнія, въ сущности вовсе не вытекающей ни изъ его характера, ни изъ его положенія. „...Всѣ мы, до единаго, болтунишки и фанфаронишки!“ говоритъ онъ Раскольникову; „заведется у васъ страданьице — вы съ нимъ, какъ курица съ яйцомъ, носитесь! Даже и тутъ воруете чужихъ авторовъ,—ни признака жизни въ васъ самостоятельной!“ Другой разъ называетъ онъ Раскольникова „переводомъ съ иностраннаго“, а обо всѣхъ насъ вообще говоритъ, что мы „и соврать-то своимъ умомъ не умѣемъ“. „Всѣ-то мы, всѣ, безъ исключенія, по части науки, развитія, мышленія, идеаловъ, желаній, либерализма, всего... еще въ первомъ предуготовительномъ классѣ гимназіи сидимъ! Понравилось чужимъ умомъ пробавляться,—въѣлись!“.. Все это, взятое само по себѣ, далеко не лишено правды, но въ романѣ это своего рода славянофильство слабо вяжется съ Разумихинымъ, какъ съ живымъ человѣкомъ, представляется чѣмъ-то со стороны въ него вложеннымъ, съ цѣлью—указать на то, что Раскольниковъ дѣйствовалъ подъ вліяніемъ „чужихъ книжекъ“. Но вѣдь это, мнѣ кажется, противорѣчитъ тому глубокому психологическому анализу, который, составляя всю силу романа, такъ ясно показываетъ, до какой степени преступленіе Раскольникова подготовлялось жизненными впечатлѣніями. *Софистическія страницы, вычитанныя изъ книжекъ, имѣли тутъ значеніе только потому, что психическое состояніе Раскольникова представляло для нихъ вполнѣ благодарную почву*. Да и откуда берутся тѣ или другія ученія? Конечно, они возникаютъ изъ жизни. Возникновеніе ихъ на Западѣ доказываетъ, что имъ есть изъ чего возникать тамъ; если же, переносимыя къ намъ, они не проносятся мимо, а прививаются крѣпко,—то имъ, значитъ, есть къ чему у насъ прививаться...

Схвативъ на лету нѣсколько періодовъ чужого развитія, мы, наконецъ, чувствуя себя уже пробѣжавшими большую часть дороги, стали менѣе торопиться, болѣе вдумываться

въ заимствуемое, притомъ проникать уже въ самую сущность, а не только скользить по поверхности. Уже байронизмъ оказался у насъ не только формальнымъ явленіемъ; онъ у насъ не только скользнулъ, а до извѣстной степени привился, хотя и на время и сильно видоизмѣнившись, привился потому, что многія мѣстныя наши обстоятельства содѣйствовали подобной прививкѣ. То же было потомъ, и будетъ, можетъ быть, еще долго и со многими другими заимствованными, новѣйшими „*измами*“. И теперь объяснять себѣ дѣло исключительно тѣмъ, что все это берется откуда-то съ вѣтру, значило бы напускать себѣ туману въ глаза и подавать поводъ къ неосновательнымъ, а практически даже и не совсѣмъ полезнымъ выводамъ.

Въ эпилогѣ романа герой видитъ сонъ, рѣшительно отзывающійся *придуманностію:* „появились какія-то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волею. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились сейчасъ-же бѣсноватыми или сумасшедшими“. Подъ этими трихинами, очевидно, разумѣются опять-таки различныя идеи, вычитанныя изъ чужихъ книжекъ; но если сравнивать эти идеи съ заразой, то развѣ съ такою, которая пристаетъ только къ людямъ, внутренно къ тому предрасположеннымъ *).

О. Миллеръ.

* * *

---

*) Сонъ Раскольникова представляется „холодною аллегоріею“ и даровитому автору критики романа, помѣщенной вскорѣ послѣ его появленія въ „Отечественныхъ запискахъ“. Это однако же не помѣшало критику считать Раскольникова, въ сущности, жертвою подобныхъ *трихинъ*: называетъ-же онъ его „ожесточеннымъ *въ своей отвлеченности*:“ видитъ же онъ въ немъ „болѣе глубокое *уклоненіе отъ жизни*, чѣмъ въ личностяхъ другихъ писателей, „касавшихся *нигилизма*“. Я же, во-первыхъ, вижу коренное отличіе Раскольникова отъ „нигилистовъ“ въ томъ, что онъ вовсе не подавляетъ въ себѣ *симпатическихъ наклонностей*, какъ дѣлаютъ тѣ, видя въ этомъ *романтизмъ;* во-вторыхъ, я не произвожу и такъ называемаго *нигилизма* отъ *трихинъ*, а считаю его явленіемъ, вытекшимъ изъ *нашей жизни*, и. въ этомъ смыслѣ вовсе *не отвлеченнымъ*. Думаю, что если бы многоуважаемый мною (несмотря на разногласіе съ нимъ во многомъ) Н. Н. Страховъ (авторъ упомянутой критики) не *началъ* съ выраженія своего взгляда, отъ котораго только потомъ уже перешелъ онъ къ подкрѣпительнымъ выпискамъ изъ романа, а поступилъ-бы наоборотъ, то у него было-бы болѣе обращено вниманія на тѣ *жизненныя впечатлѣнія*, которыя главнымъ образомъ подготовили преступленіе Раскольникова, и при которыхъ оказались только сподручными *чужія теоріи*.

*) Ѳ. М. Достоевскій, подобно другому знаменитому своему современнику—И. С. Тургеневу, всецѣло живетъ окружающею дѣйствительностью, наблюдаетъ ее, обобщаетъ и выражаетъ въ художественныхъ образахъ. Оба писателя жадно прислушиваются къ доносящимся до нихъ звукамъ и среди разнохарактерныхъ голосовъ и мелодій умѣютъ уловить господствующій мотивъ и отчетливо передать его своимъ слушателямъ; среди пестрой массы толпящихся явленій, оба умѣютъ подмѣтить знаменія времени и приковать къ нимъ вниманіе общества; за неустаннымъ движеніемъ и измѣненіемъ жизни оба умѣютъ отличить главное теченіе во множествѣ побочныхъ и второстепенныхъ, и выслѣдить его, насколько позволяетъ зрѣніе. Для самосознанія общественнаго, для уясненія того, что мы, откуда и куда стремимся, оба писателя проливаютъ много свѣта на самые таинственные уголки дѣйствительности,—на тѣ незримые процессы жизни, которыми опредѣляется ея дальнѣйшее направленіе.

Но, несмотря на все сходство задачъ, между тѣмъ и другимъ писателемъ существуетъ великая разница, которая невольно сознается читателемъ, такъ сказать, бьетъ въ глаза, хотя, быть можетъ, и представляетъ нѣкоторыя трудности для опредѣленія. По немногимъ, часто неяснымъ, едва уловимымъ признакамъ Тургеневъ угадываетъ поворотъ въ общественной жизни,—рѣзко и сильно намѣчаетъ дальнѣйшее ея движеніе. На переходной грани отъ стараго къ новому онъ ставитъ очерченную фигуру будущаго, по типу которой станетъ слагаться подрастающее поколѣніе. Его фигура — ясный лучъ свѣта, брошенный въ грядущую темную даль. Таковъ Базаровъ—этотъ законченный образъ, созданный художникомъ въ славное время великихъ реформъ Царя-человѣка.—Достоевскій не отмѣчаетъ поворотовъ жизни, не ставитъ граней между старымъ и новымъ: но отдавшись вполнѣ новому теченію, онъ смѣло уносится въ даль, изслѣдуетъ ея глуби и мели, и предсказываетъ, что ожидаетъ насъ въ будущемъ. Онъ далеко заходитъ впередъ, „упреждаетъ жизнь“, слѣдя въ своей творческой мысли за вѣроятною судьбою слагающагося типа; онъ водитъ новаго человѣка въ его будущемъ и предугадываетъ, что съ нимъ станется. Таковъ продуманный, прочувствованный,

*) Н. Звѣревъ. „Русь“ 1884 г., № 1. (Читано 31 января 1882 г. въ засѣданіи Общества любителей Россійской словесности).

выстраданный образъ Раскольникова. Если Базаровъ знаменуетъ собою поворотъ въ общественномъ движеніи, если онъ весь въ будущемъ и будущее въ немъ, — скорбная фигура Раскольникова стоитъ на противоположномъ концѣ этого движенія, тамъ, гдѣ оно, исчерпавъ всѣ свои логическія послѣдствія, готовится сдѣлать поворотъ въ другую сторону. Эта фигура кротко-страдальчески смотритъ издали на этотъ путь, по которому предстоитъ пройти Базарову. Два центральные образа литературы 60-хъ годовъ—Базаровъ и Раскольниковъ—отмѣчаютъ собою начало и завершеніе той же самой стадіи въ развитіи одного изъ самыхъ крупныхъ движеній того времени. Если въ первомъ Тургеневъ указываетъ намъ, куда мы пойдемъ,—Достоевскій, во второмъ, предсказываетъ, чѣмъ мы кончимъ; если одинъ опредѣляетъ новое возникающее направленіе,—другой слѣдитъ за его грядущею судьбою. Одинъ освѣщаетъ путь, другой—предостерегаетъ отъ возможныхъ ошибокъ и заблужденій на этомъ пути, точно обозначая подводные камни теченія. Одинъ выводитъ своихъ героевъ въ жизнь, такъ-сказать, благословляя ихъ на проложеніе новыхъ путей; другой ведетъ ихъ по этимъ путямъ и горько оплакиваетъ ихъ вольныя и невольныя ошибки. Оттого-то герои Тургенева такъ добры и свѣжи, и порою такъ симпатичны, тогда какъ герои Достоевскаго—все люди помятые жизнію, испытавшіе разочарованіе, познавшіе тернія новыхъ путей. Оттого-то изъ произведеній перваго писателя читатель выноситъ свѣтлое и отрадное впечатлѣніе, тогда какъ второй всегда оставляетъ въ немъ осадокъ горечи. Оттого-то, наконецъ, типы Тургенева, воплощающіе въ себѣ слагающуюся дѣйствительность, ближе и понятнѣе намъ характеровъ Достоевскаго, которые часто открываются во всей своей глубинѣ и значеніи только по исполненіи временъ, когда художественное предсказаніе сбывается. Между Тургеневымъ и Достоевскимъ есть однако и другое, болѣе важное различіе, въ значительной мѣрѣ объясняющее то первое, указанное мною. Это существенное различіе между ними заключается въ способѣ освѣщенія своихъ героевъ. Въ самомъ дѣлѣ, всмотримся: съ какихъ сторонъ подходятъ эти писатели къ изображаемымъ лицамъ, что они выдвигаютъ въ нихъ на первый планъ? Для Тургенева на первомъ планѣ стоитъ *новый* человѣкъ,—представитель,

выразитель новаго направленія. Этой главной своей задачѣ художникъ подчиняетъ всѣ другія требованія. Осуществляя ее, онъ старательно, детально выписываетъ свою фигуру: онъ не пренебрегаетъ ничѣмъ, не упускаетъ ничего, чтобы такъ или иначе оттѣнить въ своемъ героѣ новаго человѣка со всѣми его особенностями. И новый человѣкъ является изъ-подъ его художественной кисти живымъ и законченнымъ изображеніемъ: онъ стоитъ передъ глазами читателя словно изваянный. Но онъ всегда — новый человѣкъ по преимуществу. Просто человѣкъ, съ его психическою жизнью, съ его глубокими душевными движеніями, отходитъ въ немъ на второй планъ, — заслоняется дѣятелемъ. Подъ характерными чертами послѣдняго вы чувствуете его душу, оживляющую изображеніе; но она скрыта глубоко подъ этими чертами и только минутами просвѣчиваетъ сквозь нихъ. Его герой — прежде всего знаменіе своего времени, и потомъ уже просто человѣкъ. Центръ тяжести своей художественной работы Тургеневъ полагаетъ именно въ томъ, чтобы уловить вѣянія новой жизни и выразить ихъ въ образѣ грядущаго дѣятеля. Этотъ дѣятель является у него живымъ воплощеніемъ движенія, которымъ опредѣлится ближайшее будущее.

Иначе понимаетъ свою задачу Достоевскій. Если позволено такъ выразиться, онъ гораздо менѣе политикъ и гораздо болѣе психологъ. Для него дѣятель, выразитель извѣстнаго направленія—дѣло второстепенное и побочное. На первомъ планѣ стоитъ для него *просто человѣкъ*, съ волнующеюся душою, которая любитъ или ненавидитъ, радуется или страдаетъ. Исторія этой души, стадіи, переживаемыя ею, тѣ измѣненія и превращенія, которыя она испытываетъ подъ вліяніемъ того или другого общественнаго движенія—вотъ тема, которую Достоевскій старательно разрабатываетъ въ своихъ произведеніяхъ. Движеніями общественными собственно, тѣми или другими поворотами жизни, онъ занятъ настолько, насколько они являются преобразующимъ началомъ душевной жизни, отражаясь на всемъ нравственномъ складѣ человѣка. Его герои служатъ поэтому выразителями времени въ той мѣрѣ, въ какой оно кладетъ свою особенную печать на ихъ внутренній, психическій міръ. Центръ тяжести своей художественной задачи онъ полагаетъ именно въ томъ, чтобы опредѣлить духовныя отклоненія, совершаемыя въ насъ

характеромъ времени. Оттого-то, къ слову сказать,—Достоевскій и надѣленъ такимъ даромъ прозрѣнія въ будущее: за видимыми и внѣшними чертами своего героя онъ всегда и прежде всего всматривается въ его человѣческую душу, зорко слѣдитъ за малѣйшими ея измѣненіями и предугадываетъ назрѣвающіе переломы въ ней. Это даетъ ему возможность ясно и отчетливо видѣть дали горизонта, которыя въ глазахъ простого зрителя сливаются въ одну сплошную неопредѣленную полосу.

Повѣрьте эти общія соображенія конкретными фигурами того же Базарова и Раскольникова. Первый — прежде всего герой будущаго, исповѣдникъ и выразитель новыхъ началъ жизни, и потомъ уже сторонникъ извѣстныхъ воззрѣній. Человѣческія черты Базарова нужны для того, чтобы пополнить и оживить эту своеобразную фигуру; типическія особенности Раскольникова нужны для того, чтобы оттѣнить, индивидуализировать изображаемую душевную картину. Обѣ фигуры дышатъ жизнію, обѣ принадлежатъ одному времени и одному теченію, но обѣ различны, потому что съ различныхъ сторонъ освѣщаются...

Итакъ, Достоевскій въ своихъ художественныхъ работахъ занятъ больше всего просто человѣкомъ. Это его основная тема, а все остальное—аксессуарныя подробности. Съ этимъ согласны, повидимому, многіе, если не всѣ; но прибавляютъ обыкновенно, что его спеціальность, въ которой онъ не находитъ себѣ соперниковъ—изображеніе психически-больныхъ людей. Это, пожалуй, правда, но правда требующая поясненій. Репутація художника больныхъ людей упрочилась за Достоевскимъ въ особенности послѣ появленія его едва ли не самаго лучшаго романа, „Преступленія и Наказанія", въ которомъ онъ ввелъ своихъ читателей въ такія бездны страдающей души, въ какія раньше его никто изъ русскихъ писателей не проникалъ, кромѣ развѣ Гоголя въ „Запискахъ Сумасшедшаго". Всѣ мы, конечно, живо помнимъ впечатлѣніе ужаса и нервной дрожи, охватывавшихъ насъ при чтеніи знаменитыхъ страницъ, изображающихъ галлюцинаціи Раскольникова: это такія страницы, которыя могутъ уложить въ постель впечатлительнаго человѣка,—такія, дочитать которыя у многихъ не хватало силъ. И однако же, при всемъ томъ, мнѣніе, что Достоевскій—несравненный мастеръ по

изображенію больныхъ людей, требуетъ, говорю, поясненій. Дѣйствительно ли его герои психически-больные люди въ обыкновенномъ значеніи этихъ словъ?—Мнѣ думается, нѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ больны Ставрогинъ съ компаніею, Дмитрій и Иванъ Карамазовы? Что-то больное въ нихъ, несомнѣнно, есть, чувствуется; но дѣйствительная ли это болѣзнь, и не принимаемъ ли мы за болѣзнь нѣчто иное? Какая психическая способность поражена въ Раскольниковѣ, самомъ больномъ образѣ, выношенномъ Достоевскимъ? Можетъ быть, скажутъ, что онъ маньякъ. Но вѣдь тогда маньякомъ пришлось бы назвать всякаго, кто отдается страстно и горячо какой-нибудь мысли и старается осуществить ее. Кромѣ того, если онъ маньякъ, то откуда же позднѣе берутся у него раскаяніе и мука совѣсти, когда преслѣдуемая цѣль достигнута?—Говорятъ иногда, что герои Достоевскаго болѣютъ волею, что именно эта душевная сила надломлена въ нихъ. Но съ этимъ мнѣніемъ, мнѣ кажется, труднѣе согласиться, чѣмъ съ какимъ-либо другимъ: неужели больную волю можно видѣть въ тѣхъ, которые, не озираясь по сторонамъ, не взирая на препятствія, твердо и напроломъ идутъ къ поставленнымъ цѣлямъ? А таковы больные герои Достоевскаго, за малыми исключеніями: въ нихъ можно отрицать многое, но никакъ не волю. Но тогда въ чемъ же болѣзнь?

Болѣютъ они совсѣмъ особеннымъ недугомъ, который коренится въ состояніи ихъ мысли. И этотъ недугъ — не ихъ личный недугъ, а недугъ времени; только въ нихъ онъ обнаруживается сильнѣе, рельефнѣе, ярче, нежели наблюдается нами въ рядовыхъ представителяхъ общества. Герои Достоевскаго—люди безъ правилъ, безъ руководящихъ началъ, безъ идеаловъ, а потому—случайные въ своихъ дѣйствіяхъ, неустойчивые въ жизни и глубоко несчастные. Посмотрите повнимательнѣе на длинную вереницу этихъ новыхъ „скитальцевъ“ послѣдней фармаціи, и, можетъ быть, вы согласитесь со мною. Вѣяніе времени разрушило въ нихъ религіозныя вѣрованія дѣдовъ, которыя давали смыслъ и цѣль ихъ существованію; отрицательное направленіе мысли, сказавшееся у насъ въ Россіи, съ особою силою, разбило излюбленные идеалы отцовъ, подсказанные западною философіею. Ни вѣры ни философскихъ идеаловъ, т. е. всего того, что можетъ

направлять человѣка въ жизни, что можетъ быть путеводною звѣздою въ его скитаніяхъ по міру. Правда, въ распоряженіи оставалась наука, которая по прежнему совершала свое великое наступательное движеніе; но, холодная и безстрастная, она не давала отвѣтовъ на девять десятыхъ вопросовъ жизни. Она рекомендовала ждать этихъ отвѣтовъ въ далекомъ будущемъ, когда научный анализъ, кропотливый и длительный, соберетъ достаточный матеріалъ для нихъ. Къ несчастью, этотъ добросовѣстный и мудрый совѣтъ не могъ быть принятъ: жизнь не ждетъ, и отъ живыхъ людей требуетъ дѣйствій, не справляясь съ тѣмъ — готовы они къ своей роли или нѣтъ. И вотъ новые люди, „дѣти", стоятъ передъ вопросами и загадками окружающей ихъ дѣйствительности въ недоумѣніи, предоставленные самимъ себѣ, съ однимъ горькимъ наслѣдствомъ отрицанія и сомнѣнія. Старые кумиры опрокинуты въ ихъ глазахъ, а новые еще не поставлены. Какому богу молиться, въ какую сторону идти и чѣмъ провѣрять и направлять свои шаги — имъ неуказано. А идти нужно, ибо жить нужно. И вотъ, они пробуютъ сами составлять программы жизни, пытаются пролагать новые пути, спотыкаются на нихъ, падаютъ и страдаютъ,—иногда сильно и тяжело страдаютъ, заставляя страдать вмѣстѣ съ собою и окружающихъ. Общество нерѣдко сердится на нихъ; но едва ли оно право въ своемъ гнѣвѣ: вѣдь, оно же безсильно остановить заблуждающихся своимъ авторитетнымъ голосомъ: оно не умѣетъ обратиться къ нимъ съ властнымъ словомъ и указать пути, которые считаетъ правыми; да, правду говоря, оно и само не знаетъ такихъ путей. Въ его неудовольствіи скрывается безсиліе и себялюбивая досада—зачѣмъ нарушаютъ его покой. Оставленныя безъ руководства, молодыя силы ищутъ опоры въ самихъ себѣ. Имъ тягостно, имъ невозможно сидѣть у моря и ожидать погоды, и они пускаются въ отважное плаваніе на свой рискъ и страхъ. Спѣшно устанавливаются цѣли, спѣшно создаются идеалы, на скорую руку слагаются міровоззрѣнія. И вотъ роковая особенность этихъ цѣлей, идеаловъ и міровоззрѣній: они всегда обнимаютъ только одну изъ многихъ сторонъ жизни и часть возводятъ до значенія цѣлаго. Одинъ строитъ политическій идеалъ, забывая, что на свѣтѣ много другихъ задачъ и вопросовъ, помимо политики; другой увлекается идеаломъ эконо-

мическимъ, страстно вѣруя, что вопросомъ распредѣленія земныхъ благъ исчерпывается все содержаніе жизни. Общаго, все захватывающаго идеала—нѣтъ ни у кого; цѣльнымъ, стройнымъ міровоззрѣніемъ, которое давало бы ключъ для разрѣшенія частныхъ положеній, никто не владѣетъ. И выходитъ поэтому, что какъ скоро приходится осуществлять новый идеалъ, дѣло идетъ складно и ладно, пока человѣкъ вращается въ узкой рамкѣ начертанной имъ программы. Но жизнь не страдаетъ той односторонностью, какой можетъ страдать мысль: рано или поздно она вытолкнетъ дѣятеля изъ его программы, поставивъ его лицомъ къ лицу съ другими вопросами, просмотрѣнными имъ; а тутъ онъ вновь несостоятеленъ, вновь безъ всякихъ указаній и руководства. Что правое, что лѣвое, что доброе и злое, нравственное—онъ не знаетъ. Высшаго критерія жизни, пробнаго камня для оцѣнки своихъ отношеній къ ближнимъ—у него нѣтъ, и за предѣлами своей частной программы онъ поневолѣ становится случайнымъ. Правда, онъ дѣлаетъ попытку найти такой общій критерій: онъ строитъ теорію новой нравственности и горячо хватается за нее, какъ за якорь спасенія. „Общее благо“, „общая польза“—вотъ верховный руководящій принципъ,—вотъ новый богъ, которому онъ начинаетъ молиться и приносить жертвы. Но онъ скоро приходитъ къ заключенію, что принципъ этотъ недостаточный и богъ ненастоящій: общее-то благо каждый понимаетъ по своему, какъ по своему понимаются и тѣ пути, которые ведутъ къ нему. Теорія общей пользы,—разсуждалъ новый русскій скиталецъ,—есть теорія *расчетливыхъ* дѣйствій; а если дѣло идетъ объ расчетѣ, то, конечно, я не уступлю *своего права* расчитывать, и останусь *хозяиномъ* своихъ дѣйствій; основаніе новой нравственности покоится на томъ, что нравственный образъ дѣйствій *выгоднѣе* безнравственнаго. Но если дѣло только въ *выгодѣ*, то, конечно, я не повѣрю *чужому* опредѣленію *моей* выгоды, и предпочту *личное* рѣшеніе, хотя бы и рисковалъ за него поплатиться. Но тогда, значитъ, я могу дѣлать все, что нахожу выгоднымъ и цѣлесообразнымъ; тогда, значитъ, и вопроса о средствахъ быть не можетъ: всякое хорошо, если вѣрно ведетъ къ моей цѣли. Но если такъ, то гдѣ же здѣсь правила? Въ этой нравственности все отъ начала до конца самодѣльное. Это не прав-

ственность, стоящая надо мною, безусловно повелѣвающая; это не та нравственность, которая изрекаетъ свои непреложные глаголы во имя высшей идеи, которую я считаю истинною и святою, въ которую я вношу мое чувство, которая согрѣваетъ и живитъ мое сердце. Это нравственность—дѣло рукъ человѣческихъ,—программа дѣйствій, которая еще нуждается въ моемъ одобреніи и согласіи, которую я, какъ и всякій другой могъ передѣлывать, пополнять и исправлять. Словомъ, это-та нравственность, которая въ сущности ничего не предписываетъ и не запрещаетъ, изъ которой можно черпать все, что угодно. Такъ не лучше ли, не прямѣе и не честнѣе ли просто оставить это старое понятіе о нравственности,—понятіе износившееся и истлѣвшее,—оставить, какъ предразсудокъ, путающій жизнь и безцѣльно осложняющій взаимныя отношенія между людьми. Такъ, говорю, — думалъ русскій скиталецъ, и нельзя отказать ему въ логикѣ. Якорь спасенія, за который онъ такъ довѣрчиво ухватился, оказался ненадежнымъ, и пришлось отказаться отъ него. И вотъ, новый человѣкъ по прежнему остается въ потемкахъ, съ одними своими отрицаніями и сомнѣніями. И бродитъ онъ въ этихъ потемкахъ, пока не наткнется на невидимое препятствіе и не станетъ жертвою неожиданнаго столкновенія.— Таково умственно - нравственное состояніе героевъ въ послѣднихъ романахъ Достоевскаго, — то духовное содержаніе, которое налагаетъ на нихъ печать нѣкоторой своеобразной болѣзненности. Я охарактеризовалъ это содержаніе самыми общими чертами; многое осталось недоговореннымъ, многое можетъ подать поводъ къ недоразумѣніямъ... Отрицательное состояніе мысли, налагающее особую окраску на душу,—вотъ тотъ недугъ, которымъ страдаютъ герои Достоевскаго. Онъ мастерски освѣщаетъ это состояніе, съ изумительною силою и глубиною изображаетъ тѣ душевныя превращенія, которыя являются послѣдствіемъ отрицанія. Онъ внимательно слѣдитъ за преемственнымъ ходомъ этихъ превращеній въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ. „Преступленіе и Наказаніе", „Бѣсы" и „Братья Карамазовы" отмѣчаютъ собою три послѣдовательныя стадіи въ жизни души отрицающей, отмѣчая съ тѣмъ вмѣстѣ три различныя ступени въ развитіи разсматриваемаго общественнаго движенія. Коротко характеризуя эти стадіи, „Преступленіе и Наказаніе" выра-

жаетъ собою состояніе *вѣрующаго отрицанія*; „Бѣсы" — состояніе *отрицанія знающаго*; „Карамазовы"—состояніе отрицанія начинающаго *сомнѣваться* въ себѣ. Отношеніе къ отрицательнымъ выводамъ мысли, какъ къ предмету *вѣры*, *знанія и сомнѣнія*, образуетъ три состоянія, смѣняющія другъ друга съ непремѣнною необходимостью, логически развиваясь одно изъ другихъ. Достоевскій пишетъ естественную исторію этой смѣны. Послѣдуемъ за нимъ и взглянемъ на его картины.

Передъ нами бодрая эпоха шестидесятыхъ годовъ, богатая глубокими реформами во всемъ общественно-государственномъ строѣ нашемъ. Старыя, обветшалыя формы жизни падаютъ; на ихъ мѣсто устанавливаются новыя и лучшія. Что-то свѣжее и юное носится надъ этою зиждительною работой: ясное утро, обѣщающее благодарный день! Наступитъ ли этотъ день дѣйствительно — покажетъ будущее; а пока все ручается за его наступленіе.

Параллельно ломкѣ старыхъ формъ жизни и зиждительной работѣ новыхъ, совершается другой знаменательный переворотъ въ области умственно-нравственной. Вмѣстѣ съ обновленными формами жизни думаютъ обновить ея внутреннее, духовное содержаніе. И здѣсь зачинается ломка стараго, и здѣсь видимъ попытки замѣнить это старое новымъ и лучшимъ. Попытки, правда, не удаются вполнѣ; но есть еще крѣпкая надежда, что онѣ удадутся впослѣдствіи. Даже и тѣни сомнѣнія въ будущемъ успѣхѣ пока нѣтъ; въ настоящемъ же всѣ усилія направлены къ тому, чтобы снести ветхія зданія и очистить мѣсто для будущихъ сооруженій. Когда мѣсто будетъ очищено,—найдутся и архитекторы, и рабочіе, и строительный матеріалъ.

При такихъ условіяхъ живетъ и дѣйствуетъ главный герой „Преступленія и Наказанія", Раскольниковъ. Онъ—человѣкъ своего времени вполнѣ и совершенно, насколько оно выразилось въ своемъ новомъ движеніи. Онъ не только повернулся спиной къ отцовскимъ вѣрованіямъ, не только не дорожитъ прежними основами жизни, но считаетъ святымъ своимъ призваніемъ,—дѣломъ служенія истинѣ и человѣчеству,—работать надъ разрушеніемъ этихъ основъ и вѣрованій. Борьба съ старою ложью, ломка старыхъ формъ—вотъ идея, которая страстно овладѣваетъ всѣмъ его существомъ. А человѣкъ онъ стойкій и послѣдовательный: коли онъ до-

думался до борьбы и ломки,—ну, значитъ, дѣйствительно, нужно ломать и бороться, принимаясь немедля за это необходимое дѣло. Пока онъ еще не задумывается о томъ, что же потомъ-то будетъ, что возведетъ онъ на мѣсто поломаннаго. Для него ясно, что будетъ во всякомъ случаѣ лучше, что бы тамъ ни было, ибо хуже того, что есть, ничего быть не можетъ. Онъ весь поглощенъ своею разрушительной задачей, отуманенъ ею и уже ничего не видитъ болѣе. Онъ вѣритъ, и крѣпко вѣритъ,—въ спасительное значеніе разрушенія. Спѣшно, на скорую руку, составляетъ онъ планъ своей дѣятельности: онъ убьетъ вотъ эту гадкую старуху—ростовщицу, которая сосетъ кровь своихъ ближнихъ; онъ уберетъ эту гадину съ бѣлаго свѣта и очиститъ мѣсто для другихъ; онъ разумно воспользуется ея деньгами, нажитыми неправымъ стяжаніемъ, онъ облагодѣтельствуетъ ими своихъ страждущихъ братьевъ. Планъ готовъ, и что же можетъ остановить Раскольникова отъ его выполненія? Нравственность? Но, вѣдь, нравственность въ лучшемъ случаѣ—только общее благо: именно опираясь на эту вѣрную идею, онъ и долженъ убить ростовщицу-старуху. Если признаешь идею,—имѣй мужество мириться со всѣми ея практическими послѣдствіями; а не ясно ли, что, убравъ эту *одну* старушонку, онъ сдѣлаетъ доброе дѣло для *многихъ*? Но, можетъ быть, иная нравственность запрещаетъ такой образъ дѣйствій? Однако, какая же? Иной нравственности нѣтъ; ее сочинили люди, да и, сочинивъ, опутали ею только однихъ слабыхъ. Сильныя, избранныя натуры не слѣдуютъ этой нравственности, безнаказанно попираютъ ее. Вотъ, Наполеонъ I десятками, сотнями тысячъ губилъ людей ради своего ненасытнаго честолюбія; а между тѣмъ, за эти кровавые подвиги его награждаютъ безсмертіемъ, окружаютъ имя его ореоломъ вѣчной, неувядающей славы. Такъ думаетъ Раскольниковъ, и человѣкъ вѣрный себѣ, онъ убиваетъ избранную имъ жертву.—Дѣло сдѣлано; руки обрызганы кровью ближняго. Но тутъ случается съ Раскольниковымъ то, чего онъ никакъ не ожидалъ: наперекоръ ясной и отчетливой логикѣ, наперекоръ неоспоримымъ доводамъ разума, въ немъ просыпается совѣсть, лютымъ звѣремъ накидывается на его душу, гложетъ и терзаетъ ее, доводитъ несчастнаго до галлюцинацій,—до страшныхъ видѣній наяву, отъ которыхъ у него поднимаются во-

лосы дыбомъ. И все это дѣлаетъ совѣсть, которую онъ считалъ предразсудкомъ? Съ его точки зрѣнія, это, очевидно, непослѣдовательность; это—непростительная слабость, и позднѣйшіе герои, какъ увидимъ далѣе, уже не будутъ страдать этой слабостью. Но отчего она есть въ Раскольниковѣ, — твердомъ и сильномъ человѣкѣ?—Да именно оттого, что онъ еще новичокъ въ дѣлѣ отрицанія, — первая ласточка, вылетѣвшая изъ своего гнѣзда. Еще слишкомъ близко и свѣжо въ памяти время, когда онъ самъ горячо вѣрилъ въ то, что теперь отрицаетъ. „Люби своего ближняго, каковъ бы онъ ни былъ; ты не судья ему и еще менѣе палачъ!“ Звучитъ въ его ушахъ старый, глубоко запавшій въ душу завѣтъ. И Раскольниковъ падаетъ и гибнетъ подъ тяжестью обломковъ разрушеннаго имъ зданія. Однако его паденіе и гибель никого не образумятъ и не спасутъ: по его слѣдамъ пойдутъ еще многіе и многіе. Да и не можетъ его горькій опытъ быть урокомъ для этихъ многихъ: во 1-хъ, человѣкъ все же не выстоялъ до конца и, во-2-хъ, кто же ему велѣлъ останавливаться на нелѣпомъ планѣ убійства ничтожной старухи? Можно придумать тысячу иныхъ плановъ, вѣрнѣе ведущихъ къ цѣли водворенія счастья между людьми. И планы будутъ составляться и проводиться; только будетъ ли счастье-то?— Но, оставляя въ покоѣ другихъ героевъ, спросимъ, что больше всего характеризуетъ Раскольникова?—Онъ, конечно, отрицатель, но такой, который пламенно, страстно вѣритъ въ свое отрицаніе, хотя и хоронитъ его подъ внѣшними чертами нѣкоторой замкнутости. Эта вѣра въ силу и истину своего отрицанія составляетъ его своеобразную особенность. Вѣрить въ отрицаніе, вѣрить въ невѣріе,—тутъ есть внутреннее противорѣчіе; но пока оно ускользаетъ отъ его глазъ. Пока онъ вноситъ въ свое отрицаніе то же чувство, тотъ же сердечный порывъ, съ какимъ относится религіозный человѣкъ къ предмету поклоненія.

Н. Зверевъ.

* * *

*) Смыслъ „Преступленія и Наказанія“, при всей глубинѣ подробностей, очень простъ и ясенъ, хотя многими и не былъ понятъ. Главное дѣйствующее лицо — представитель того

*) Влад. Соловьевъ. „Три рѣчи въ память Достоевскаго“. Москва 1884 г.

воззрѣнія, по которому всякій сильный человѣкъ самъ по себѣ господинъ, и ему все позволено. Во имя своего личнаго превосходства, во имя того, что онъ *сила*, онъ считаетъ себя въ правѣ совершить убійство, и дѣйствительно его совершаетъ. Но вотъ вдругъ то дѣло, которое онъ считалъ только нарушеніемъ внѣшняго безсмысленнаго закона и смѣлымъ вызовомъ общественному предразсудку,—вдругъ оно оказывается для его собственной совѣсти чѣмъ-то гораздо большимъ, оказывается грѣхомъ, нарушеніемъ внутренней нравственной правды. Нарушеніе внѣшняго закона получаетъ законное возмездіе извнѣ, въ ссылкѣ и каторгѣ, но внутренній грѣхъ гордости, отдѣлившій сильнаго человѣка отъ человѣчества и приведшій его къ человѣкоубійству,—этотъ внутренній грѣхъ самообоготворенія можетъ быть искупленъ только внутреннимъ нравственнымъ подвигомъ самоотреченія. Безпредѣльная самоувѣренность должна исчезнуть передъ вѣрой въ то, что больше *себя*, и самодѣльное оправданіе должно смириться передъ высшей правдой Божіей, живущей въ тѣхъ самыхъ простыхъ и слабыхъ людяхъ, на которыхъ сильный человѣкъ смотрѣлъ какъ на ничтожныхъ насѣкомыхъ.

Въ „Бѣсахъ“ та же тема если не углублена, то значительно расширена и усложнена. Цѣлое общество людей, одержимыхъ мечтой о насильственномъ переворотѣ, чтобы передѣлать міръ по своему, совершаютъ звѣрскія преступленія, и гибнутъ позорнымъ образомъ, а исцѣленная вѣрой Россія склоняется передъ своимъ Спасителемъ. Общественное значеніе этихъ романовъ велико; въ нихъ *предсказаны* вѣрныя общественныя явленія, которыя не замедлили обнаружиться; вмѣстѣ съ тѣмъ эти явленія осуждены во имя высшей религіозной истины и указанъ лучшій исходъ для общественнаго движенія въ принятіи этой самой истины. Осуждая исканія самовольной отвлеченной правды, порождающія только преступленія, Достоевскій противупоставляетъ имъ народный религіозный идеалъ, основанный на вѣрѣ Христовой. Возвращеніе къ этой вѣрѣ есть общій исходъ и для Раскольникова и для всего одержимаго бѣсами общества. Одна лишь вѣра Христова, живущая въ народѣ, содержитъ въ себѣ тотъ положительный общественный идеалъ, въ которомъ отдѣльная личность солидарна со всѣми. Отъ личности же, утратившей эту солидарность, прежде всего требуется, чтобы она отказалась отъ

своего гордаго уединенія, чтобы нравственнымъ актомъ самоотверженія она возсоединилась духовно съ цѣлымъ народомъ. Но во имя чего же? Во имя ли того только, что онъ, — народъ, и что шестьдесятъ милліоновъ больше чѣмъ единица или тысяча? Вѣроятно, есть люди, которые именно такъ это и понимаютъ. Но такое слишкомъ уже простое пониманіе было совершенно чуждо Достоевскому. Требуя отъ уединившейся личности возвращенія къ народу, онъ прежде всего имѣлъ въ виду возвращеніе къ той истинной вѣрѣ, которая еще хранится въ народѣ. Въ томъ общественномъ идеалѣ братства или всеобщей солидарности, которому вѣрилъ Достоевскій, главнымъ было его религіозно-нравственное, а не національное значеніе. Уже въ „Бѣсахъ“ есть рѣзкая насмѣшка надъ тѣми людьми, которые поклоняются народу только за то, что онъ народъ, и цѣнять православіе лишь какъ аттрибутъ русской народности.

Вл. Соловьевъ.

* * *

*) О характерѣ Раскольникова было много уже сказано критикой; всякій образованный русскій и даже иностранцы знакомы съ романомъ „Преступленіе и Наказаніе“, и, конечно, всякій составилъ себѣ болѣе или менѣе опредѣленное понятіе объ этой, во всякомъ случаѣ, загадочной личности. Поэтому весьма трудно еще разъ разбирать этотъ характеръ и защищать взглядъ, рѣзко расходящійся съ уже составленнымъ.

Впрочемъ, чѣмъ явленіе выбранное художникомъ сложнѣе, тѣмъ болѣе оно возбуждаетъ сужденій, до извѣстной степени справедливыхъ, несмотря на ихъ противуположность. Когда я въ первый разъ читалъ этотъ романъ еще будучи студентомъ, онъ на меня произвелъ подавляющее впечатлѣніе, но я совершенно не понялъ Раскольникова, и, несмотря на всѣ мои попытки объяснить себѣ этотъ характеръ, я долженъ былъ признаться себѣ, что онъ остается для меня неразрѣшимой загадкой. Познакомившись съ психіатріей, я еще разъ перечелъ „Преступленіе и Наказаніе“ съ новымъ интерессомъ. Я, какъ врачъ, собирающій свѣдѣнія объ интересномъ въ медицинскомъ отношеніи больномъ, искалъ въ романѣ указаній

*) В. Чижъ. „Достоевскій какъ психопатологъ“. М. 1885 г. и Русскій Вѣстникъ“ 1884 г., № 5—6.

о здоровьѣ родителей Раскольникова, такъ какъ только у лицъ съ наслѣдственнымъ расположеніемъ къ душевнымъ болѣзнямъ могутъ быть такія явленія, и, когда я прочелъ (обстоятельство, не обратившее прежде моего вниманія и не оцѣненное мною), что мать Раскольникова умерла душевнобольною, я понялъ Раскольникова, и еще разъ убѣдился въ геніальности Достоевскаго.

Даже скептикъ долженъ согласиться, что человѣкъ, подъ вліяніемъ раскаянія заболѣвающій душевною болѣзнею, въ значительной степени склоненъ къ заболѣванію душевными болѣзнями. Та легкость и быстрота, съ которою Раскольниковъ заболѣваетъ душевною болѣзнею и оправляется отъ нея, вмѣстѣ съ тѣмъ, что извѣстно о здоровьѣ его матери, достаточно убѣдительно доказываетъ, что онъ субъектъ съ сильно выраженнымъ наслѣдственнымъ предрасположеніемъ къ заболѣванію душевными болѣзнями, такъ сказать, постоянно стоящій на краю пропасти. Двухъ этихъ обстоятельствъ достаточно, чтобы считать Раскольникова человѣкомъ крайне болѣзненнымъ, ожидать всегда отъ него поступковъ несвойственныхъ здоровымъ людямъ.

Поэты-моралисты сильно ошибаются, думая, что муки совѣсти доводятъ преступниковъ до сумасшествія. Макбетъ и Леди Макбетъ исключительныя явленія; если преступники и нѣсколько чаще страдаютъ душевными болѣзнями, то для этого много другихъ причинъ, кромѣ вліянія раскаянія.

Преступниковъ, галлюцинирующихъ своими жертвами, едва ли видѣлъ каждый тюремный врачъ, такъ они рѣдки. За нѣсколько лѣтъ моей дѣятельности въ тюремныхъ больницахъ, я положительно не видѣлъ ни одного случая помѣшательства, причиной котораго были бы муки совѣсти, не наблюдалъ ни разу помѣшательства, содержаніе котораго имѣло бы непосредственное отношеніе къ преступленію. Впрочемъ, по этому поводу и не существуетъ разногласій. Достоевскій показалъ въ разбираемомъ романѣ, насколько справедливы мнѣнія поэтовъ и публики о томъ, что преступленіе въ самомъ себѣ содержитъ такое тяжкое наказаніе, что преступникъ подъ вліяніемъ раскаянія заболѣваетъ душевною болѣзнію. Да, заболѣваютъ душевною болѣзнію вслѣдствіе мученій совѣсти, но не обыкновенные преступники, а Раскольниковы. Этимъ романомъ Достоевскій показалъ, что сравнительно съ другими

художниками, онъ стоитъ неизмѣримо высоко, какъ психопатологъ.

У Раскольникова и Ивана Карамазова есть одна общая черта; это — люди съ умомъ выше средняго и значительно обработаннымъ, хотя для нихъ обоихъ оказалось недостижимымъ полное образованіе; извѣстной границы они переступить не могли. Оба они люди съ потребностью къ серіозной умственной дѣятельности, одаренные самостоятельною творческою мыслію. Продукты ихъ ума для обыкновенныхъ людей представляются странными, парадоксальными, рядомъ остроумныхъ, пожалуй, блестящихъ выводовъ изъ узко или ложно понятаго основанія. Какъ теорія Раскольникова о правѣ генія распоряжаться человѣческою жизнію, такъ и взглядъ Ивана, что церковь должна поглотить государство, намъ людямъ извѣстной культуры, просто недоступны; если бы мы даже не были въ силахъ доказать ложность этихъ теорій, то все-таки отнюдь не могли бы съ ними согласиться. Конечно, это еще не доказательство того, что творцы ихъ люди больные: всегда появляются люди, говорящіе новое слово. Огромному большинству проповѣдь ихъ кажется нелѣпостью, бредомъ, но все-таки ихъ никто не рѣшается назвать сумасшедшими; напримѣръ, ученіе мармоновъ, сенъ-симонизмъ большинству представляется или вздоромъ или шарлатанствомъ. Но оригинальные парадоксальные умы, конечно, имѣютъ полное право на свободу въ качествѣ людей здоровыхъ. Они, можетъ быть, преступники мысли, но не сумасшедшіе. Замѣчательное явленіе: ни Раскольниковъ ни Иванъ не находятъ адептовъ своему ученію; это уже рѣзко ихъ отличаетъ отъ всѣхъ другихъ новаторовъ, такъ какъ, сколько извѣстно изъ исторіи и психологіи, умъ высшаго порядка (способный къ творческой дѣятельности) всегда подчиняетъ себѣ умы болѣе слабые. Является самъ собой роковой вопросъ: почему Раскольниковъ и Иванъ, люди съ блестящимъ умомъ, не могли никого убѣдить въ справедливости своихъ воззрѣній. Объясненіе этому въ сущности просто: сами авторы не вѣрили въ справедливость своихъ взглядовъ. Ивана нельзя даже назвать атеистомъ: атеизмъ, въ качествѣ школы, философскаго воззрѣнія, есть какъ бы нѣкоторое подобіе вѣры; я хочу сказать, что Иванъ былъ просто циникъ, въ самомъ дурномъ смыслѣ этого слова, то есть человѣкъ, дошедшій сначала до отрицанія Бога, а

затѣмъ и всѣхъ нравственныхъ законовъ; все позволено, все хорошо, нѣтъ ничего нравственнаго и безнравственнаго и т. п. Но онъ только думалъ такъ, чувствовалъ же иначе: убійство отца его возмутило; такимъ образомъ, очевиденъ цѣлый рядъ противорѣчій. Раскольниковъ только на минуту повѣрилъ въ справедливость своихъ взглядовъ, да и то не вполнѣ, и сейчасъ же отъ нихъ отказался. Вотъ самый рѣзкій характерный признакъ такихъ болѣзненныхъ умовъ; такіе люди никогда не вѣрятъ въ то, что сами проповѣдуютъ. Ихъ теоріи не стоятъ въ соотвѣтствіи со всею ихъ натурой, съ цѣлымъ ихъ *я;* это просто рядъ выводовъ, не имѣющихъ никакой цѣны, никакого живого значенія для самихъ авторовъ. По временамъ, они съ жаромъ защищаютъ свои теоріи, въ душѣ сами сомнѣваясь; и какъ бы умны они ни были, окружающіе инстинктивно чувствуютъ, что имѣютъ дѣло съ болтунами (даже простые монахи заподозрили Ивана въ атеизмѣ). Эти люди не могутъ имѣть глубокихъ убѣжденій; умъ ихъ работаетъ черезчуръ порывисто, не можетъ на продолжительное время завладѣть остальными функціями, не стоитъ въ гармоніи со всею духовною дѣятельностію. Демократы, живущіе на хлѣбахъ у вельможъ, проповѣдники нравственности, удивляющіе окружающихъ своею безнравственностію, набожные люди, постоянно нарушающіе всѣ законы религіи, и дѣлающіе это искренно, не изъ обдуманно-корыстныхъ цѣлей,—все это именно такіе болѣзненные умы; біографіи многихъ авантюристовъ какъ нельзя болѣе убѣждаютъ въ справедливости этого положенія. Lombroso, долго изучавшій біографіи великихъ людей, страдавшихъ душевными болѣзнями, говоритъ, что отличительный признакъ такихъ людей тотъ, что слово у нихъ всегда расходится съ дѣломъ. Чѣмъ, напримѣръ, можно объяснить, что Ж. Ж. Руссо забросилъ своихъ дѣтей?

Необходимо приходится заключить, что мышленіе, творческая способность Раскольникова и Ивана рѣзко отличались отъ этихъ функцій у людей нормальныхъ; кромѣ того, они сами въ глубинѣ души не вѣрили въ справедливость своихъ теорій, которыя оставались чуждыми ихъ *я*.

Я полагаю, что объяснять парадоксальность теоріи Раскольникова излишне. Взгляды Ивана представляютъ анахронизмъ. Какъ они дошли до своихъ взглядовъ, что побудило мягкаго,

добраго, честнаго Раскольникова дойти до такой кровожадной теоріи, естественника, Ивана, во время всеобщаго увлеченія взглядами натуралистовъ, сдѣлаться новымъ quasi-апостоломъ, въ 25 лѣтъ увлечься сочиненіемъ религіозныхъ легендъ? Читая хорошо составленную біографію какого-нибудь избранника, сказавшаго свое слово, мы всегда до извѣстной степени можемъ прослѣдить, какъ зараждались извѣстныя идеи, какъ обстоятельства жизни, ученыя занятія, общественныя сношенія наталкивали умъ на извѣстный вопросъ, какъ неясная въ началѣ мысль прояснялась, вырабатывалась извѣстная теорія, дѣятельность принимала тотъ или другой оборотъ. Романы Достоевскаго, во всякомъ случаѣ, хорошія біографіи ихъ героевъ; никто не отрицалъ у Достоевскаго способности анализовать душу. Между тѣмъ мы рѣшительно не видимъ, какъ и почему додумались Раскольниковъ и Иванъ до своихъ взглядовъ; ихъ образованіе, научныя занятія стоятъ въ разрѣзъ съ ихъ теоріями. Неужели у Достоевскаго были пробѣлы, неполнота въ столь крупномъ вопросѣ? Я думаю, мало кто рѣшится обвинять Достоевскаго въ томъ, что въ исторіи Раскольникова и Ивана Карамазова нѣтъ объясненія, какъ зарождались и вырабатывались ихъ теоріи. Правильнѣе будетъ заключить, что если такой глубокій психологъ не могъ выяснить намъ, какъ и почему извѣстныя идеи развивались въ головахъ его героевъ, то, значитъ, въ данномъ случаѣ этого невозможно сдѣлать. Да и напрасно было бы искать, какимъ психологическимъ путемъ явились столь чуждые самимъ авторамъ взгляды; мы, вѣдь, только знаемъ процессъ творчества у здоровыхъ людей; что же можно сказать про этихъ людей, если даже такой знатокъ души человѣческой, какъ Достоевскій, не могъ анализовать, какъ они мыслятъ? Такіе люди всегда были и, вѣроятно, еще долгое время будутъ загадками; психическая жизнь ихъ черезчуръ разнится отъ жизни здоровыхъ людей, и имъ суждено удивлять окружающихъ неожиданностію своихъ мыслей и поступковъ. Можно навѣрное сказать, что относительно ихъ невозможны какія-либо предсказанія, кромѣ одного: что они кончатъ или сумасшествіемъ или преступленіемъ, или еще вѣрнѣе тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Но если мы не можемъ объяснить себѣ, какъ они додумываются до изумляющихъ насъ своею странностію выводовъ, то, по крайней мѣрѣ, мы можемъ прослѣдить,

что направляетъ и обусловливаетъ ихъ умственную дѣятельность. Раскольниковъ быстро разочаровывается въ своихъ надеждахъ на счастье, огорченъ смертью своей невѣсты, впадаетъ въ хандру, лишается заработковъ, голодаетъ, и вотъ озлобленіе на міръ, неудовлетворительность жизнію, голодъ, хандра наталкиваютъ его на мрачную разрушительную теорію. Мы видимъ въ этомъ случаѣ крайне рѣзко выраженную зависимость мышленія отъ настроенія; мысль лишается главнаго своего достоинства — объективности. Не въ правѣ ли мы были ожидать отъ Раскольникова, если бы жизнь ему улыбнулась, теоріи самаго идиллическаго характера? Даже люди талантливые, съ чертами психическаго вырожденія, лишены свободы мысли; умъ у нихъ является самымъ покорнымъ слугой болѣе низшихъ психическихъ функцій, въ чемъ нельзя не видѣть признака несовершенства организаціи такихъ людей. Увлеченіе религіозными вопросами у Ивана имѣетъ ту-же почву, какъ и у его брата Алеши. Я понимаю, что приведенное мною объясненіе можетъ многимъ показаться произвольнымъ; но настаивая на томъ, что психическая жизнь Раскольникова и Ивана Карамазова намъ неясна, я уже этимъ сказалъ, что намъ приходится ограничиваться болѣе вѣроятными догадками.

Еще разъ считаю нужнымъ оговориться, что считать душевно-больными Раскольникова и Ивана Карамазова только потому, что они создали парадоксальныя теоріи, нельзя; нужно брать всю совокупность явленій, и только тогда можно по достоинству оцѣнить значеніе парадоксальности ихъ ума.

Наконецъ, въ сферѣ воли у субъектовъ съ психическимъ вырожденіемъ поражаетъ необычайная возбудимость ея представленіями при малой устойчивости возбудимости. Напримѣръ, Раскольниковъ додумался до оригинальной теоріи и тотчасъ же спѣшитъ поступать сообразно съ ней; также и Алеша вздумалъ идти въ монастырь. Собственно какимъ путемъ образовались эти идеи, по моему разумѣнію, я сказалъ. Этотъ же путь ведетъ и къ быстрому переходу представленій въ дѣятельность. Всему *я* Раскольникова крайне гадко было убійство, но онъ рабски подчиняется своей идеѣ; у большинства людей это бываетъ далеко не такъ: вся исторія человѣчества учитъ, какъ медленно новыя моральныя и соціальныя идеи переходятъ въ жизнь. Такова натура чело-

вѣка. Великіе люди умѣли направлять свою дѣятельность къ воодушевлявшей ихъ идеѣ, но они подолгу колебались, сомнѣвались, страдали, пока идея созрѣвала и, наконецъ, поглощала ихъ *я*. У Раскольниковыхъ, хотя бы они и чувствовали, даже понимали нелѣпость ихъ идеи, все-таки она быстро переходитъ въ дѣло.

Вообще въ физіологіи нервной системы извѣстенъ законъ, что чѣмъ проще организація, тѣмъ легче раздраженіе переходитъ въ движеніе. Головной мозгъ человѣка, какъ самый совершенный органъ, обладаетъ въ высокой степени способностію уменьшать или даже совершенно уничтожать соотвѣтствующее раздраженію движеніе. Иллюстрировать это можетъ извѣстный опытъ: у обезглавленной лягушки рефлексы спинного мозга наступаютъ быстрѣе и энергичнѣе. Въ той сложной дѣятельности головного мозга, которая называется психическою, эта задерживающая способность играетъ большую роль; чѣмъ выше психическая организація человѣка, тѣмъ больше способность развита. Ребенокъ не въ силахъ сдерживать проявленія своихъ чувствъ; дикарь обладаетъ этою способностію меньше, чѣмъ цивилизованный.

Психическое вырожденіе, между прочимъ, почти всегда выражается слабостью задерживающей дѣятельности мозга. Этотъ недостатокъ, указывающій на недоразвитіе sui generis мозга, проявляется и въ той быстротѣ, съ которою аффекты и настроенія переходятъ въ дѣятельность и въ подавляющемъ вліяніи представленій на волю. По слѣдуя общимъ законамъ, легкая возбудимость сопровождается малою устойчивостью возбужденія. Если у здороваго человѣка представленія перешли въ дѣятельность, то мы знаемъ, что при этомъ происходила сложная борьба противоположныхъ представленій и чувствъ, задерживающіе моменты были подавлены, поэтому, само собой, мы вправѣ предполагать, что импульсъ для дѣятельности былъ достаточно силенъ, дабы преодолѣть всѣ препятствія, мы вправѣ думать, что воля имѣетъ достаточное напряженіе. Но у людей съ психическимъ вырожденіемъ представленія легко переходятъ въ движенія; у нихъ нѣтъ устойчивой воли: новыя представленія съ такою же легкостью вызываютъ новыя дѣйствія. Только, *повидимому*, противорѣчитъ этому то обстоятельство, что Раскольниковъ имѣлъ достаточно силы воли, чтобъ отдать себя въ руки правосудія. Рас-

кольниковъ скоро рѣшился на преступленіе, еще скорѣе рѣшился и на самоубійство, но не могъ покончить съ собой; отдать же себя въ руки правосудія онъ долженъ былъ, потому что судебный слѣдователь все равно арестовалъ бы его. Сколько противорѣчащихъ другъ другу намѣреній и поступковъ проявилъ Раскольниковъ въ это время, трудно и перечислить; самыя ничтожныя обстоятельства измѣняли его дѣятельность, и хотя онъ былъ умнѣе всѣхъ его окружавшихъ, онъ, благодаря этой неустойчивости воли, выдалъ себя какъ самый глупый преступникъ. Только слабость воли можетъ объяснить намъ ту непослѣдовательность, съ которою держалъ себя Раскольниковъ послѣ преступленія...

Достоевскій, какъ извѣстно, весьма подробно анализировалъ душевное состояніе своихъ героевъ, совершавшихъ преступленія; среди массы преступниковъ и негодяевъ, такъ тщательно имъ нарисованныхъ, рѣзко выдѣляются двѣ рельефно очерченныя фигуры съ отсутсвіемъ нравственнаго чувства: это фигуры—Свидригайлова (Преступленіе и Наказаніе) и Смердякова (Братья Карамазовы). Свидригайловъ и Смердяковъ, несмотря на разницу въ ихъ воспитаніи, дѣятельности, общественномъ положеніи, имѣютъ много между собою общаго.

Эти несчастные выродки уже съ самаго ранняго возраста удивляютъ окружающихъ недостаткомъ дѣтской любви и родственныхъ привязанностей, холодностью сердца, равнодушіемъ къ счастью и горю самыхъ близкихъ имъ лицъ. (Смердяковъ не питалъ никакой привязанности къ Григорію и еще ребенкомъ относился къ нему враждебно). Они остаются вполнѣ равнодушны къ оцѣнкѣ и порицанію ихъ поступковъ другими лицами, не испытывая угрызенія совѣсти или раскаянія. Въ этомъ отношеніи весьма интересны сцены между Раскольниковымъ и Свидригайловымъ, Иваномъ Карамазовымъ и Смердяковымъ. Свидригайловъ смѣется, когда Раскольниковъ называетъ его развратникомъ, убійцею жены и слуги; Смердяковъ спокойно разсказываетъ какъ онъ совершилъ преступленіе, искренно не понимая, почему такъ возмущается и негодуетъ Иванъ Карамазовъ. Эти сцены лучше десятковъ страницъ въ теоретическихъ трактатахъ объясняютъ, что такое нравственное помѣшательство.

Обычая эти больные не понимаютъ; законъ имѣетъ для

нихъ значеніе только полицейскаго предписанія, и на тягчайшія преступленія они смотрятъ съ своеобразной низшей точки зрѣнія, такъ же какъ психически-здоровый человѣкъ смотритъ на невинное нарушеніе какого-нибудь полицейскаго предписанія. Такъ, когда Раскольниковъ говоритъ Свидригайлову, что онъ узналъ объ убійствѣ жены самимъ Свидригайловымъ, то тотъ только равнодушно замѣтилъ: „перестаньте говорить объ этихъ пошлостяхъ; уже вамъ наговорили обо мнѣ“ и т. п.; словомъ, такъ же относится къ такимъ серьезнымъ обвиненіямъ, какъ здоровый человѣкъ къ напоминаніямъ ему о какихъ-нибудь пустыхъ его отступленіяхъ отъ закона. Такъ же спокойно Свидригайловъ разсказываетъ Раскольникову, человѣку совсѣмъ незнакомому, что его били, когда онъ былъ шулеромъ. Сообщать о такихъ позорныхъ обстоятельствахъ не было никакой надобности, но онъ разсказалъ объ этомъ, такъ какъ ему не было стыдно или непріятно говорить объ этомъ.

Естественно, что Свидригайловъ и Смердяковъ съ полнымъ безучастіемъ относятся къ вопросамъ общественной жизни; въ этомъ отношеніи интересны разсужденія Смердякова о патріотизмѣ и Свидригайлова—объ освобожденіи крестьянъ. Эта нравственная слѣпота дѣлаетъ такихъ людей совершенно неспособными къ общественной жизни, и вѣрными кандидатами въ тюрьмы (Свидригайловъ и Смердяковъ такіе кандидаты) и заведенія для душевно-больныхъ. Въ эти мѣста они всегда и попадаютъ послѣ того, какъ пройдутъ по обычнымъ для нихъ ступенямъ общественнаго поприща. Въ дѣтствѣ они бываютъ истинною пыткою для родителей и наставниковъ (Смердяковъ возбуждалъ ужасъ и негодованіе честнаго Григорія), въ молодости—язвой для общества, благодаря непреодолимому стремленію къ бродяжничеству—(Свидригайловъ, несмотря на свое происхожденіе, былъ обитателемъ дома Вяземскаго), мотовству (Свидригайловъ растратилъ свое состояніе и попалъ въ долговую тюрьму), разврату (Свидригайловъ дошелъ до крайнихъ предѣловъ разврата) и воровству (Смердяковъ кончилъ воровствомъ).

Что касается чисто умственной сферы, то ни у Свидригайлова ни у Смердякова,—какъ это часто и бываетъ, и что заставляетъ профановъ считать такихъ лицъ здоровыми,—не было рѣзко выраженныхъ растройствъ, не было идей бреда;

галлюцинаціи у Свидригайлова были рѣдки и не имѣли большого вліянія на его психическую жизнь. Несмотря однако на то, что Свидригайловъ и Смердяковъ кажутся людьми умными, хитрыми, и даже энергичными, вся жизнь ихъ показываетъ, что умъ ихъ свершенно непроизводителенъ; они неспособны ни къ какому серіозному призванію въ жизни ни къ какой правильной дѣятельности. Бросается въ глаза резонирующій способъ мышленія; оба они каждый по своему резонеры, ни къ чему не способные. Смердяковъ въ концѣ концовъ не могъ осуществить своей завѣтной, крайне немудреной мечты—открыть кухмистерскую, а для достиженія этой цѣли онъ совершилъ даже убійство, и хотя былъ очень предусмотрителенъ при совершеніи преступленія и обнаружилъ большую инстинктивную хитрость, но въ то же время упустилъ изъ виду самыя простыя предосторожности.

Въ половомъ отношеніи, несмотря на видимую противоположность, оба носятъ на себѣ несомнѣнные слѣды дегенеративнаго состоянія нервной системы: Смердяковъ, несмотря на свой возрастъ и достаточное здоровье, совершенно индиферентенъ къ женщинамъ; Свидригайловъ всегда злоупотреблялъ въ этомъ отношеніи, кромѣ того, половыя влеченія его были настолько извращены, что онъ подвергался уголовной отвѣтственности за изнасилованіе малолѣтней горбатой.

Наконецъ нужно прибавить, чтобъ еще яснѣе указать, какъ вѣрно и глубоко Достоевскій зналъ такихъ больныхъ, что Смердяковъ страдалъ эпилептическими припадками, а Свидригайловъ не переносилъ спиртныхъ напитковъ; это уже очевидные признаки болѣзненнаго состоянія нервной системы, часто наблюдаемаго у лицъ съ нравственнымъ помѣшательствомъ.

Профану можетъ показаться неправдоподобной натяжкой, обусловленной самой техникой романиста, что оба больные окончили самоубійствомъ. На первый взглядъ кажется, что такимъ бы лицамъ и жить. Но и тутъ Достоевскій остался вѣренъ природѣ; ихъ самоубійство не только удобный конецъ для романиста, но и вполнѣ правдоподобно. Въ психіатріи извѣстны случаи самоубійства такихъ больныхъ: такіе случаи описаны Крафтомъ-Эбингомъ. Это явленіе не будетъ казаться страннымъ, если мы обратимъ вниманіе на то, что—при болѣе или менѣе полной нравственной нечувствительности, от-

сутствіи нравственныхъ сужденій и этическихъ понятій—ихъ мѣсто должны занимать выводимыя путемъ сложныхъ логическихъ процессовъ сужденія о полезномъ и вредномъ; что требованія должны быть заучены субъектомъ и остаются не окрашенными ни малѣйшимъ чувствованіемъ; что вся человѣческая культура, весь общественный строй дѣлается для такихъ больныхъ только стѣснительнымъ ярмомъ. Понятно, что жизнь для этихъ несчастныхъ должна быть тяжела, или по крайней мѣрѣ мало интересна. Вѣдь они лишены такимъ образомъ цѣлой суммы радости и страданій, доступныхъ всѣмъ людямъ.

Вотъ это-то прекрасно выяснено Достоевскимъ въ біографіи Свидригайлова; тутъ мы видимъ мастерской психологическій анализъ.

Свидригайловъ началъ свою жизненную карьеру кавалерійскимъ офицеромъ; но такъ какъ самая привлекательная сторона этой службы—честолюбіе, исполненіе извѣстныхъ правилъ чести, товарищество, вслѣдствіе неспособности его ко всѣмъ этимъ чувствамъ, потеряна, онъ бросаетъ службу, такъ какъ для него существовали только однѣ ея отрицательныя стороны: стѣсненіе, обязательный трудъ и т. п. Послѣ этого онъ начинаетъ жить одними чувственными наслажденіями, но тутъ обычный исходъ—разореніе и пресыщеніе; понятно, что такой человѣкъ не задумается въ выборѣ способовъ пріисканія денегъ: онъ дѣлается шулеромъ; въ его сознаніи и не возникало вопроса — нравственно или нѣтъ это занятіе: одно, что находитъ нужнымъ сказать онъ объ этомъ періодѣ своей жизни, это то, что его били за шулерство. Этимъ онъ даже нѣсколько гордится: по его понятіямъ, только у битыхъ бываетъ хорошая манера. Наконецъ, онъ становится нищимъ, жителемъ дома Вяземскаго, но въ сущности и такое паденіе его нисколько не смущаетъ; онъ не чувствуетъ унизительности такого положенія, даже того стыда, который свойственъ всѣмъ опустившимся такъ низко въ жизни; воспріимчивость къ чувственнымъ наслажденіямъ, вслѣдствіе излишества, совершенно притуплена; словомъ, грязь — въ прямомъ и переносномъ смыслѣ — дома Вяземскаго не дѣйствуютъ на его нервы, хотя очевидно, что для человѣка его воспитанія, такая жизнь должна быть крайне тяжела.

Но тутъ судьба сжалилась надъ нимъ: богатая женщина

платитъ его долги, съ помощью денегъ заминаетъ его дѣло объ изнасилованіи, дѣлаетъ его своимъ мужемъ. Свидригайловъ цинично выговариваетъ себѣ право брать въ наложницы ся горничныхъ, широко пользуется этимъ правомъ, и, такъ какъ жена его женщина добрая, то онъ нѣсколько лѣтъ прозябаетъ въ деревнѣ. Все ему надоѣло, ничего не занимаетъ его, ничто не волнуетъ; онъ совершенно безучастно относится къ женѣ, дѣтямъ; общественныхъ обязанностей помѣщика онъ не понимаетъ, потому что нравственныя чувства, лежащія въ ихъ основѣ, для него не существуютъ. Жизнь становится въ тягость; напрасно добродушная жена возила его за границу: благодаря отсутствію эстетическихъ чувствъ, интереса къ общественной жизни, ему было тамъ такъ же скучно, какъ дома. Однако за это время онъ ничего не дѣлаетъ дурного: ему никто ни въ чемъ не мѣшаетъ. Нѣкоторые готовы его считать даже добрымъ человѣкомъ; но насколько для него чуждо сочувствіе ближнему, это видно изъ того, что онъ, для развлеченія, до такой степени преслѣдовалъ своего лакея, смѣясь надъ его убѣжденіями, что довелъ его до самоубійства. Конечно, Свидригайловъ не виноватъ въ смерти этого лакея: вѣдь, онъ не чувствовалъ и не понималъ, что могутъ значить для человѣка завѣтныя убѣжденія, потому что у него самого не могло быть убѣжденій, ничего завѣтнаго, дорогого. Онъ виноватъ въ этомъ случаѣ столько же, какъ школьники, дразнящіе другъ друга, или человѣкъ, трунящій надъ наружностью, платьемъ и т. п. Но вотъ онъ встрѣчается съ дѣвушкой, возбуждающею въ немъ половое влеченіе (почему, это дѣло романиста); ухаживанія его остаются безъ успѣха; Свидригайловъ думаетъ, что дѣвушка потому не отдается ему, что онъ женатъ. Сомнѣнья въ томъ,— что еслибъ онъ могъ жениться на ней, то она, какъ бѣдная, согласилась бы на его предложеніе,—и быть не можетъ для него: онъ не понимаетъ, что онъ возбуждаетъ отвращеніе, такъ какъ для него недоступны—сознаніе собственной гадости и оцѣнка нравственной прелести этой дѣвушки. Да и вообще для него неясно, что многіе люди въ своихъ мужьяхъ и женахъ ищутъ извѣстныхъ нравственныхъ достоинствъ. Единственное, по его мнѣнію, препятствіе, жену—женщину, спасшую его отъ долговой тюрьмы и каторги, любившую его и заботившуюся о немъ, равнодушно убиваетъ, бросаетъ дѣтей и ѣдетъ за Раскольниковою; но тутъ онъ видитъ окон-

чательную невозможность достичь своей цѣли. Можетъ показаться, что у него обнаружилось какое-то нравственное чувство, когда онъ не воспользовался безпомощнымъ положеніемъ Раскольниковой, но проще и вѣрнѣе другое объясненіе. Свидригайловъ, какъ утонченный развратникъ, могъ желать взаимности, между тѣмъ онъ убѣдился, что Раскольникова питаетъ къ нему физическое отвращеніе; едва ли нужно говорить, что даже въ чисто физическомъ наслажденіи взаимность играетъ большую роль. Пресыщенный Свидригайловъ не нашелъ именно того, чего искалъ; удовлетвореніе же животной страсти для него, какъ человѣка все-таки истощеннаго, не имѣло особой цѣны; такъ что кажущееся великодушіе Свидригайлова явилось результатомъ просто его пресыщенности. Естественный выходъ изъ такой жизни — самоубійство, такъ какъ ничего не осталось привязывающаго къ жизни, нѣтъ желанія, нѣтъ какихъ-либо интересовъ, нѣтъ ничего въ будущемъ. Свидригайловъ разбрасываетъ деньги и умираетъ, даже не вспомнивъ о своихъ дѣтяхъ въ предсмертныя минуты; только картины личной жизни мелькаютъ въ его головѣ, ни одного друга, ни одного ближняго онъ не вспоминаетъ, не съ кѣмъ ему проститься, не о комъ пожалѣть. Онъ умираетъ равнодушный ко всему, даже къ самому себѣ; въ свою очередь никто не пожалѣетъ о немъ, ничего онъ не оставилъ, ни чьи человѣческіе интересы не пострадали отъ его смерти. Между тѣмъ Свидригайловъ былъ образованъ, воспитанъ, богатъ, красивъ; онъ имѣлъ полное право на счастливую жизнь, но нравственная слѣпота сдѣлала для него жизнь тяжелою, довела его до самоубійства. Въ заключеніе позволю себѣ замѣтить, что, по моему мнѣнію, фигура Свидригайлова самая лучшая во всѣхъ произведеніяхъ Достоевскаго. Вѣрность психологическаго анализа и отсутствіе перерисовки, чѣмъ грѣшитъ Достоевскій такъ часто, придаетъ этому образу крайнюю живость; кромѣ того, Свидригайловъ, можно сказать, единственный (за исключеніемъ Смердякова, очерченнаго гораздо слабѣе) во всей литературѣ типъ человѣка, страдающаго нравственнымъ помѣшательствомъ. Все это, смѣю думать, даетъ ему право на большее вниманіе, чѣмъ до сихъ поръ это было со стороны критики и публики. Можетъ быть, изо всѣхъ типовъ, созданныхъ Достоевскимъ, одинъ Свидригайловъ останется безсмертнымъ.

В. Чижъ.

* * *

*) Въ *теоретичности* преступленія заключается весь ужасъ, весь безконечный трагизмъ положенія Раскольникова. Для него закрытъ послѣдній исходъ согрѣшившихъ — раскаяніе, для него — нѣтъ раскаянія, потому что и послѣ убійства, когда угрызенія жгутъ его, онъ продолжаетъ твердо вѣрить въ свои убѣжденія, оправдывающія убійство.—„Вотъ въ чемъ одномъ признавалъ онъ свое преступленіе: только въ томъ, что *не вынесъ его*, и сдѣлалъ явку съ повинною". Онъ убилъ принципъ, и его преступленіе настолько глубже, сложнѣе и непоправимѣе обыкновеннаго эгоистическаго нарушенія закона, напримѣръ, грабежа, что о послѣднемъ онъ мечтаетъ, какъ о счастьѣ. „Знаешь, что я тебѣ скажу, признается онъ Сонѣ, если бы только я зарѣзалъ изъ того, что голоденъ былъ, то я бы теперь... *счастливъ* былъ! Знай ты это!"

Самая отвлеченная, неутолимая и разрушительная изъ страстей—фанатизмъ, страсть идеи. Она создаетъ великихъ аскетовъ, неуязвимыхъ ни для какихъ искушеній, она закаляетъ душу, даетъ ей почти сверхъестественныя силы и захватываетъ, пронизываетъ личность до самыхъ глубокихъ корней. Мгновенный огонь другихъ страстей передъ страшно-медленнымъ, но непобѣдимымъ жаромъ фанатизма, все равно, что горящая солома — передъ раскаленнымъ металломъ. Дѣйствительность не въ состояніи дать фанатику ни одной минуты не только пресыщенья, но даже временнаго утоленія, потому что онъ преслѣдуетъ недостижимую цѣль—воплотить въ жизни *теоретическій* идеалъ. Чѣмъ болѣе сознаетъ онъ невозможность цѣли, неутолимость страсти, тѣмъ болѣе страсть ожесточается. Есть что-то по истинѣ ужасающее и почти нечеловѣческое въ такихъ фанатикахъ идеи, какъ Робеспьеръ и Кальвинъ. Посылая на костеръ за Бога или подъ гильотину за свободу тысячи невинныхъ, проливая кровь рѣкой, они искренно считаютъ себя благодѣтелями человѣческаго рода и великими праведниками. Жизнь, страданія людей—для нихъ ничто, теорія, логическая формула — все. Они пролагаютъ свой страшный, кровавый путь въ человѣчествѣ такъ же неумолимо и безстрастно, какъ лезвіе холодной, ясной, отточенной стали врѣзывается въ живое тѣло.

Къ такому типу фанатиковъ идеи, къ Робеспьерамъ, Каль-

*) Д. С. Мережковскій. Изъ его книги: „О причинахъ упадка и о новыхъ теченіяхъ современной русской литературы".

винамъ, Торквемадамъ принадлежитъ и Раскольниковъ, но не всецѣло, а только одною изъ сторонъ своего существа.

Онъ *хотѣлъ бы быть* однимъ изъ великихъ фанатиковъ,— это его идеалъ. У него есть съ ними несомнѣнно общія черты: то же высокомѣріе и презрѣніе къ людямъ, та же неумолимая жестокость логическихъ выводовъ и готовность проводить ихъ въ жизнь какою бы то ни было цѣной, тотъ же страстный, аскетическій жаръ и мрачный восторгъ фанатизма, та же громадная сила воли и вѣры. Уже послѣ преступленія, измученный, почти побѣжденный, онъ все еще вѣритъ въ свою идею, онъ опьяненъ ея величіемъ и красотой: „у меня тогда одна мысль выдумалась въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ солнце, представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не посмѣлъ и не смѣетъ, проходя мимо всей этой нелѣпости, взять просто-на-просто все за хвостъ и стряхнуть къ чорту! Я... я захотѣлъ *осмѣлиться,* и убилъ... я только осмѣлиться захотѣлъ... вотъ вся причина!...“ „И не деньги, главное, нужны мнѣ были. Мнѣ другое надо было узнать, другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо было узнать тогда, и поскорѣй узнать, вошь ли я, какъ всѣ, или человѣкъ. Смогу ли я преступить или не смогу? Осмѣлюсь ли нагнуться и взять или нѣтъ? Тварь ли я дрожащая или *право* имѣю?..“ Достоевскій прямо отмѣчаетъ въ Раскольниковѣ эту беспощадность и бездушіе теоріи, свойственныя фанатикамъ: „казуистика его, говоритъ авторъ, выточилась, какъ бритва“. Даже мать, несмотря на любовь къ сыну, чувствуетъ въ Раскольниковѣ эту всеразрушающую силу страсти, которую въ немъ можетъ зажечь только отвлеченная идея: „его характеру я никогда не могла довѣриться, даже когда ему было только пятнадцать лѣтъ. Я увѣрена, что онъ и теперь вдругъ что-нибудь можетъ сдѣлать съ собою такое, чего ни одинъ человѣкъ никогда и не подумаетъ сдѣлать...“

„...Вы думаете его бы остановили мои слезы, мои просьбы моя болѣзнь, моя смерть, можетъ-быть, съ тоски, наша нищета? Преспокойно бы перешагнулъ черезъ всѣ препятствія. А неужели онъ, неужели же онъ насъ не любитъ?“

Но фанатизмъ идеи *только одна сторона* его характера. Въ немъ есть и нѣжность, и любовь, и жалость къ людямъ, и слезы умиленія.

Вотъ въ чемъ его слабость, вотъ что его губитъ.

Разумихинъ правду говоритъ: въ Раскольниковѣ „точно два противоположные характера поочередно смѣняются". Въ немъ живутъ и борются двѣ души. Онъ убиваетъ и плачетъ, умиляется надъ своими жертвами; если не надъ старухой, то надъ Лизаветой съ „кроткими и тихими" глазами. А настоящіе герои, великіе преступники закона не плачутъ и не умиляются. Кальвинъ, Робеспьеръ, Торквемада не чувствовали чужихъ страданій, въ этомъ ихъ сила, ихъ цѣльность, они какъ будто высѣчены изъ одной глыбы гранита, а въ героѣ Достоевскаго есть уже вѣчный источникъ слабости—раздвоенность, расколотость воли. Эту слабость, погубившую его, онъ и самъ сознаетъ: „нѣтъ, тѣ люди не такъ сдѣланы; настоящій *властелинъ*, кому все разрѣшается, громитъ Тулонъ, дѣлаетъ рѣзню въ Парижѣ, *добываетъ* армію въ Египтѣ, *тратитъ* полмилліона людей въ московскомъ походѣ и отдѣлывается каламбуромъ въ Вильнѣ; и ему же, по смерти, ставятъ кумиры,—а стало-быть и *все* разрѣшается. Нѣтъ, на этакихъ людяхъ, видно, не тѣло, а бронза!"

Послѣ преступленія онъ содрогнулся не потому, что у него руки въ крови, что онъ преступникъ, а потому что онъ допустилъ сомнѣніе, „не преступникъ ли онъ?" Между тѣмъ такое сомнѣніе—признакъ слабости, и на него неспособны тѣ, кто имѣютъ право преступать законъ. „Потому я... вошь—прибавилъ онъ, скрежеща зубами—потому, что самъ-то я, можетъ-быть, еще сквернѣе и гаже, чѣмъ убитая вошь, и заранѣе *предчувствовалъ*, что скажу себѣ это уже *послѣ* того, какъ убью!.. Да развѣ съ этакимъ ужасомъ что-нибудь можетъ сравниться. О, пошлость! О, подлость! О, какъ я понимаю „пророка", съ саблей, на конѣ: велитъ Аллахъ, и повинуйся „дрожащая" тварь! Правъ, правъ „пророкъ", когда ставитъ гдѣ-нибудь поперекъ улицы хор-р-рошую батарею и дуетъ въ праваго и виноватаго, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь и—*не желай*, потому, не твое это дѣло!.. О, ни за что, ни за что не прощу старушонкѣ!"

Горе великимъ преступникамъ закона, если въ ихъ душѣ, сожженной страстью идеи, сохранилось хоть что-нибудь человѣческое! Горе людямъ изъ бронзы, если хоть одинъ уголокъ ихъ сердца остался живымъ! Довольно слабаго крика совѣсти, чтобъ они проснулись, поняли и погибли.

Байронъ создалъ новаго человѣка, такъ сказать, новую

героическую душу,—въ Корсарѣ, Чайльдъ-Гарольдѣ, Каинѣ, Манфредѣ. Въ то время носились въ воздухѣ сѣмена, зародыши тѣхъ настроеній, которыя поэтъ сумѣлъ выразить.

Жюльенъ Сорель, герой великаго, но, къ сожалѣнію, мало извѣстнаго въ Россіи романа Стендаля *Le Rouge et le noir*, по духу родной братъ байроновскихъ героевъ, хотя онъ созданъ совершенно самостоятельно, помимо вліянія Байрона.

Въ Печоринѣ Лермонтова, несмотря на сходство съ излюбленнымъ типомъ эпохи, тоже гораздо больше оригинальнаго, взятаго изъ живой дѣйствительности, чѣмъ подражанія англійскому образцу, иначе этотъ типъ не могъ бы быть такимъ реальнымъ и художественнымъ обобщеніемъ цѣлаго періода русской жизни. Манфредъ, Жюльенъ Сорель, Печоринъ—старѣйшіе родоначальники многихъ поколѣній героевъ, наполнившихъ литературу XIX вѣка; самые отдаленные отпрыски ихъ сложнаго генеалогическаго дерева простираются почти до нашего времени.

Вотъ характерныя черты этихъ героевъ: всѣ они изгнанники изъ общества, живутъ съ нимъ въ непримиримомъ разладѣ, презираютъ людей, потому что люди рабы,—

Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ—
И просятъ денегъ да цѣпей!

Толпа ненавидитъ этихъ изгнанниковъ, но они гордятся проклятьемъ толпы. Въ нихъ есть что-то *хищное*, нелюдимое и вмѣстѣ съ тѣмъ *царственное*. Какъ орлы вьютъ себѣ гнѣзда на недоступныхъ скалахъ, такъ они живутъ далеко отъ людей, на холодной и одинокой высотѣ; они—мятежные, любятъ бури и скорѣе умрутъ, чѣмъ примирятся съ пошлостью: они ненавидятъ темницу, которую люди зовутъ культурнымъ обществомъ.

Начиная съ самоотверженнаго участія къ угнетеннымъ, они нерѣдко кончаютъ пролитіемъ невинной крови. Жюльенъ Сорель убиваетъ женщину, которую любитъ. Печоринъ губитъ Бэлу почти сознательно. Человѣческая кровь, преступленіе тяготѣетъ на совѣсти Корсара, Манфреда, Каина. Все это—преступники, непризнанные герои, подражатели великихъ людей, присвоившіе себѣ право „преступать законъ“, „позволившіе себѣ кровь по совѣсти“.

Преступность даетъ имъ въ глазахъ толпы характерную черту *демонизма*. Это падшіе и омраченные ангелы, бывшіе когда-то самыми свѣтлыми изъ херувимовъ.

Я не вижу никакой связи между созданіями Байрона и романомъ Достоевскаго. Здѣсь не можетъ быть рѣчи о самомъ отдаленномъ вліяніи. Но, подобно тому, какъ Гамлетъ — великій первообразъ типовъ, которые встрѣчаются и въ наше время и въ нашемъ обществѣ, несмотря на различіе условій, такъ и въ Манфредѣ, и въ Печоринѣ, и въ Раскольниковѣ есть нѣчто міровое, вѣчное, связанное съ основами человѣческой природы, и вслѣдствіе этого повторяющееся въ самыхъ различныхъ обстановкахъ.

Въ героѣ Достоевскаго та же ненависть къ толпѣ, тотъ же страстный и непримиримый протестъ противъ общества, какъ и въ байроновскихъ типахъ. Онъ тоже презираетъ людей, видитъ въ нихъ насѣкомыхъ, которыхъ „властелинъ" имѣетъ право раздавить. Проливъ кровь, онъ тоже считаетъ себя не виноватымъ, а только непонятымъ. Когда Соня убѣждаетъ его покаяться, „принять страданіе" и признаться во всемъ, онъ отвѣчаетъ ей надменно: „Не будь ребенкомъ, Соня... Въ чемъ я виноватъ предъ ними? Зачѣмъ пойду? Что имъ скажу? Все это одинъ лишь призракъ... Они сами милліонами людей изводятъ, да еще за добродѣтель почитаютъ. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. Да и что я скажу, что убилъ, а денегъ взять не посмѣлъ?.. Такъ, вѣдь, они же надо мной сами смѣяться будутъ, скажутъ: дуракъ, что не взялъ. Трусъ и дуракъ! Ничего, ничего не поймутъ они, Соня, и недостойны понять. Зачѣмъ я пойду?.. не пойду!" Та же непобѣдимая гордость, самомнѣніе и злоба, доводящая до пролитія крови, до преступленія, какъ въ Манфредѣ, Печоринѣ, Жюльенѣ Сорелѣ. Они тоже презираютъ законы и людей. „Кто много посмѣетъ, тотъ у нихъ и правъ. Кто на большое можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и законодатель". Что для героя ихъ лицемѣрная нравственность, когда вся жизнь людей сплошная жестокость и неправда?

„Преступленіе?.. Какое преступленіе?.. То, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, которую убить сорокъ грѣховъ простятъ, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала, — и это-то преступленіе? Не думаю я о немъ и смывать его не думаю..." — „Братъ, братъ, что ты это гово-

ришь? Но вѣдь ты кровь пролилъ!..“ въ отчаяніи вскричала Дуня (сестра Раскольникова). — „Которую всѣ проливаютъ!“ подхватилъ онъ чуть не въ изступленіи,—„которая льется и всегда лилась на свѣтѣ, какъ водопадъ, которую льютъ какъ шампанское и за которую вѣнчаютъ въ Капитоліи и называютъ благодѣтелемъ человѣчества... *Я рѣшительно не понимаю, почему лупить въ людей бомбами, правильною осадой болѣе почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признакъ безсилія*“. Его убійство не такъ красиво, но за то и не такъ преступно, какъ тѣ *законныя* убійства, которыя позволяютъ себѣ общество. И эта грязная толпа, эта подлая чернь осмѣлится судить героя, который могъ бы ихъ всѣхъ раздавить, еслибъ удача была на его сторонѣ.—„Неужели, восклицаетъ онъ въ бѣшенствѣ, въ эти будущія пятнадцать, двадцать лѣтъ такъ уже смирится душа моя, что я съ благоговѣніемъ буду хныкать предъ людьми, называя себя ко всякому слову разбойникомъ? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылаютъ меня теперь, этого-то имъ надобно... Вотъ они снуютъ всѣ по улицѣ взадъ и впередъ, и вѣдь всякій-то изъ нихъ подлецъ и разбойникъ уже по натурѣ своей, хуже того, идіотъ! А попробуй обойти меня ссылкой, и всѣ они взбѣсятся отъ благороднаго негодованія! О, какъ я ихъ всѣхъ ненавижу!“

Хищное дикое и гордое начало его природы въ немъ возмущается. Въ сосредоточенной ненависти къ людямъ онъ даже превзошелъ байроновскихъ героевъ.

И, однако, какъ они, Раскольниковъ тоже иногда воображаетъ, что любитъ людей, что нѣжность его отвергнута и непонята. Любовь его книжная, отвлеченная, холодная, та же самая любовь, какъ у Манфреда и Жюльена Сореля. Онъ „*для себя лишь хочетъ воли*“. Какъ байроновскіе герои, онъ аристократъ до мозга костей, несмотря на свою бѣдность и униженіе. Въ его поразительной красотѣ тоже есть признакъ „власти“.

Это тонкій и стройный молодой человѣкъ, съ огненными черными глазами и блѣднымъ лицомъ, внушаетъ всѣмъ почтеніе или даже суевѣрный страхъ. Простые люди видятъ въ немъ что-то „*демоническое*“,—Соня прямо говоритъ, что „Богъ его предалъ дьяволу“. Человѣкъ изъ толпы, Разумихинъ, сознавая его неправоту, преклоняется и почти трепещетъ предъ нимъ,—совсѣмъ какъ Максимъ Максимовичъ предъ Печори-

нымъ. Какъ байроновскій герой, онъ обладаетъ громадною силой, но тратитъ ее безъ пользы, потому что онъ тоже слишкомъ мечтатель, въ немъ тоже нѣтъ ничего практическаго, онъ презираетъ дѣйствительность.

Онъ тоже любитъ одиночество: „я тогда, какъ паукъ, къ себѣ въ уголъ забился... О, какъ ненавидѣлъ я эту конуру! А всетаки выходить изъ нея не хотѣлъ. Нарочно не хотѣлъ!“

Онъ тоже и послѣ пораженія не считаетъ себя побѣжденнымъ. Когда все противъ него, когда спасенія нѣтъ, и онъ готовъ идти въ полицію сдѣлать явку съ повинною, въ немъ пробуждается прежняя гордая вѣра, и онъ восклицаетъ съ страшною силой убѣжденія: „болѣе, чѣмъ когда-нибудь не понимаю моего преступленія! Никогда, никогда не былъ я сильнѣе и убѣжденѣе, чѣмъ теперь!“ На утѣшенія сестры, на слезы ея, онъ отвѣчаетъ надменно: „не плачь обо мнѣ: я постараюсь быть и мужественнымъ, и честнымъ, всю жизнь, хоть я и убійца. Можетъ быть, ты услышишь когда нибудь мое имя. Я не осрамлю васъ... увидишь; *я еще докажу*“... Это гордый и мятежный вызовъ *падшихъ, но не побѣжденныхъ*, вызовъ Печорина судьбѣ, Жюльена—обществу, Каина—Небу. Протестъ противъ соціальнаго строя, презрѣніе къ людямъ на дѣлѣ и отвлеченная холодная любовь къ нимъ на словахъ, самомнѣніе, одиночество, отрицаніе всѣхъ традицій, аристократизмъ, „признакъ власти“, гордость, преступленіе, громадная сила воли и полная непрактичность,—всѣ эти черты, сближающія Раскольникова съ Манфредомъ, Печоринымъ и Жюльеномъ указываютъ на то, что здѣсь не случайное совпаденіе, а дѣйствительное сходство характеровъ.

Но въ Раскольниковѣ нѣтъ уже ничего романическаго: душа его освѣщена до глубины неумолимо-реальнымъ психологическимъ анализомъ. О малѣйшей идеализаціи тутъ и рѣчи быть не можетъ. Вмѣсто крылатаго духа, корсара или по крайней мѣрѣ лорда—предъ нами бѣдный студентъ, оставившій университетъ по недостатку средствъ, почти нищій въ лохмотьяхъ. Авторъ не думаетъ скрывать или прикрашивать его слабости. Онъ показываетъ, что гордость, одиночество, преступленіе Раскольникова происходятъ не отъ силы и превосходства его надъ людьми, а скорѣе отъ недостатка любви и знанія жизни. Такимъ образомъ, прежній грандіозный и мрачный герой сведенъ съ пьедестала и развѣнчанъ. Ключъ за-

гадки найденъ, и она отчасти потеряла романическую привлекательность. Да и самому Раскольникову трудно себя идеализировать. Корсаръ, Печоринъ, Жюльенъ постоянно рисуются, какъ будто роль играютъ, наивно вѣрятъ въ свою правоту и силу. А герой Достоевскаго уже сомнѣвается, правъ ли онъ. Тѣ умираютъ непримиримыми, а для него это состояніе гордаго одиночества и разрыва съ людьми только временный кризисъ, *переходъ къ другому міросозерцанію.*

Онъ смѣется надъ религіознымъ чувствомъ, и однако со слезами умиленія проситъ Полечку помолиться за него, помянуть „и раба Родіона“. Съ какою нѣжностью вспоминаетъ онъ свою бывшую невѣсту, которую полюбилъ, какъ способны любить только люди очень самоотверженные,—изъ состраданія. „Дурнушка такая... собой. Право не знаю, за что я къ ней тогда привязался, кажется, за то, что всегда больная... Будь она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ... Такъ... какой-то бредъ весенній былъ“... Во снѣ Раскольникова, въ которомъ отражаются воспоминанія дѣтства, то же состраданіе къ несчастному и угнетенному существу; пьяные мужики сѣкутъ бѣдную клячу, запряженную въ огромную, тяжелую телѣгу. Мальчикъ „бѣжитъ подлѣ лошадки, онъ забѣгаетъ впередъ, онъ видитъ какъ ее сѣкутъ по глазамъ, по самымъ глазамъ! Онъ плачетъ; сердце въ немъ подымается, слезы текутъ. Одинъ изъ сѣкущихъ задѣваетъ его по лицу; онъ не чувствуетъ, онъ ломаетъ свои руки, кричитъ, бросается къ сѣдому старику съ сѣдою бородой, который качаетъ головой и осуждаетъ все это“. Наконецъ, лошаденку засѣкли до смерти. Она падаетъ. „Бѣдный мальчикъ уже не помнитъ себя. Съ криками пробивается онъ сквозь толпу къ савраскѣ, обхватываетъ ея мертвую, окровавленную морду и цѣлуетъ ее, цѣлуетъ ее въ глаза, въ губы“...

Озлобленный и гордый, Раскольниковъ способенъ иногда къ величайшему смиренію. Онъ идетъ въ полицію сдѣлать явку съ повинною. Въ душѣ его нѣтъ раскаянія; въ ней только ужасъ и чувство одиночества. Онъ вдругъ вспоминаетъ слова Сони: „Поди на перекрестокъ, поклонись народу, поцѣлуй землю, потому что ты и передъ ней согрѣшилъ, и скажи всему міру вслухъ: „я убійца!“ Онъ весь задрожалъ, припомнивъ все это... *Онъ сталъ на колѣни среди площади,*

поклонился до земли и поцѣловалъ эту грязную землю съ наслажденіемъ и счастіемъ".

Въ Раскольниковѣ крайнее развитіе личности—одинокой, мятежной и возставшей противъ общества—дошло до послѣдней границы, до той черты, за которою или гибель, или переходъ къ другому міросозерцанію.

Раскольниковъ дошелъ путемъ ожесточеннаго протеста до отрицанія нравственныхъ законовъ, до того, что, наконецъ, свергнулъ съ себя, какъ ненужное бремя, какъ предразсудокъ, всѣ обязательства Долга; Онъ *по совѣсти* позволилъ себѣ кровь". На людей смотритъ онъ даже не какъ на рабовъ, а какъ на гадкихъ насѣкомыхъ, которыхъ слѣдуетъ раздавить, если они мѣшаютъ герою. На этой ледяной теоретической высотѣ, въ этомъ странномъ одиночествѣ, кончается всякая жизнь. И онъ неминуемо долженъ бы погибнуть, еслибы въ душѣ его не было скрыто другое начало. Достоевскій довелъ его до момента, когда въ немъ пробуждается подавленное, но не убитое религіозное чувство.

Авторъ покидаетъ героя въ ту минуту, когда онъ на каторгѣ въ Сибири задумался надъ Евангеліемъ, еще не смѣя открыть его.

* * *

Достоевскій приводитъ въ связь преступленіе Раскольникова съ современнымъ ему настроеніемъ общества и съ господствовавшими въ ту эпоху идеями. По поводу спора о томъ, слѣдуетъ ли съ нравственной точки зрѣнія оправдать убійство старухи-процентщицы въ виду пользы, которую можно принести посредствомъ ея денегъ—авторъ замѣчаетъ: „все это были самые обыкновенные и самые частые, не разъ уже слышанные имъ, въ другихъ только формахъ и *на другіе темы—молодыя разговоры и мысли*". Раскольниковъ участвуетъ въ литературномъ движеніи эпохи, въ которую происходитъ дѣйствіе романа, т. е. шестидесятыхъ годовъ. Свои завѣтныя мысли онъ высказываетъ въ статьѣ *О преступленіи*, напечатанной въ *Періодической рѣчи*.

„По моему, еслибы Кеплеровы и Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ нибудь комбинацій, никоимъ образомъ не могли бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертво-

ваніемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ этому открытію, или ставшихъ бы на пути, какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ бы право, и даже былъ бы обязанъ... устранить этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать извѣстными свои открытія всему человѣчеству“. Вотъ убѣжденія Раскольникова во всей ихъ рѣзкой, теоретической наготѣ.

Вопросъ этотъ сводится къ другому, болѣе глубокому и важному: что именно является критеріумомъ добра и зла: наука ли, которая путемъ открытія неизмѣнныхъ законовъ опредѣляетъ *общую пользу* и посредствомъ нея дастъ оцѣнку нашихъ поступковъ, или же внутренній голосъ совѣсти, чувство долга, вложенное въ насъ самимъ Творцомъ, *божественный инстинктъ*, непогрѣшимый, не нуждающійся въ помощи разума? Наука или религія?

Что выше—счастье людей или выполненіе законовъ, предписываемыхъ нашею совѣстью; можно ли въ частныхъ случаяхъ нарушать нравственныя правила для достиженія общаго блага, какъ бороться со зломъ и насиліемъ, только идеями, или идеями и *тоже насиліемъ*,—въ этихъ вопросахъ—боль и тоска нашего времени, то, надъ чѣмъ мы страдаемъ и думаемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ они составляютъ главную ось романа. Такимъ образомъ, *онъ дѣлается воплощеніемъ одной изъ великихъ болѣзней современной жизни:* это гордіевъ узелъ, который разрубить суждено только героямъ будущихъ временъ.

Соня возмущена, когда Раскольниковъ предлагаетъ ей отвлеченно-логическій вопросъ о сравнительной цѣнности двухъ жизней негодяя Лужина и бѣдной, честной женщины Катерины Ивановны Мармеладовой.

„— Зачѣмъ спрашивать, чему быть невозможно? съ отвращеніемъ сказала Соня.

— Стало-быть, лучше Лужину жить и дѣлать мерзости? Вы и этого рѣшить не осмѣлились?

„— Да, вѣдь, я Божья Промысла знать не могу... И *къ чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать?* Къ чему такіе пустые вопросы? Какъ можетъ случиться, чтобъ это отъ моего рѣшенія зависѣло? И кто меня тутъ судьей поставилъ: кому жить, кому не жить?“

Соня чувствуетъ безконечную трудность и сложность жизни; она знаетъ, что рѣшать подобные вопросы нельзя исключи-

тельно на теоретической почвѣ, заглушивъ въ себѣ голосъ совѣсти, потому что одинъ уголокъ дѣйствительности можетъ представить милліоны самыхъ неожиданныхъ конкретныхъ случаевъ, которые спутаютъ, собьютъ абстрактное рѣшеніе, превратятъ его въ нелѣпость: „съ одною логикой, восклицаетъ Разумихинъ, нельзя черезъ натуры перескочить! Логика предугадаетъ три случая, а ихъ милліонъ!“

Но особенно ясно невѣрность и нелѣпость нравственной „ариометики“ Раскольникова обнаруживается въ непредвидѣнныхъ послѣдствіяхъ преступленія для окружающихъ людей. Развѣ Раскольниковъ могъ думать, что вмѣстѣ со старухой ему придется убить неповинную ни въ чемъ Лизавету, которая была, по выраженію Сони, „справедливая и Бога узритъ“. Онъ „бросился на нее съ топоромъ“. Бѣдная Лизавета гибнетъ потому, что герой сдѣлалъ маленькую ошибку въ своемъ ариометическомъ разсчетѣ!

Нравственно ему совершенно также придется убить и Соню въ минуту, когда онъ признается ей во всемъ. Такое же неожиданное слѣдствіе преступленія—попытка самоубійства несчастнаго мужичка, случайно заподозрѣннаго въ убійствѣ. Дуня, которую онъ надѣялся спасти отъ Свидригайлова на деньги старухи, оказывается, именно благодаря преступленію въ рукахъ Свидригайлова; этотъ послѣдній узналъ, что Раскольниковъ—убійца, и открытіе тайны дало ему страшную власть надъ Дуней. Развѣ, наконецъ, могъ онъ предвидѣть, что мать его умретъ отъ невыносимаго сознанія, что сынъ ея—убійца.

Въ теоріи существованіе старухи безполезно и даже вредно, можно было, повидимому такъ легко и спокойно зачеркнуть его, какъ зачеркиваютъ лишнія слова въ написанной фразѣ. Но въ дѣйствительности жизнь никому ненужнаго существа, тысячами невидимыхъ и недоступныхъ анализу нитей, оказалась связанною съ жизнью людей совершенно ей чуждыхъ,—начиная отъ маляра Миколки, кончая матерью Раскольникова. Значитъ не совсѣмъ былъ неправъ голосъ совѣсти, говорившій ему: „не убій!“, голосъ сердца, который онъ презрѣлъ съ высоты своихъ отвлеченныхъ теорій: *значитъ, нельзя всецѣло предаться разуму и логикѣ, рѣшая нравственный вопросъ. Оправданіе божественнаго инстинкта сердца, который отрицается гордымъ и помраченнымъ разсудкомъ, а не истиннымъ знаніемъ—вотъ одна изъ великихъ идей романа.*

Въ жизни ужаснѣе всего не зло, даже не побѣда зла надъ добромъ, потому что можно надѣяться, что эта побѣда временная, а тотъ роковой законъ, по которому зло и добро иногда въ одномъ и томъ же поступкѣ, въ одной и той же душѣ такъ смѣшаны, слиты, спутаны и переплетены, что почти невозможно отличить другъ отъ друга. Зло и порокъ обладаютъ не только громадною силой искушенія въ нашей чувственной природѣ, но и громадною силой софизма въ нашемъ умѣ. Первобытные духи зла, несмотря на чудовищные животные аттрибуты, не такъ ужасны, какъ Мефистофель, который беретъ у человѣчества самое опасное и тонкое оружіе — смѣхъ, какъ Люциферъ, который беретъ у неба самый чистый и свѣтлый лучъ—красоту!

Вѣчный споръ Ангела и Демона происходитъ въ нашей собственной совѣсти, и ужаснѣе всего то, что мы иногда не знаемъ, кого изъ нихъ больше любимъ, кому больше желаемъ побѣды. Не только наслажденіями привлекаетъ насъ Демонъ, а еще и *соблазномъ своей правоты:* мы сомнѣваемся, не есть ли онъ непонятая часть, непризнанная сторона истины; наше слабое и гордое сердце не можетъ не откликнуться на возмущеніе, непокорность и свободу Люцифера!

Всѣ три основныя, параллельно развивающіяся завязки романа—драма Раскольникова, Сони и Дуни — стремятся въ сущности къ одной цѣли—показать загадочное, роковое смѣшеніе въ жизни добра и зла.

Это смѣшеніе въ поступкѣ Раскольникова, оно лежитъ въ основаніи его трагическаго положенія. Онъ стремится къ добру посредствомъ зла, преступаетъ нравственный законъ во имя общаго блага. Но развѣ не то же самое дѣлаетъ сестра его Дуня. Она продаетъ себя Лужину, чтобы спасти брата. Подобно тому, какъ Раскольниковъ приноситъ въ жертву чужую жизнь во имя любви къ людямъ, такъ она во имя любви къ нему жертвуетъ своею совѣстью. „Дѣло ясное, восклицаетъ Раскольниковъ въ негодованіи,—для себя, для комфорта своего, даже для спасенія себя отъ смерти не продастъ себя, а для другого вотъ и продастъ! Для милаго, для обожаемаго человѣка, продастъ! Вотъ въ чемъ вся наша штука-то и состоитъ: за брата, за мать продастъ! Все продастъ! О, тутъ мы при случаѣ и нравственное чувство наше придавимъ: свободу, спокойствіе, даже совѣсть, все, все на Толкучій рынокъ

снесемъ. Пропадай жизнь!.. Мало того, свою собственную казуистику выдумаемъ, у іезуитовъ научимся, и на время, пожалуй, и себя самихъ успокоимъ, убѣдимъ себя, что такъ надо, дѣйствительно, надо *для доброй цѣли*". Раскольниковъ видитъ ясно ошибку Дуни, но онъ не замѣчаетъ, что *это и его собственная ошибка,* что онъ тоже *для доброй цѣли* рѣшился на недобрый поступокъ. „Этотъ бракъ—подлость, говоритъ онъ Дунѣ.—Пусть я подлецъ, а ты не должна... одинъ кто-нибудь... а я хоть-и подлецъ, но такую сестру сестрой считать не буду. Или я или Лужинъ!.."

Онъ называетъ себя подлецомъ, а Порфирій видитъ въ немъ мученика, еще не нашедшаго Бога, за котораго бы умереть; Дуню Раскольниковъ упрекаетъ тоже въ подлости, можетъ быть, онъ правъ, но къ этой подлости примѣшивается высокій героизмъ; она, какъ братъ, *наполовину преступница, наполовину святая:* „Знаете, говоритъ Свидригайловъ, который вовсе не склоненъ къ идеализму, мнѣ всегда было жаль съ самаго начала, что судьба не дала родиться вашей сестрѣ во второмъ или третьемъ столѣтіи нашей эры, гдѣ нибудь дочерью владѣтельнаго князька, или тамъ какого нибудь правителя, или проконсула въ Малой Азіи. Она, безъ сомнѣнія, была бы одна изъ тѣхъ, которыя претерпѣли *мученичество,* и ужъ, конечно бы, улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а въ четвертомъ и въ пятомъ вѣкахъ ушла бы въ Египетскую пустыню и жила бы тамъ тридцать лѣтъ, питаясь кореньями, восторгами и видѣніями. *Сама она только того и жаждетъ, и требуетъ, чтобы за кого нибудь какую нибудь муку поскорѣе принять, а не дай ей этой муки, такъ она, пожалуй, и въ окно выскочитъ*".

Соня Мармеладова — тоже мученица. Она продаетъ себя, чтобы спасти семью. Какъ Раскольниковъ и Дуня, она „преступила законы", согрѣшила во имя любви, тоже *хочетъ зломъ достигнуть добра.* „Ты великая грѣшница, говоритъ ей Раскольниковъ, пуще всего тѣмъ ты грѣшница, что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы это не ужасъ. Еще бы не ужасъ, что ты живешь въ этой грязи, которую такъ ненавидишь и въ то же время знаешь сама (только стоитъ глаза раскрыть), что никому ты этимъ не помогаешь и никого ни отъ чего не спасаешь! Да скажи же мнѣ, наконецъ, прого-

ворилъ онъ почти въ изступленіи, — какъ этакой позоръ и такая низость въ тебѣ рядомъ съ другими противоположными и *святыми чувствами* совмѣщаются?“

И опять таки въ этомъ приговорѣ надъ Соней онъ и самому себѣ произноситъ приговоръ, и онъ тоже понапрасну *умертвилъ* свою совѣсть, и онъ живетъ въ грязи и подлости преступленія, и въ немъ „позоръ“ совмѣщается со „святыми чувствами“.

Раскольниковъ сознаетъ, что у него съ Соней въ сущности общая вина: „пойдемъ вмѣстѣ, говоритъ онъ ей восторженно,— мы вмѣстѣ прокляты, вмѣстѣ и пойдемъ!..“—„Куда идти? въ страхѣ спросила она, и невольно отступила назадъ“.—„Почему жъ я знаю? Знаю только, что *по одной дорогѣ*, навѣрно знаю,—и только. Одна цѣль!“ т. е. искупить преступленіе. „*Развѣ ты не то же сдѣлала*, продолжаетъ онъ,—*ты тоже преступила... смогла преступить*. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... *свою* (это все равно!). Ты могла бы жить духомъ и разумомъ, а кончишь на Сѣнной... Но ты выдержать не можешь, и если останешься *одна*, сойдешь съ ума, какъ и я. Ты ужь и теперь, какъ помѣшанная; стало быть, намъ вмѣстѣ идти по одной дорогѣ! Пойдемъ!“

Соня — преступница, но въ ней есть и *святая*, какъ въ Дунѣ есть *мученица*, въ Раскольниковѣ — *подвижникъ*. Недаромъ каторжники въ Сибири смотрѣли на нее, какъ на мать, какъ на спасительницу; она является имъ въ ореолѣ почти сверхъестественной красоты, блѣдная, слабая, кроткая, съ голубыми, тихими глазами.

Есть въ романѣ еще одинъ типъ, примыкающій къ основной идеѣ, типъ самый яркій, художественный и глубокій изо всѣхъ, не исключая Раскольникова, это—Свидригайловъ. Его характеръ созданъ цѣликомъ изъ поразительныхъ, повидимому, невозможныхъ контрастовъ, изъ самыхъ рѣзкихъ противорѣчій, и несмотря на это, а можетъ-быть, благодаря этому, онъ до такой степени живой, что нельзя отдѣлаться отъ страннаго впечатлѣнія, что Свидригайловъ больше, чѣмъ лицо романа, что когда-то его зналъ, видѣлъ, слышалъ звукъ его голоса.

Онъ циникъ до мозга костей.

Когда Раскольниковъ кричитъ, не помня себя отъ негодованія, чувствуя, что Свидригайловъ сейчасъ оскорбитъ его

сестру: „оставьте, оставьте ваши подлые, низкіе анекдоты, развратный, низкій, сладострастный человѣкъ!"—Свидригайловъ восклицаетъ радостно: — „Шиллеръ-то, Шиллеръ-то нашъ, Шиллеръ-то! La vertu où va-t-elle se nicher? А знаете, я нарочно буду вамъ этакія вещи разсказывать, чтобы слышать ваши вскрикиванія. Наслажденіе". Онъ признается Раскольникову, что въ деревнѣ его „до смерти измучили воспоминанія о всѣхъ этихъ таинственныхъ мѣстахъ и мѣстечкахъ, въ которыхъ, кто знаетъ, тотъ много можетъ найти, чортъ возьми!" Въ прошломъ Свидригайлова оказывается „уголовное дѣло, съ примѣсью звѣрскаго и, такъ-сказать, фантастическаго душегубства, за которое онъ весьма и весьма могъ бы прогуляться въ Сибирь!"

И тотъ же Свидригайловъ *способенъ на рыцарское великодушіе*. Съ гнусною цѣлью онъ заманилъ къ себѣ въ комнату Дуню, которую любитъ странною, безграничною любовью, гдѣ столько грубаго и чувственнаго и, можетъ-быть, еще больше высокаго и самоотверженнаго. Двери заперты; ключъ въ карманѣ Свидригайлова. Она въ его полной власти. Тогда Дуня вынимаетъ револьверъ. „Онъ ступилъ шагъ, и выстрѣлъ раздался. Но пуля только оцарапала его.

„— Ну, что жъ, промахъ! Стрѣляйте еще, я жду, тихо проговорилъ Свидригайловъ, все еще усмѣхаясь, но какъ-то мрачно; — этакъ я васъ схватить успѣю, прежде чѣмъ вы взведете курокъ!..

„— Оставьте меня! проговорила она въ отчаяніи: — клянусь, я опять выстрѣлю... Я убью...

„— Ну что жъ... въ трехъ шагахъ нельзя не убить. Ну, а не убьете... тогда... Глаза его засверкали, и онъ ступилъ еще два шага. Дунечка выстрѣлила, осѣчка!

„— Зарядили неаккуратно. Ничего! У васъ тамъ еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Но она вдругъ бросила револьверъ.

„— Отпусти меня! умоляя сказала Дуня. Свидригайловъ вздрогнулъ...

„— Такъ не любишь? тихо спросилъ онъ. Дуня отрицательно покачала головой. — И... не можешь?.. Никогда? съ отчаяніемъ прошепталъ онъ.

„— Никогда!.. Прошло мгновеніе ужасной нѣмой борьбы

въ душѣ Свидригайлова... Вдругъ онъ быстро отошелъ къ окну и сталъ предъ нимъ. Прошло еще мгновеніе.

„— Вотъ ключъ!.. Берите; уходите скорѣй! Онъ упорно смотрѣлъ въ окно. Дуня подошла къ столу взять ключъ. — Скорѣй! Скорѣй! повторилъ Свидригайловъ, все еще не двигаясь и не оборачиваясь“.

„Но въ этомъ „скорѣй“ видно прозвучала какая-то страшная нотка. Дуня поняла ее, схватила ключъ, бросилась къ дверямъ, быстро отомкнула ихъ и вырвалась изъ комнаты... Когда она ушла, странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаянія“.

На слѣдующій день на разсвѣтѣ онъ убилъ себя. Предъ смертью онъ дѣлаетъ много добра. Заботится и хлопочетъ о дѣтяхъ Мармеладова, пристраиваетъ ихъ, обезпечиваетъ Соню, оставляетъ часть имущества въ приданое бѣдной дѣвушкѣ, на которой думалъ жениться. Все что онъ дѣлаетъ, очень просто, искренно, потому что въ душѣ его, несмотря на порочность, *очень много доброты.*

Раскольниковъ сознательно преступилъ законъ во имя идеи. Свидригайловъ тоже сознательно преступаетъ законъ, но не для идеи, а для наслажденій. Раскольниковъ увлеченъ софизмами зла, Свидригайловъ— искушеніями. „Въ этомъ развратѣ, говоритъ онъ,—есть нѣчто постоянное, основанное даже на природѣ и не подверженное фантазіи, нѣчто всегдашнимъ разожженнымъ уголькомъ въ крови пребывающее, вѣчно поджигающее, которое и долго еще и съ лѣтами, можетъ быть, не такъ скоро зальешь“.

„Мнѣ все кажется, увѣряетъ онъ Раскольникова,—что въ васъ есть что-то къ моему подходящее“. Свидригайловъ даже прямо сочувствуетъ его теоріи, что можно преступать законъ во имя общаго блага. Послѣ долгаго разговора съ Раскольниковымъ, онъ радостно восклицаетъ: *ну, не правду я сказалъ, что мы одного поля ягоды!*“ Оба они преступники, у обоихъ громадная сила воли, мужество и сознаніе, что они рождены для чего-то лучшаго, а не для преступленія, оба одиноки въ толпѣ, оба мечтатели, оба выброшены изъ обычныхъ условій жизни—одинъ безумною страстью, другой—безумною идеей.

Въ чистой и святой дѣвушкѣ, въ Дунѣ, открывается возможность зла и преступленія,—она готова продать себя, какъ Соня. Въ развратномъ, погибшемъ человѣкѣ, въ Свидригай-

ловѣ, открывается возможность добра и подвига. Здѣсь тотъ же основной мотивъ романа, вѣчная загадка жизни, смѣшеніе добра и зла.

Отставной чиновникъ Мармеладовъ—горькій пьяница. Дочь его Соня идетъ на улицу и отдается первому встрѣчному, чтобы получить нѣсколько десятковъ рублей на пропитаніе семьи, которой иначе грозила бы голодная смерть. „Да-съ... а я... лежалъ пьяненькой-съ...“ разсказываетъ Мармеладовъ. Онъ пропиваетъ послѣдніе гроши, которые дочь его заработала развратомъ, и съ какимъ-то страшнымъ вдохновеніемъ цинизма разсказываетъ въ кабакѣ среди пьяныхъ, издѣвающихся надъ нимъ гулякъ, почти незнакомому человѣку о „желтомъ билетѣ“ Сонички. „Пожалѣетъ насъ Тотъ, говоритъ Мармеладовъ,—Кто всѣхъ пожалѣлъ и Кто всѣхъ и вся понялъ. Онъ Единый, Онъ и Судія. Пріидетъ въ тотъ день и спроситъ: „А гдѣ дщерь, что мачихѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чужимъ и малолѣтнимъ себя предала? Гдѣ дщерь, что отца своего земнаго, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла?“ И скажетъ: „Пріиди...“ и проститъ мою Соню, проститъ, я ужъ знаю, что проститъ... И всѣхъ разсудитъ и проститъ: и добрыхъ и злыхъ, и премудрыхъ и смирныхъ... И когда уже кончитъ надъ всѣми, тогда возглаголетъ и намъ: „Выходите—скажетъ—и вы! Выходите пьяненькіе, выходите слабенькіе, выходите соромники!“ И мы выйдемъ, всѣ, не стыдясь, и станемъ. И скажетъ: „Свиньи вы. Образа звѣринаго и печати его; *но пріидите и вы!*“ И возглаголятъ премудрые, возглаголятъ разумные: „Господи! Почто ихъ пріемлеши?“ И скажетъ: „Потому ихъ пріемлю, премудрые, потому пріемлю, разумные, что ни единый изъ сихъ самъ не считалъ себя достойнымъ сего“. И простретъ къ намъ руци Свои, и мы припадемъ... и заплачемъ... *и все поймемъ! Тогда все поймемъ... и всѣ поймутъ... Господи, да пріидетъ царствіе Твое!*“

Если столько вѣры и любви таится въ человѣкѣ такъ низко павшемъ, кто осмѣлится сказать про своего ближняго: „онъ—преступникъ“.

Дуня, Раскольниковъ, Соня, Мармеладовъ, Свидригайловъ—какъ рѣшить, кто они: добрые или злые? Что слѣдуетъ изъ этого рокового закона жизни, изъ необходимаго *смѣшенія добра и зла?* Когда такъ знаешь людей, какъ авторъ „Престу-

пленія и Наказанія“,—развѣ можно судить ихъ, развѣ можно сказать: „вотъ этотъ грѣшенъ, а тотъ праведенъ“. Развѣ преступленіе и святость не слиты въ живой душѣ человѣка въ одну живую неразрѣшимую тайну? Нельзя любить людей за то, что они праведны, потому что никто не праведенъ, кромѣ Бога: и въ чистой душѣ, какъ у Дуни, и въ великомъ самопожертвованіи, какъ у Сони — таится зерно преступности; нельзя ненавидѣть людей за то, что они порочны, потому что нѣтъ такого паденія, въ которомъ душа человѣческая не сохранила бы отблеска божественной красоты. Не „мѣра за мѣру“, не справедливость основа нашей жизни, а любовь къ Богу и милосердіе.

Достоевскій—этотъ величайшій реалистъ, измѣрившій бездны человѣческаго страданія, безумія и порока, вмѣстѣ съ тѣмъ величайшій *поэтъ евангельской любви.* Любовью дышитъ вся его чудная книга, любовь—ея огонь, ея душа и поэзія.

Онъ понялъ, что наше оправданіе предъ Высшимъ Существомъ — не въ дѣлахъ, не въ подвигахъ, а въ вѣрѣ и въ любви. Много ли такихъ, чья жизнь не была бы *преступленіемъ,* достойнымъ *наказанія?* Праведны не тѣ, кто гордятся своею силой, умомъ, знаніями, подвигами, чистотой, потому что все это можетъ соединяться съ презрѣніемъ и ненавистью къ людямъ, а праведны тѣ, кто больше всѣхъ сознаютъ свою человѣческую слабость и порочность, и потому больше всѣхъ жалѣютъ и любятъ людей. У каждаго изъ насъ, равно у добраго и злого, у глупаго маляра Миколки, ищущаго за что бы „пострадать“, и у развратнаго барина Свидригайлова, у нигилиста Раскольникова и у блудницы Сони,—у всѣхъ гдѣ-то тамъ, иногда далеко отъ жизни, въ самой глубинѣ души, таится одинъ порывъ, одна молитва, которая оправдаетъ человѣчество предъ Богомъ.

Это — молитва пьяницы Мармеладова: „да пріидетъ царствіе Твое!“

Д. Мережковскій.

Stanford University Libraries
3 6105 011 716 532

V.2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

OCT 17 '67
DEC 20 '67
MAR 29 1973
JUN 1987
JAN -6 1986
JUL 13 1987
AUG 27 1987